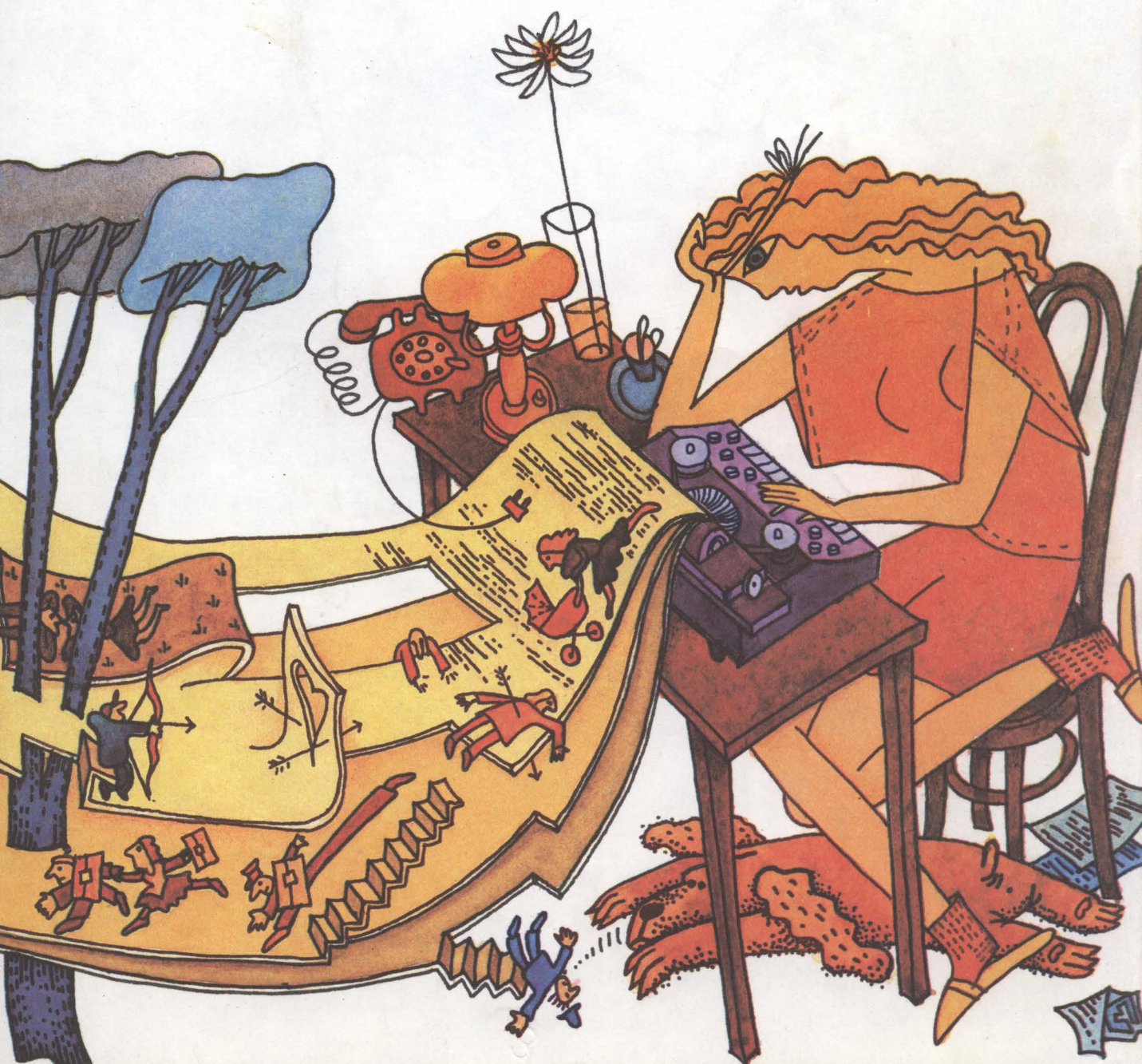


ISSN 0132-2036

ЮНОСТЬ

3 '88





Н. ВОРОНКОВ. Москва. Дом Пашкова.

Автолитография.

ЮНОСТЬ

3 (394)

'88



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955 ГОДУ

Главный редактор
Андрей ДЕМЕНТЬЕВ

Редакционная коллегия:
Анатолий АЛЕКСИН
Владимир АМЛИНСКИЙ
Борис ВАСИЛЬЕВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ
Натаан ЗЛОТНИКОВ
Фазиль ИСКАНДЕР
Римма КАЗАКОВА
Кирилл КОВАЛЬДЖИ
Виктор ЛИПАТОВ
(заместитель главного редактора)
Игорь ОБРОСОВ
Мария ОЗЕРОВА
Виктор РОЗОВ
Юрий САДОВНИКОВ
(ответственный секретарь)
Александр СЕРЕБРОВ
Евгений СИДОРОВ
Игорь ШКЛЯРЕВСКИЙ

«ЮНОСТЬ» в 1988 году

До конца года мы намерены опубликовать следующие произведения:
новую повесть В. Амлинского «В марте 1953-го»,
вторую часть романа А. Битова «Преподаватель симметрии»,
роман Э. Ветемаа «Пришелец», пьесу Б. Можяева «Единожды солгавший»,
новую повесть Д. Гранина,
рассказы Л. Разгона и Л. Петрушевской. Фантастика будет представлена
повестью К. Булычева «Многоуважаемый микроб», романом
братьев Стругацких «Отягощенные злом, или 40 лет спустя»
и романом американского писателя А. Бестера «Тигр! Тигр! Тигр!».
В разделе иронической прозы планируется повесть Ф. Кривина «Упрагор»
и автобиографическая повесть М. Жванецкого.

Мы продолжим публикацию документальной повести Ю. Щербака «Чернобыль».
Любители поэзии познакомятся со стихами А. Вознесенского, С. Бобкова, Е. Евтушенко,
В. Рецептера, Р. Рождественского, В. Корнилова, А. Кушнера, Д. Самойлова, В. Соколова,
О. Чухонцева, О. Чиладзе и новыми произведениями
молодых авторов в разделе «Испытательный стенд».

В рубрике «Поэты мира» журнал предполагает опубликовать стихи
Д. Андайка, И. Бродского, В. Данека, Л. Левчева, А. Мишо, Э. Монтале,
У. Падрона, Р. П. Уоррена.

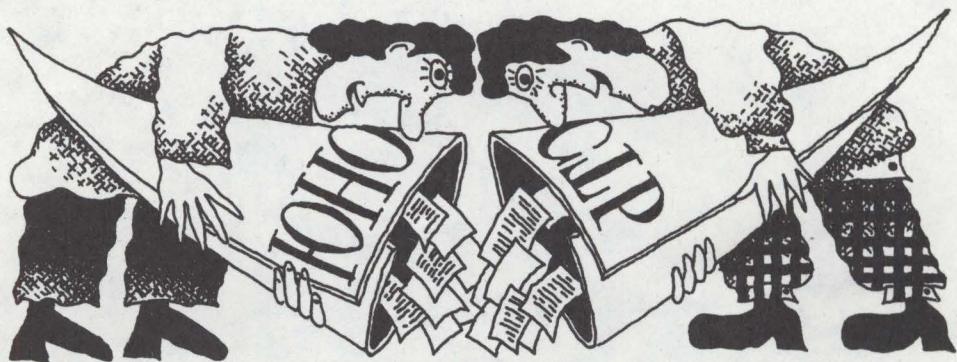
Под рубрикой «Наследие» предполагаются публикации
А. Введенского, Н. Ушакова,

О. Хайяма, рассказы и «Университетская поэма» В. Набокова,
«Колымские рассказы», «Четвертая Вологда» В. Шаламова,
«Воспоминания» Надежды Мандельштам, рассказы А. Платонова,
повесть А. Чаянова «Венедиктов, или Достопамятные события моей жизни»,
«Дело» М. Зощенко в документах, фактах и комментариях,
письма и стихи А. Белого, стихи и эссе М. Волошина,
неопубликованные произведения Саши Черного.

В разделе критики готовятся статьи Н. Ивановой «Литература
и правда времени», критические статьи Ю. Карякина, Б. Сарнова,
Е. Сидорова, А. Туркова. Журнал продолжит диалог с молодежью
в «20-й комнате», опубликует беседу с М. Мамардашвили
«Что есть философия?», воспоминания Н. Раппопорт

«Память — это тоже медицина», экономический обзор Н. Шмелева,
новые материалы под рубрикой «История и ты».

Нам обещали также свои произведения:
Ф. Искандер, Б. Можяев, Н. Эйдельман.



20

КОМНАТА

ЗАСЕДАНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ

Перестройка, что я могу

Как выйти
из этого круга?

Мне 29 лет. Работаю на заводе. Производственный стаж — 15 лет (вместе со временем обучения в ПТУ). «Чистый» заработок 160 руб. Жена работает в НИИ техником. Производственный стаж 12 лет, «чистый» заработок — 100 руб. Ребенку 6 лет.

Итого: на троих членов нашей семьи приходится 260 рублей.

Первое время жили на частной «квартире». Это была шестиметровая комнатка с холодной террасой вместо кухни, без газа и горячей воды. Когда расставили всю мебель — для перемещения осталось пространство в 1 м².

Тогда решил я устроиться на завод, где со строительством жилья дела обстояли более-менее нормально. По специальности устроиться не удалось, слесари не были нужны. Предложили работать токарем. Согласился, хотя об этой профессии имел лишь общее представление. Но мне нужно было жилье, и я готов был работать кем угодно, за любые деньги, лишь бы получить хоть какое-нибудь жилье.

И вот я, как говорится, вступил в производственные отношения. Главное в них — ПЛАН! Особенно он волнует наше руководство. А вот рабочие для него нечто вроде живых роботов. Они всегда **должны** быть здоровы и быть в хорошем настроении, а то, не дай бог, план не выполнят. Правда, о здоровье и настроении рабочих начальство не очень-то заботится, например, может обругать тебя как угодно.

Откуда берутся такие люди? Видно, их формирует определенное состояние общества, когда такое поведение считается чуть ли не нормой и другим быть не может, иначе человек потеряет свое положение в обществе. Бывает, что он сам чувствует всю ненормальность и гадливость своего положения и оправдывается: «Мне надо еще детей на ноги поставить». Это в смысле того, что он не собирается оставлять свое место. Думаю, после детей пойдут внуки и т. д. Поражает готовность таких людей ко всем изменениям наверху. Скажут делать так — будут так, скажут наоборот — будут наоборот. Какое-то самопризнание себя пружинкой или гайкой, смотря по тому, какое место занимают.



Часто приходится работать сверхурочно. Когда горит план, рабочим говорят: «Надо», — и все остаются, поскольку стараются не прекословить. Многим нужны квартиры, а те, у кого они есть, хотят получать путевки в дома отдыха и другие «льготы» (льготами у нас считается возможность жить в нормальных человеческих условиях). Всего этого можно лишиться, проявив строптивость и независимость.

При такой системе в человеке атрофируются самостоятельность, чувство собственного достоинства, способность соображать. Самое страшное, что все это видят и хорошо понимают дети. Они или вбирают в себя основы этой сложившейся системы и становятся такими же приспособленцами, как их родители, или же протестуют, кто как может.

Сейчас много пишут о бригадном методе организации труда как о прогрессивном. Возможно, теоретически это правильно, но в расчет опять же принимаются сложившиеся на производстве отношения. Практически дело обстоит следующим образом: на цех выделяется определенная сумма, эти средства распределяются по участкам. Как бы хорошо бригада ни работала, она не может выйти за пределы этой суммы. Откуда взять деньги для соответствующей оплаты? Отнять у другой бригады? А она ничем не хуже, тоже план выполнила, хотя, честно говоря, сделать это довольно сложно. То станки вышли из строя (1939 г. выпуска!), то материала нет, то электроэнергия. Старым рабочим со стажем платят больше (за стаж), молодым за ту же работу — меньше. Приходится часто делать работу более высокого разряда, состояние оборудования не соответствует точности выполняемых работ. А ведь за брак рабочий платит из своего кармана. Зачастую оборудование находится в таком состоянии, что работать на нем становится опасно. Поэтому нет заинтересованности сделать больше, люди работают вполовину.

Как призывают на комсомольские субботники? Во время работы парторг собирает всех комсомольцев в красный уголок и **каждого** спрашивает: пойдет он на субботник или нет? Если «нет», то почему? При такой системе, как правило, все соглашаются. Один комсомолец в очередной раз пойти на

субботник отказался. Парторг сказал: «Учти, тебе еще квартиру получать. Попадешь в «черный список». О какой же добровольности субботников может идти речь? Впрочем, в «черный список» можно попасть не только за невыход на комсомольский субботник.

Я честно старался не попасть в «черный список» — ведь мне надо было получить хоть какой-то, но свой угол. В завкоме сразу сказали мне, что помочь ничем не могут. Пришлось идти на прием к директору завода. Директор пообещал помочь. Во второй мой приход к нему он посоветовал подождать: мол, куда спешить, подойдет очередь, и получите прекрасную квартиру. После третьего визита к директору я, наконец, получил комнату в «прекрасной» коммунальной квартире, где и живу до сих пор со своей семьей. Кроме нас, здесь живут еще две семьи. Всего девять человек, из них трое — дети детского возраста. Дети все свободное время сидят в комнатах. Зато у нас, взрослых, нет проблем с досугом, потому что свободного времени нет — оно все уходит на выстаивания в очередях: в магазинах, на кухню, в ванную, в туалет — словом, везде надо стоять!

Нам всем около тридцати, позволить себе иметь еще одного ребенка никто не может. 12 человек для нашей квартиры — это уже слишком... Так что с рождаемостью у нас дело плохо. Думаю, вопрос об увеличении семьи ко времени получения квартиры отпадет сам собой — по старости.

Сейчас молодежи предлагают самой улучшать свои жилищные условия — с помощью кооперативов и МЖК. Однако и то, и другое для нашей семьи да и для многих наших знакомых неприемлемо. Мы живем на свою зарплату, без посторонней помощи, и у нас нет средств на кооператив. МЖК тоже не подходит. Для руководства завода невыгодно разрешать организацию МЖК. Ведь одно дело МЖК на базе НИИ, а другое — на базе завода. Рабочих рук не хватает, цехи укомплектованы процентов на пятьдесят. Какой же руководитель отпустит рабочего строить МЖК?

Как выйти из этого круга, огороженного множеством «бы»? Могли бы, разрешили бы, дали бы и т. д. Хотим же мы и работать, и жить нормально. Все хотим. Может, теперь получится, вроде условия подходящие складываются. Наверное, получится, вот только не мешали БЫ!

Московская обл.

Николай ЛЬВОВИЧ

Комментарий 20-й комнаты

Помните, в «Мастере и Маргарите» Воланд как-то обронил, мол, люди как люди, вот только квартирный вопрос их немного испортил. Да, естественное для человека стремление иметь нормальные бытовые условия подчас оборачивается цепью компромиссов: работать абы где, уходить от конфликтов с начальством, покорно высиживать в приемных в ожидании очередного обещания...

Может, есть иной путь? Не компромиссы, а борьба за свои права, та самая социально-активная позиция, которую предполагает Закон о трудовых коллективах, дающий рабочим возможность САМИМ решать все СВОИ проблемы. Мы хотели бы услышать голоса тех, кто идет по ЭТОМУ пути.

Резонанс

«Звоните нам! Приходите к нам! Пишите нам!...» Во-первых, к вам даже не дозвониться, во-вторых, вы мое письмо все равно не прочтете. Я уверена. Допустим, к вам пришло четыре тысячи писем. Вы хоть две тысячи прочли? Сомневаюсь!

А как я к вам приду? Одна? Да мне скажут: «Девушка, вам кого?» А если я приду с друзьями? Да кому они нужны, рокеры? Кому они нужны?

Как дикари, ездим ночью по шоссе, по дорогам. И при виде милиции разбегаемся в разные стороны, не потому, что страшно, а потому, что ни у кого нет прав: не любят «нарушителей покоя».

Вы рекламировали — приходите! Кто, повторяю, вам нужен? Никто!

ВИКА (15 лет).

г. Москва.

В конце письма Вика оставила свой телефон. Мы позвонили и пригласили Вика и ее друзей к нам в гости. Вика обещала прийти. Ждем...

«Если честно, то...»

1. Не надо драм — да, у меня папа — законченный пьяница, но мамс — клад, она решила воспитывать меня без него и была права. О, я не слоняюсь по улице без дела и не мучаю животных. Я усердно занимаюсь физикой, математикой и даже экзотической для провинции астрономией. Занимаюсь потому, что мне этого хочется. Иду в художественную школу и стараюсь вовсю, жалею, что не захотел тогда пойти в музыкальную. Знаю принцип работы циклотрона, уверенно отличаю ультрамарин от берлинской лазури и разглядываю через увеличительное стекло марки из Новой Гвинеи. Знаю, как погиб Архимед, чем занимался Ньютон и кто такой Фил Эспозито, я прочитал море книг и решил, что полностью постиг все тайны бытия.

Но... что такое? Иду в школу. Ребята. Хорошие. Но почему им не хочется слушать учителя географии и штудировать химию? Почему они предпочитают на уроке шаркать ногами, хохотать, а на перемене убежать в туалет баловаться табакком?

В своих принципах уверен. Пытаюсь поговорить с ними. В ответ — чувствительные удары, обидные прозвища. Все заканчивается бойкотом. Я — белая ворона. Никому не нужен. Реакция окружающих: «Катись ты отсюда...»

2. Строительный техникум. Декорации меняются, суть — прежняя. Нет, я не навязываю своего мнения, просто я его имею и не боюсь высказать.

Новые лица. Новые знакомые. А вот где же друзья? Кажется, ничем не отличаюсь — учусь прилично, по суткам над учебниками не просиживаю. Из просветительских, а точнее, самообразовательских целей хожу по театрам и музеям Ленинграда. Одет не слишком шикарно, но по крайней мере со вкусом. Ненавижу геноцид и слушаю хэви-металл. Жизнь вдали от дома, вблизи от культурных ценностей мирового уровня, но в отрыве от мамы, старых книг и самодельной электрической шестиструнки здорово подорвала мой прежний эрудированный статус. Но по-прежнему не курю, не притрагиваюсь к спиртному (помню родного папу!) и не использую в своем лексиконе слов, не предусмотренных цензурой. Чист, опрятен. Опять один.

Девушки. Где они, кто пишет в редакцию, захлебываясь от слез, что не могут найти того, кто выслушает?

Видно, помимо прочего, неплохо быть писаным красавчиком, да еще при деньгах. И ни книги, ни занятия китайским рукопашным боем тут не помогут. Девушки не поняли меня, я — их; впрочем, нет — я их понял, но ведь как мало они хотят. Половина человечества переходит в категорию, которой доверять нельзя...

3. Советская Армия. Тут уже не до нравственных исканий и не до девочек. Кто не верит, пусть прочтет «Сто дней до приказа».

Узнал все как есть. Рушатся, вздымая облака удушливой пыли, штабеля идеалов. Здоровый, красивый парень превращается в раба после пары несильных, но чувствительных ударов в грудь. Но, слава богу, перестройка коснулась и нас — мужественные командиры-начальники положили конец злодеяниям.

Тело мы спасли, а вот как быть с душой? По уставу мы не должны петь, читать Толстого или Блока. Солдат не человек, это машина для выполнения приказов. Дисциплина! Дисциплина! Дисциплина! Дисциплина! Дисциплиной, а вот квадратного уравнения мне уже не решить. Солдатская дружба и войсковое товарищество длятся до увольнения в запас. А жаль...

...Все. Выключаю магнитофон. Ставлю катушку на полку, где пылится кипа тетрадей со стихами и солидная пачка ответов из редакций. Жизнь закончена. За стеной гремит телевизор. На улице лает собака. НИКТО НЕ УСЛЫШИТ ПЕСЕН, КОТОРЫХ НЕТ.

Бывший супермен, а ныне рядовой.

Московская область.

Две Агаты! За одного Ключевского

Предложение С. Коваленко, опубликованное в № 9 «Юности» за прошлый год («Меняю Агату на Ключевского!»), увы, теперь трудно реализуемо: после подписки на Ключевского (тираж 150 000 экз.) его рыночная цена, вместо того чтобы снизиться, возросла рублей эдак на 50. Так что и две Агаты за него будет мало. Странно? Только для людей, незнакомых с механизмами формирования рыночного спроса, формирования «потребностей» вообще. Станным это должно показаться, в частности, участникам прошедшей на страницах «Книжного обозрения» («КО») дискуссии о тиражах Ключевского и Соловьева.

На мой взгляд, спор был безнравственным. Ни ученый-историк (даже самый уважаемый), ни тем более издательские чиновники не имеют морального права решать, нужна ли мне история Ключевского или Соловьева. Это уж, извините, каждый читатель решит для себя сам. И этого права они нас лишить не могут. Зато могут (и успешно эту задачу решают) устраивать ажиотаж и вздувать рыночные цены. Похоже, что подорожание Ключевского и Соловьева после подписки в основном связано с дискуссией в «КО», привлечшей к подписке внимание сотен тысяч людей, многие из которых и не собирались приобретать эти издания.

Публикация разных точек зрения — отрадная примета перестройки. Но нужны еще честность и культура анализа ситуации. Этого-то подчас нам и не хватает. И статья, подписанная псевдонимом «П. Галиев» («КО» № 42, 16.10.87), — еще одно тому доказательство.

Начнем с того, что вопросы ценообразования, в частности, как инструмента борьбы с черным рынком и книжным дефицитом вообще, автора не интересуют. Любый книголюб легко разберется в этом, сопоставив факты с аргументами «П. Галиева». А выяснение дел с тиражной политикой и ценообразованием на книги сулит нам сотни миллионов рублей ежегодно экономического эффекта, ликвидацию цветущей «теневой экономики» в этой сфере и неизмеримый рублем социальный эффект: прекращение книжного бума.

Суть дела, на мой взгляд, состоит в том, что несовместимы две принципиально разные системы ценообразования: сообразно рыночной конъюнктуре на букинистические книги и по калькуляции — на новые издания. Как показал С. Коваленко, только на изданиях «Мифов народов мира» мы в результате понесли убыток в 8,5 миллиона рублей, поглощенных черным рынком. Число таких примеров легко умножить. Естественный вывод — ввести единую систему, учитывающую (мы ведь все переходим на хозрасчет!) рыночную конъюнктуру.

Но книга — товар особого рода, и поэтому нельзя ставить

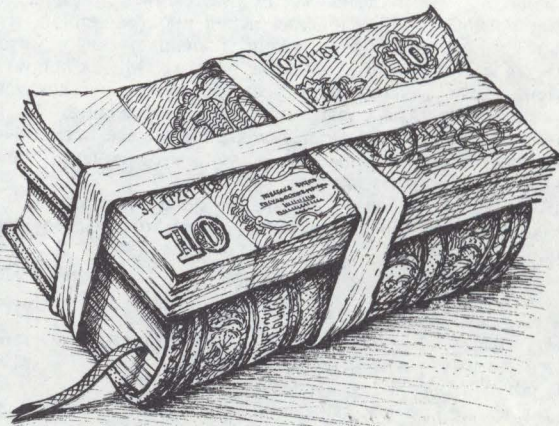
возможность прочесть книгу в зависимости от материального достатка. Поэтому надо четко различать (как это и делается вопреки мнению «П. Галиева» на Западе): 1) массовые издания, которые обязаны быть дешевыми, и 2) «престижные» — серийные, библиофильские, просто модные издания, продажная цена которых должна формироваться с учетом спроса и тиража и может быть высокой. Хотите иметь «Войну и мир» — купите за 5 рублей обычное издание. Хотите иметь «БВЛ» — покупайте ту же «Войну и мир» за 20 рублей!

Что касается массовых дешевых изданий, то такой опыт у нас уже есть («П. Галиев» и здесь передергивает: тиражи ряда массовых изданий в последние годы действительно резко выросли, перевалив во многих случаях за миллион), а для его резкого расширения достаточно сократить издание книг, не пользующихся спросом: перечни их публикует последнее время «КО», и они достаточно внушительны даже по этим случайным выборкам. Но пока в одном и том же номере «КО» можно найти фамилию писателя и в списке неликвидов, и — через страницу — в списке «сигнальных экземпляров недели». И до тех пор, пока массовость тиража будет определяться пробивными способностями или статусом автора, ничего не изменится. Нет проблемы и с разницей между продажной ценой книги и ценой по калькуляции. Полиграфическая промышленность требует реконструкции и модернизации? Денег на бумагу нет? Так вот и пустите эту разницу на нужды полиграфии, бумажной промышленности, на воспроизводство хищнически вырубленных лесов, наконец. Будет вам сразу и экология, и культура, и экономический эффект! Не будет лжи, воровства, обращенного в товар человеческого духа, растления молодежи, наконец.

А что происходит сейчас? В заботах об «интеллектуальном уровне населения» (термин «П. Галиева») серийные книги, пользующиеся повышенным спросом, издаются «для массовых библиотек». В библиотеках их все равно не достанешь. Зато рыночная цена автоматически подскакивает в 2—3 раза — ведь в розничную сеть такое издание не поступает. Кому же выгодна такая забота о массовом читателе? Зачем вообще массовой библиотеке серийное издание? Чтобы стимулировать и без того массовое хищение библиотечных книг? С какой целью систематически уменьшается тираж романов М. Пруста, выходящих в серии «Зарубежный роман XX века»? Первые две книги вышли тиражом 100 тыс. экз., третья — 50 тыс., а четвертая (только что) — 25 тыс. Мало было десятикратной разницы между номиналом и рыночной ценой (25 рублей за книгу)? Надо ее еще удвоить?

Так что же мешает ликвидации книжного дефицита, восстановлению нормальной жизни книги в нашем обществе? Похоже, что не «объективные» причины (бумаги или полиграфических мощностей не хватает), а собственная нерасторопность. У Госкомиздата есть план увеличения выпуска самых необходимых и популярных (с точки зрения Госкомиздата) книг. Книголюбам и читателям остается только надеяться, что этот план будет реализован в ближайшее время.

М. РАЦ





ОЛЕСЯ
ФОКИНА

КАК Я
ПОЗНАКОМИЛАСЬ
С МИТЬКАМИ

За окнами сидячего поезда Ленинград — Москва мягкий осенний день. Когда еще так вот, никуда не спеша, поглазеешь в окошко... Собирай последние крохи лета, лови момент... Думаю о чем угодно, только не о том, ради чего я в очередной раз моталась в Ленинград. После второй встречи с митьками — в голове такая свалка. Нравится мне все это в конце концов или нет?

Если бы создавался словарь неформальных молодежных объединений, я бы предложила дать в нем такой текст: «Митьки» (разг.) — художники, объединившиеся в экспериментальном товариществе ленинградских художников (1982г.) в группу «Митьки» по имени одного из руководителей движения, Дмитрия Шагина (1957г.). Постоянно участвуют в выставках. Пробуют себя на литературном поприще. В митьковском «цитатнике» сказано: митек не агрессивен и никогда не ругается матом. Митек — противник достатка, роскоши и преклонения перед иностранщиной, что сказывается на его образе жизни и внешнем виде: митек одевается во что угодно, только не посово. Митек неприязнителен, живет на 20 копеек в сутки. Митек несексуален. Наиболее распространенные митьковские выражения:

«дык» — слово, заменяющее практически все остальные. С вопросительной интонацией — как, кто, почему, чаще с упреком — мол, как же так?

«дык» с многоточием — признание ошибки, извинение, «ёлы-палы» — обίδα, сожаление, восторг, извинение, страх, радость, гнев:

— Дык, ёлы-палы!
— Дык...
— Ну, ёлы-палы...

«Оттягиваться» — заниматься чем-либо приятным, чтобы забыть о тяготах жизни (сущ. «оттяжки»).

«В полный рост» — как следует, от души.

В последнее время к движению классических митьков (то есть художников) присоединяются так называемые новые

митьки — многочисленные последователи митькового образа жизни; н. м. — активные противники чищенной обуви, а также западной музыки. Носят тельняшки. Особым шиком считаются ботинки фабрики «Скороход».

Я познакомилась с митьками прошедшей весной. Неподалеку от станции метро «Черная речка» увидела длинное и скучное одноэтажное здание горохового цвета, спустилась в подвал и оказалась в резиденции основоположника.

Где-то неподалеку ласково урчали коммуникации, деловито гудел котел (дело, как вы догадались, происходило в котельной), в соседней каморочке, на старом, выдавшем виды диване предавался мечтам о чем-то несбыточном (дело близилось к обеду) Александр Флоренский — правая, а может, левая рука Шагина. Хозяин — истопник Митя — хлопотал поблизости.

«Садись, сестренка, братишкой будешь», — ласково предложил мне Митя. Мне почему-то не к месту вспомнилось: не пей водицы, козленочком станешь. Всех «женщин» митьки называют Оленьками. Разделившая участь митька Оленька нарекается сестренкой, ну, а затем по мере сближения с митьками — братишкой. Разумеется, речь идет лишь о родстве душ, так сказать. Особо ценным качеством сестренки считается щедрость и бескорыстие. Я устроилась поудобнее, и пошла митьковские байки.

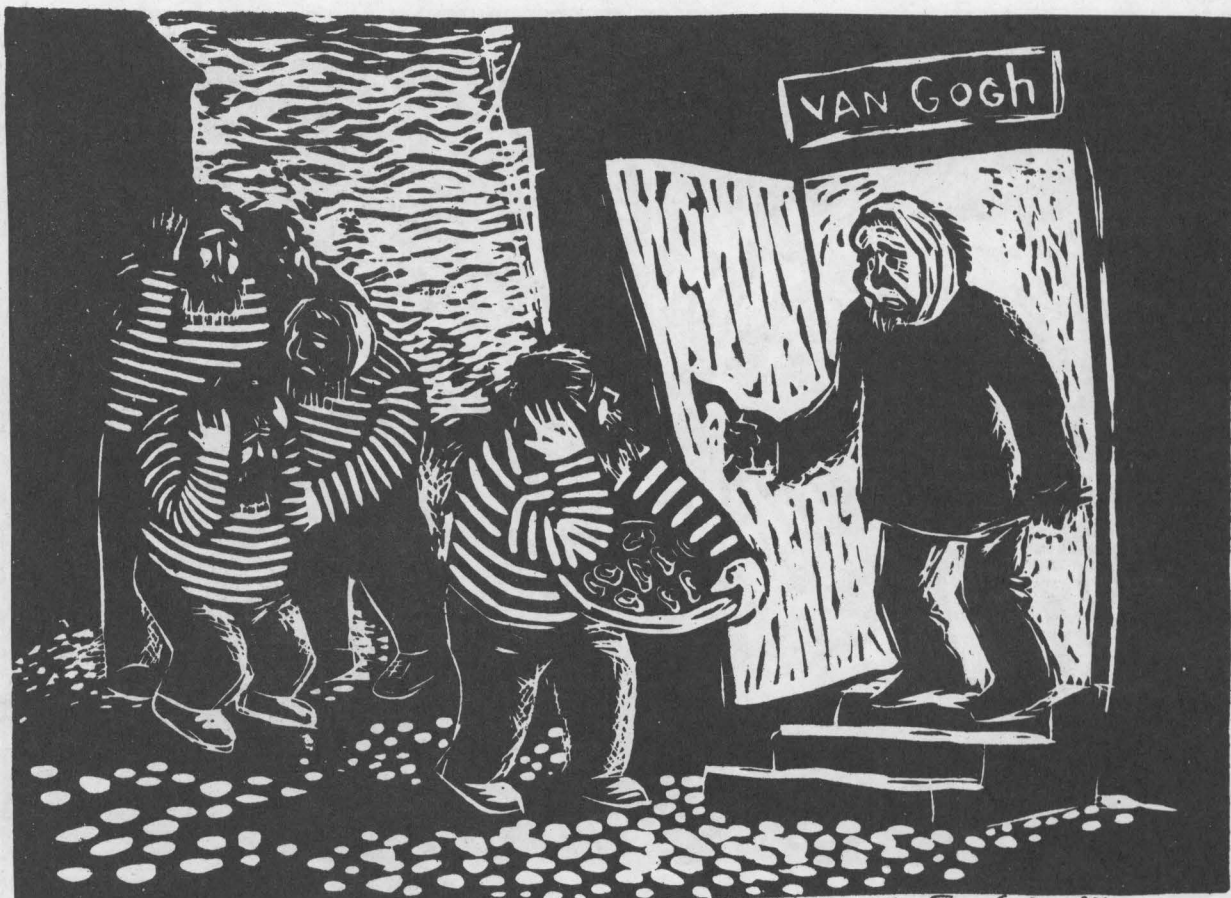
Иллюстрируя рассказ о митьковской доброте, Шагин показывает серию работ художника Владимира Голубева. Сюжеты такие: митьки хотят, как лучше, и выбирают у Маяковского пистолет; митьки отдают Ван Гогу свои уши; митьки помогают Штирлицу собрать секретную информацию.

Гора иллюстраций, фотографий из митьковской жизни растет. Попадаются и вырезки из иностранных журналов с упоминаниями о новомодном ленинградском движении.

Откуда-то из-под горы тряпья и бумаг надтреснутый звякнул телефон. Руководитель «Аквариума» напоминал о дневном концерте во Дворце молодежи. Вслед за этим звонком раздался стук в дверь, и, не дожидаясь приглашения, в подвал вломилась ватага бойких молодых людей лет 17—19. И без того тесная каморка наполнилась подхрипловатыми девичьими голосами и поначалу чуть робкими голосами их спутников. Гости предложили первый тост «за объединение всех митьков всех народов». Я заметила треугольники тельняшек под воротниками гостей и все поняла. Слегка нараспев гости просили помочь движению сибирских митьков. Оказалось, что, подхватив манеру одеваться и некоторые специфические выражения, а также общую тенденцию «не перенапрягаться», тюменцы не знают, что делать дальше. Шагин и Флоренский расхохотались.

Предвосхищая негодующие возгласы читателя: да это же просто бездельники! Кого и чему они могут научить? Разве не видно, на какую уродку попались провинциальные мальчишки и девчонки в погоне за модой? Но — стоп! Тут и зарыта собака. Поначалу я выпалила то же самое и осеклась. «По-вашему, лучше в 17 стать панком, а в 20 — делягой с комсомольским значком или без? Или лезть из кожи вон, чтоб заткнуть уши фирменными наушниками, позвякивать браслетами, амулетами? Спекулировать «фирмой», что сегодня в порядке вещей? Так? Надо же что-то противопоставить этому слепому преклонению перед «иностранным». «Да, но это не сверхзадача митьков. Во-первых, они художники, у них есть настоящее дело, и судить о них серьезно можно только лишь по их работам. И можно как угодно валять дурака в свободное от РАБОТЫ время. А какое дело есть у вас?» — «Пока мы точно знаем, какими не хотим стать ни за что. А уж потом...»

Больше им, видимо, нечего было сказать. Флоренский и Шагин довольно безучастно следили за нашей дискуссией, предаваясь маленьким радостям жизни, а под конец решили разрядить обстановку и вот какую историю нам рассказали. «Слышали вы что-нибудь про Ноль-объект? Это уже хрестоматия. Дело было так. В Гавани открылась выставка-продажа ленинградских художников. И мы выставились. В полный рост! Когда мы монтировали выставку, нам попался обычный деревянный щит с дыркой. Мы обвели ее краской, назвали «Ноль-объектом» и установили в Гавани вместе с другими работами. Пришла художественная комиссия и все приняла, в том числе и О-объект. Возле него было просто столпотворение: что они хотят этим сказать? Что это значит? И т. д. Многие специально приезжали в Гавань, чтобы увидеть ставший за три дня знаменитым О-объект. Ажиотаж продолжал нарастать. На всякий случай какой-то бдительный страж порядка под покровом ночи уволок зло-



«Митка» «тестует» Ван Гог, севрю уми»

В. Голубев 87

получный экспонат. Возмущению не было предела. В стремительно развивающиеся события вмешалось Управление культуры Ленгорисполкома, распорядилось «не препятствовать объекту», и он был водворен на место...»

Что говорить, митки — мастера эпатажа, хотя я знавала истории и покруче. Одну из таких историй я им рассказала. Однажды, году в семидесятом, к знаменитому Сальвадору Дали напросился в гости известный музыкант. Дали назначил аудиенцию на 12 часов. Без пяти двенадцать гость был у ворот замка. Ровно в полдень со скрипом отворились готические ворота, оттуда верхом на белом коне с серебряной гривой вылетел Дали. В развевающемся черном плаще на голое тело, играя бронзовыми мускулами, с гордо запрокинутой головой, на полном скаку он сделал один круг вокруг потерявшего дар речи гостя и скрылся за воротами замка. Аудиенция была окончена.

— Ну, как? — спросила я. — Это по-митковски?

— Никогда! — с возмущением сказал Шагин. — Во-первых, митек в глубине души очень добрый человек, всегда старается поступать по-христиански. Во-вторых, это поступок, заранее рассчитанный на эффект. Голый, в попоне... Зачем? Нет, это не по-митковски.

Что такое по-митковски, я поняла только теперь, спустя полгода, когда снова оказалась в Ленинграде.

В моем вагоне, на соседнем сиденье, заходилась Розенбаум: «Я помню давно, учили меня отец мой и мать: любить так любить, дышать так дышать, гулять так гулять...» Если они в шестой раз перевернут эту кассету, говорила себе, я не выдержу. Смирение, смирение на нашем знамени, успокаивала себя, глядя на самодовольные, рыхлые лица истинных хозяев жизни. Кроваво-красная рубашка сливалась с бычьей шеей, и того, что называется глазами, на лице не было. Казалось, взамен глаз в одну точку уставилось то, что напрямую соединяется с желудком, а не мозгами. Про себя я раз десять умоляла приглушить магнитофон, но вслух сказать не решалась. Уж больно не хотелось вступать с ними в какие бы то ни было отношения. На исходе третьего часа дороги я сдалась: «Молодые люди, пожалуйста, выключите магнитофон». Не дрогнув ни единым мускулом, счастливый обладатель «Шарпа» тяжело и устало перевел зрачки в мою

сторону. Определив категорию противника, слегка прибавил громкость. Я снова уставилась в окно. Подъезжали к Боло-гому. После короткой остановки, где я торопилась надышаться чистым воздухом, в вагон вилыла, покачивая бедрами и обдавая нас запахом харчей, крепко сбита, пергидрольная молодуха. «Бутерброды! Севрюга, зернистая икра! Орешки в шоколаде «куйбышевские». Началось обильное слюноотделение, и я занялась поисками кошелька.

— Три рубля тринадцать копеек, — нависая над моей головой, промолвило густое контрольно.

— Извините, что вы имеете в виду?

— Стоимость бутерброда.

Преодолевая какое-то непонятное чувство неловкости за всех нас, включая севрюгу, я убрала кошелек.

— Шесть с рыбой и двое «орешков», — на мгновение убавив звук, с победным видом «отрыгнул» мой сосед. Ничего не оставалось, как снова уставиться в окно. Сумерки. В сумерках мне отчего-то всегда тревожно. Я стала мысленно прокручивать прожитый день.

В семь тридцать, поживаясь в утреннем тумане, я ози-ралась по сторонам на перроне Московского вокзала в надежде увидеть Шагина, который обещал меня встретить. Продав минут пятнадцать, я поняла всю тщетность своих усилий: «не сложилось» у Мити встать в такую рань. Багажа со мной не было никакого, я знала, что еду лишь на один день — повидаться с митками, побывать на их вернисаже. Планы висели на волоске, так как у Шагина нет домашнего телефона, а в воскресенье ехать в котельную рискованно. Есть, правда, мастерская Флоренского в пяти минутах ходьбы от вокзала, на Кузнечной. Вряд ли он там в такую рань. Но делать нечего, и я побрела на Кузнечную. Мрачный колодез двора без единого деревца. Серые обшарпанные стены, испи-санные моими современниками. Голая пластмассовая кукла с оторванными ногами улыбается в луже крашеным ротиком. Метнулась из-под ног драная кошка. Бр-р-р... Вспом-нился Достоевский. Он, кстати, жил в соседнем — похожем на этот — дворе. Узкие каменные ступеньки лестницы, кото-рой, кажется, нет конца. Еще один пролет, и я на мансарде. Звонко безнадежно долго, прикидывая тем временем, куда



"Митьки едят пистолет у Маяковского"

В. Голубев 87

идти дальше. Но, как ни странно, кряхтя и поскрипывая половицами, к дверям кто-то приближался.

— Сестренка! Дык, тебя Митя не встретил, что ли? — нарочито удивляясь, спросил Флоренчик и радушно пригласил в свои апартаменты. — У нас ведь вчера вернисаж был в Петергофе, ну и — сама знаешь. Праздник, припозднились, само собой. Тебе повезло, сестренка, мы с Олей (Оля — жена А. Флоренского) здесь первый раз за год заночевали, просто домой не было сил добираться. А так бы куковала ты, сестренка. У тебя ведь нет моего телефона? Ах, Митя, Митя... — Флоренский развел руками. — Подожди, он проспится и кинется мне звонить.

Я поняла, что не имеет смысла выяснять, почему вернисаж состоялся вчера, а не сегодня, была счастлива уже от того, что застала Флоренского. Мастерская как мастерская — лабиринт крошечных помещений, заваленных бумагами и красками, плакатами и картинами, фотографиями и старым, ни на что не годным хламом, изысканными безделушками старых мастеров. «Все разночинно, наспех, как-нибудь». Чего только нет в старинной вазе китайского фарфора — клеевые карандаши, окурки, перегоревшая лампочка, крошечная стоптанная тапочка (дочери Флоренских три года), надкушенное когда-то яблоко и гора телефонных счетов. Интересно, кому и что помешало тогда доест яблоко до конца?

Вскоре Оля принесла из магазина гору продуктов, которая тут же была вывалена на стол, где уже дымился чай.

— Монмартр на Невском видела? Ах, да, у вас ведь свой Арбат есть... — внезапно раздраженно заговорил хозяин. — Это же падение, начало конца для художника, ты понимаешь? Я буду с голоду умирать — не сяду, как девочка, на панели. «За десятку покрасивее». Вообще митькам на деньги наплевать. Я вот, например, один в художественном комбинате, кто не заколачивает ежемесячно свои триста. Начни я заколачивать, в моральном смысле понесу непоправимые потери. Спичечную этикетку сделать — пятьдесят рублей. Так я начну штамповать этикетки целыми днями, а сейчас я пишу месяц одну картину. Я хочу зарабатывать на кусок хлеба живописью, я хочу уважать себя как художник, понимаешь?

Я почувствовала, что для Оли это болезненная тема, и она наконец сказала:

— Дети наши подрастут и нас рассудят.

Зазвонил телефон.

— Это Шагин! — Обрадованный, что мы наконец-то покончили с неприятной темой, хозяин снял трубку.

— Да. Я. Привет. А кто это? Да, честно говоря, и не знаю, — прикрыв рукой трубку, шепнул: — Казанские митьки!

— А что вы, собственно, смеетесь, — сказал он, закончив короткий разговор. — Лучше пусть по выставкам с нами ходят, чем «торчат», что у кого-то там есть «видео», а у него — нет. На днях киевские митьки, студенты, на свои последние двадцать рублей хотели у меня картину купить. Я продал за пятнадцать.

Я давно смотрела на пейзаж с цветком на окне, что висел над старым, обитым ситцем диваном. По манере и цвету живопись напоминала Сезанна. Чувство меры, утонченность и в то же время внутренняя раскованность отличали этот пейзаж. «Это не продается», — пробурчал Флоренский, перехватив мой взгляд, и стал выкладывать на стол последние митьковские литературные описи: «Максим и Федор» и «Папуас из Гондураса». Показал и картинку «Национальный митьковский праздник»: митьки у телевизора, на экране — Высоцкий.

— «Место встречи изменить нельзя» — наш любимый фильм. Недавно, на последнем просмотре, мы устроили праздник фильма, а потом викторину «Как ты знаешь фильм?». В котельной собралось человек пятьдесят, и у меня — столько же. Истинный митек обязан ответить хотя бы на десять вопросов.

После поимки Фокса чего хотели отведать Жеглов и Шарпов? Супчика горяченького да с потрошками!

Полное имя и возраст Ани? Рычкова Анна Львовна, 28 лет.

Что сделал Промокашка перед тем, как сесть в машину? Снежку поел.

Или вставить пропущенные слова: «Хотелось денюжат малость по-легкому...» (срубить); «Хитры вы, собаки легавые. с...» (подходцами вашими) и т. д.

Да, после этой викторины в митьки меня не посвятили бы. Вообще все как-то не складывалось: пресловутая выставка была в воскресенье почему-то закрыта, а Шагин Митя как в воду канул.

— Митьки очень тщеславны, но любят славу как-то по-детски, — сетовал Флоренский. — Когда до нее два шага осталось, корреспондентушка сама приехала, тут им не до того уже: кваску бы выпить, да на солнышке! Вот и сейчас Митя наверняка сидит где-нибудь, квасок попивает и вино- вато разводит руками: дык, гад, думает, я. Так и не встретил сестренку.

— Олесья, знаете, какое у меня было самое большое потрясение в жизни? — Я удивилась неожиданному тону, которым он заговорил, тихо как-то, без шутки. — Пять лет назад мне пришлось по делу быть в доме у Дмитрия Сергеевича Лихачева. И, вы знаете, я прежде не был с ним знаком и был там совсем недолго, а когда уходил, Дмитрий Сергеевич подал мне пальто и помог одеться.

Интересно, ну какие они на самом деле, эти люди? Мне показалось, что и сам хозяин под занавес как-то сник, как будто пожалел о том, что так и не поговорили о чем-то важном, быть может, для нас обоих...

Художники куролесили во все времена и независимо от повода. Когда Даниил Хармс, в полосатых гетрах и с трубкой в зубах, передвигался по карнизам крыш на высоте седьмого этажа на глазах честного народа, шел 1937 год... А совсем давно, две с половиной тысячи лет назад, жили- были в Китае даосы. Бездельничали целыми днями у всех на глазах — чесали пятки друг другу да отращивали пузо. Как было терпеть такое? Конфуцианцы озабочены соблюдением ритуалов, приличий, следят за фигурами, делают гимнастику, развели чинопочитание, а эти голыми ходят да халаты носят до тех пор, пока те на них не истлеют. Вот и решил император от них избавиться, чтоб не будоражили общество. И выслал их в горы. Недолго отчаивались даосы на своих «выселках». Образовали отшельнические общины и там нашли себе новое развлечение. Многие тогда придумали они из того, чем и по сей день славится Китай. «Съедобно все, что есть природа», — говорили даосы. Так родилась знаменитая китайская кухня. Но если бы только в кулинарии было дело. Пагоду и зонтик тоже придумали даосы. А о великих традициях даосской живописи, поэзии — разговор особый. Словом, люди потока и ветра, как они себя называли, оставили по себе на земле прекрасную память.

На первый взгляд может показаться: ну и хватила! Но, думая о митьках, я вспомнила о даосах как раз потому, что их так называемое безделье (недеяние) было лишь оболочкой, формой существования, формой протеста против чинопочитания и ханжества. Хочется верить, что мои новые знакомые тоже тянутся к духовному братству, тоже прорываются куда-то, «чтобы стать, чтобы быть», как говорили те же китайцы. Хочется верить... До Москвы оставалось совсем немного. Убаюканные своей музыкой, соседи справа спали. Неподалеку от меня сидел мальчишка. Стопанные кроссовки, «вареные» джинсы (явно уже малы), на брезентовой ветровке красными нитками вышито «МЯУ». Вихрастый, никак не стриженный, скорее, обросший, но не специально, а просто «не до того». Он не отрывался от книги, улыбался, вытирал нос кулаком и продолжал читать. Но перед самой Москвой мы разговорились.

— Смотался от родительской опеки на сутки. Да, десятый класс, десятый класс... Ночевал на вокзале. Что делал? Вчера смотался в Лицей. Бабуля говорила: тот, кто увидит хоть раз осенью Царское Село, уже не пропащий человек. Я использовал свой шанс. — Мальчишка ухмыльнулся, посмотрев мне прямо в глаза. — Сегодня болтался по городу. На Эндрию Уайета ходил, знаете такого художника? Я и в Москве еще раз схожу, если привезут выставку. В Сайгоне был, на Невском. Знаете, это у них в Ленинграде центр молодежных тусовок. Там теперь все в тельняшках, митькуют.

— А вы кто?

— Я сам по себе. Я вообще не люблю, когда мне навязывают какую-нибудь программу. Хочу сам во всем разобраться. Для начала пойду в армию.

Я заглянула в книгу, которая лежала у мальчишки на коленях. Это была «Планета людей» Антуана де Сент-Экзюпери...

В 20-ю комнату пришел тринадцатилетний Саша Войтенков. Сказал:

— Я сам себе напоминаю запертый сундук. Каждый день я туда что-нибудь кладу, но никто ничего из него не берет. А ведь этот сундук может взорваться...

Мы не сразу поняли, о чем речь, — оказывается, о стихах, которые пишет Саша. Нечасто в 20-й комнате столь молодой человек ищет самовыражения в столь своеобразной форме (иногда больше похожей на стихи, иногда — меньше). Из «сундука» мы извлекли кое- что. Надеемся, что он будет пополняться и не взорвется.

Александр ВОЙТЕНКОВ

Горы

Горы — вопли слепых детей,
глаза которых выдавлены
плакатами взрослых,
забывших про то, что и они были
когда-то детьми.

Сердце

Когда вырвали мое сердце,
разбивши его на куски и брызги,
загребали осколки в пятаках
у прохожих, давивших мою улыбку.

Король

Король,
у Вас
упал венец.
Только вязкий, жирный круг.
Тянутся к Вам тысячи рук.
По глазам и по бутылкам
разливают горячие клетки Вашей души,
не стертые толпой пока.

Мой Сталкер

Я у Сталкера проводник.
И тоска его у меня в глазах.
А дожди его у меня в руках.
Среди слез и шпал
ветер мне шептал:
«Ты у Сталкера проводник...»

Руки

Лучи, протяните мне руки.
Друзья, обрубите мне руки.
Столбы, заклейте мне руки.
Мои нежные,

нежные,
нежные
руки.

Под кожей прозрачных от горя пальцев,
под кожей обожженных клавишами пальцев —
выстраданные звуки.

И тянутся израненные руки,
пылающие от токкат и фуг,
обрубленные тишиной.

Смотрите, рубите,
тянутся к вам
сто моих рук.

Черная речка

Воздух голоден и фиолетен.
Пахучий снег треплет колкий ветер.
Впалы, опухши глаза.
По-пушкински, по-египетски хмуры брови.
Рябины свежая гроздь
Казалась сгустком крови.
А у Черной речки
Четыре свечки

Пушкину
Александр
в ряд.

Мне не забыть чувства, которые я испытал, побывав прошлым летом в Ярославской и Смоленской областях, всякий раз удивляясь тому, какие дары приносит каждая российская область Родине.

Впечатления наслаивались, пересекались: вот здесь жил и творил Некрасов, здесь родился Твардовский, вот Петровский ботик у Плещеева озера, здесь было обнаружено гениальное «Слово о полку Игореве», а здесь — какая амплитуда нашей истории! — родился Юрий Гагарин!

И гордость, и горечь: родился будущий первый космонавт, а неподалеку, примерно тогда же, в начале тридцатых годов перестал существовать хутор Загорье, родина Твардовского. Его семью разместили по стране, от дома, кузницы, сада не осталось ровным счетом ничего.

Голая земля, запустение...

В 1951 году мне, тогдашнему студенту Литературного института, довелось беседовать в Малеевке, возле Старой Рузы, с Александром Трифоновичем — помню, я глядел на него как на поэта удивительно счастливой судьбы: в двадцать шесть лет опубликовал поэму «Страна Муравия», получил за нее Сталинскую премию. А «Василий Теркин» принес ему всенародное признание... Передо мной был еще молодой, лет сорока, но уже несомненный классик отечественной поэзии.

Правда, потом не раз приходилось видеть этого счастливого человека в тяжелом состоянии, с непонятной мучительной болью в глазах. Много лет прошло, и, только посетив Загорье, я почувствовал, какая «трещина мира», по словам Гейне, прошла через сердце поэта:

**На старое подворье
Пришел, стою один...**

Был на том месте пустырь — опустошительное свидетельство недоброго дела. Но настало, наконец, время сокрушить следы той несправедливости.

И вот он встречает нас, Иван, брат Александра Трифоновича, он летним днем посреди поля недалеко от дороги ведет нас к восстановленному, — из свежих бревен, еще совершенно пустому строению.

Дом встал крепко, на сей раз навсегда. Иван Трифонович не только унес его в своем сердце, он, скитаясь и бедствуя, мечтал его возродить и, пока суд да дело, золотыми руками мастера сотворил и возил с собою его точный макет, с сараем и кузницей. И дождался заветного часа — увидел родительский дом на земле, вернувшись из небытия. Для нас помещения еще нежилые, воздушные, а Иван Трифонович, как ваятель, уверенными движениями формирует пространство.

указывая, объясняя, заполняя его воочию проступающей жизнью. В этой комнате, от сеней налево, жила вся многочисленная семья Твардовских.

кто спал на полу, а бабушка рядом с телком. Второе помещение — крытый двор для скотины.

вот и все хоромы...

Мебель, вещи? Еще не завезены, но готовы, все своими руками воссоздал по памяти Иван Трифонович, краснодеревщик и искусный резчик по дереву.

Ком подступает к горлу: кому еще доводилось так восстанавливать отчий дом и его обстановку?

Скоро сюда потянутся люди со всех концов страны, и не зарастет народная тропа...

Мы попросили Ивана Трифоновича поведать и о горестных годах, выпавших на долю семьи Твардовских, предоставить читателям те главы, которые в свое время не смогли быть включены в его книгу воспоминаний «На хуторе Загорье» (изд. «Современник», 1983 г.), рассказать и об этом, чтобы всем нам лучше понять то, что за десятилетия выстрадано большим русским поэтом, глубже понять завет, воплощенный в его последней поэме «По праву памяти».

Мы попросили также Ю. Буртина, известного литературного критика,

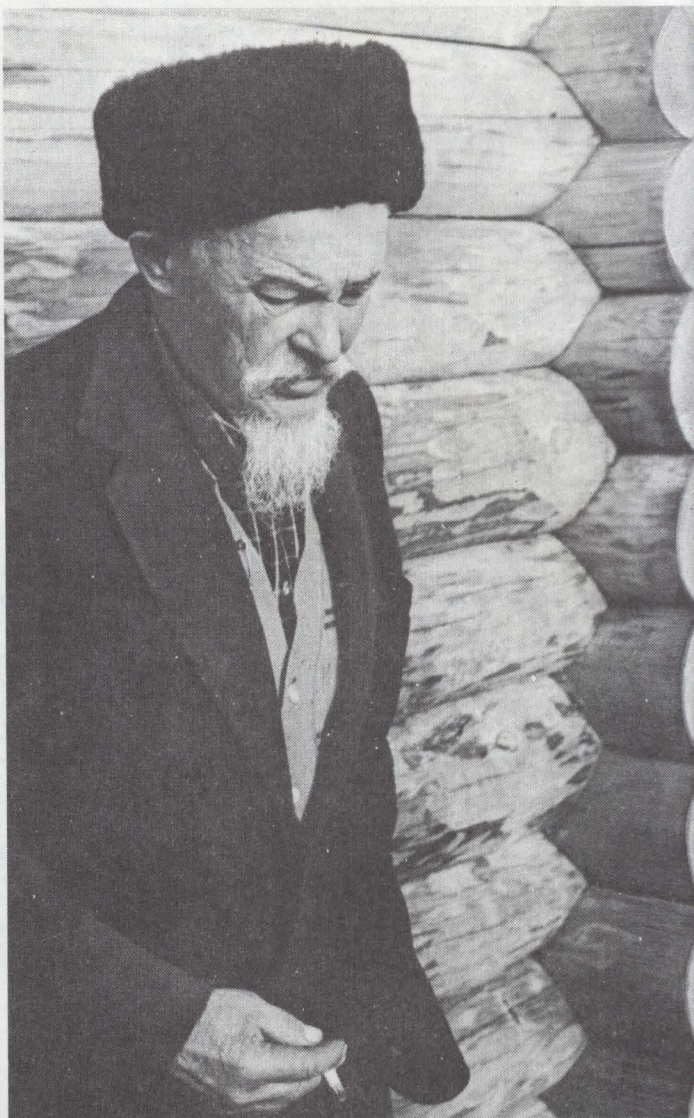
в 1967—1970 гг. работавшего в редакции «Нового мира», автора ряда статей о А. Твардовском, сопроводить «Страницы пережитого» своим послесловием.

Кирилл КОВАЛЬДЖИ

Документальная проза

Иван ТВАРДОВСКИЙ

СТРАНИЦЫ ПЕРЕЖИТОГО



В краю, куда их вывели гуртом,
Где ни села вблизи, не то что города,
На севере, тайгою запертом,
Всего там было — холода и голода.
А. Твардовский

19 марта 1931 года наша семья навсегда оставила Загорье. Жизнь уже была нарушена и до этого дня. Началось все с весны 1930 года. Наше хозяйство было обложено тяжким индивидуальным налогом, таким, что терялся смысл пытаться его выплачивать: надо было все продать, но и тогда бы выплатить мы не смогли. Я хорошо знал, что жилось нам нелегко, что отцу и старшему брату надо было работать каждый день допоздна, чтобы прокормить и кое-как одеть нашу семью.

Почему могло так случиться? — мучил меня вопрос, и я не находил на него ответа.

После опубликованной статьи Сталина «Головокружение от успехов» кампания по организации колхозов как-то призащитилась, и в Загорье все оставалось по-прежнему. Весенние работы в поле проводились индивидуальным порядком, как год, и два, и пять лет тому назад. Делалось что-то и у нас в хозяйстве, но уже с какой-то затаенной гадательностью: об отмене индивидуального налога не было ничего слышно. На дверь кузницы отец повесил замок.

И покинул отец наше Загорье. Уехал на Донбасс. Где-то работал, изредка наведывался домой или давал о себе знать небольшим денежным переводом.

Подошла осень. Подмораживало. Изредка выпадал снежок. И вот тогда-то вызвали старшего брата, Константина, в сельский Совет и обязали в трехдневный срок выплатить индивидуальный налог, сумма которого, по словам брата, была для нас непосильна. И все же он вынужден был расписаться в обязательстве.

Возвратясь из сельсовета, Константин был возбужден, не находил себе места. То он пробовал присесть, то тут же вставал и, схватившись за голову, бесцельно шагал из угла в угол.

— Что же ничего не рассказываешь? — спросила мать. — Что тебе там сказали?

— Мама, мама! Не знаю, как тебе передать и не напугать. Да что ж... ты должна все знать... В моем распоряжении три дня только. Но выплатить такой налог невозможно, не будем и пытаться. Выжидать милости от властей — из примеров судьбы Гриневичей и Березовских знаем — милости не будет. Значит, мне придется уехать.

И тут рассказал он о своих планах, что уехать он намерен в Среднюю Азию, в город Китаб, где живет и работает знакомый ему человек родом из соседней деревни Селибы, по фамилии Покладов, что еще летом он имел с ним беседу, когда этот человек приезжал в отпуск, что он обещал всячески помочь ему устроиться там, в Азии.

Брат также сказал, что заберет с собой и меня, дабы уменьшить количество ртов на отцовскую помощь. Мать была согласна, чтобы мы уехали, хотя тревога не покидала ее, но в лице старшего сына она видела взрослого человека и лишь этим успокаивала себя, повинуюсь судьбе.

С тех пор минуло более полувека. Но вот почему-то ничто не забыто. В памяти сохранились даже мельчайшие подробности. Крайняя степень нервного потрясения брата Константина побуждала к безрассудным действиям — бегству из родных мест, в неизвестность.

Болезненно-навязчивая мысль уехать чуть ли не на край света, в затерявшийся где-то в горах Узбекистана город Китаб, казалось, сулила благополучный исход. Даже отсутствие денег на дорогу не приостанавливало нас. Во дворе еще осталась корова, которую не успели конфисковать в счет выплаты налога. Буквально на второй день после разговора с матерью была зарезана корова, отвезена на базар в Смоленск и продана вразвес.

В Загорье мы оставили мать, сестру Анну, троих младших: Павлика, Машу, Васю. Родственник по фамилии Вицкоп отвез нас на станцию Панская, а не в Пересну, чтобы меньше нас видел кто-либо из знакомых. Может возникнуть вопрос: знал ли Александр о том, что произошло в нашей семье в эти последние месяцы тридцатого года?

Думаю, Александр ничего об этом не знал¹. На тот период

переписка с Александром как-то приостановилась, да и поразить его мы ничем не могли.

В Москве мы были впервые. На Казанском вокзале просидели трое суток. Пассажиры — несметно. Закомпостировать билеты удалось лишь за особую плату через носильщиков, которым выполнять такие услуги в те годы разрешалось. Через пять суток мы прибыли в Ташкент. Были при нас и кое-какие вещицы, в чемодане и корзинке, купленные накануне отъезда. В Ташкенте мы провели не более суток. Предстояло ехать в Каган, где должна быть пересадка на китабский поезд. С великим трудом втиснулись в тамбур. Ехала масса разного люда, и кто куда и зачем — невозможно было представить: ломились, бранились, толкались в темном, грязном вагоне, было там черт знает что. Поезд шел ночью по пустынной, дикой местности. Усталость понуждала выискивать хоть какое-либо место, чтобы присесть. Брат протиснулся в вагон, оставив меня возле вещей. Но как только Константин ушел, мне засветили в глаза карманным фонариком, чего я никак не ожидал, растерялся, и в тот же момент из моих рук вырвали корзинку и выбросили ее в открытую дверь вагона. Следом выпрыгнули двое. Было обидно и страшно, я плакал. Константин, когда возвратился, сразу понял, что меня ограбили, но стерпел, не ругал меня. Предчувствуя бессмысленность нашего путешествия, он стоял в задумчивости до самого Кагана.

В Кагане на вокзальном полу среди множеств едущих кое-как мы отыскали место, где можно было присесть. Был у нас теперь только чемоданчик. Константин дал мне уснуть. Разбудил он меня уже под утро, чтобы хоть немного вздремнуть самому. «Смотри же! Не забывай, где мы, не спи!» Не знаю, как долго я терпел, крепился со сном, вздрагивал. Кончили же тем, что брат разбудил меня:

— Иван! Иван! Где же чемодан? — Чемодана возле нас не было — освободились от вещей полностью.

На душе было и гадко, и горько, и стыдно. И вина была опять же моя. Но спасибо хоть за то брату, что он не бранил, не упрекал, хотя я готов был принять любую кару. Но что делать, если так жестоко наказывала нас эта глупая езда в неизвестность?

Ехать в Китаб мы уже не решились, хотя не так далеко и оставалось. Да и жить там мы едва бы смогли: мучила жара, нечем было дышать. Денег, однако, еще сколько-то оставалось, и мы продолжили путь на Ашхабад, а затем до Красноводска и через Каспий — в Баку, чтобы потом — до Донбасса, туда, где был отец, на станцию Рутченково, хотя точного адреса его мы не знали.

Когда мы подъезжали к Ростову-на-Дону, то брат решил отправить меня домой, в Загорье. И в начале декабря 1930 года сошел я с поезда на своей родной станции Пересне. Несмотря ни на какие неудачи, я был рад, что добрался до родных мест. Семь верст до Загорья шел и вспоминал, всматривался в каждый куст, в каждую сельскую хату. Все казалось дорогим, привычным, несравненным. Как во сне, мысленно видел пустыни Азии с их верблюдами, ишаками, странными двуколками, колеса которых превышают рост человека, вспоминались туркменские шапки размером с целого барана.

И вот я дома. Я привез нашей маме горькую новость, привез новую чашу страданий.

— Боже ты мой! — Сцепляя свои руки на груди, качая головой и роняя слезы, слушала она мой рассказ.

— Ваня! Костю ж осудили заочно. Он приговорен к одному году тюрьмы за невыполнение своих обязательств по налогу.

Константин блуждал где-то там, в Донбассе, разыскивая отца. Но то ли адрес был неточен, или же отец жил без определенного места, он его не нашел, на работу нигде не устроился и вскоре после меня воротился в Загорье. Иллюзии кончились, и мы были перед лицом жестокой правды. Константин молчал, вздыхал, томился сознанием как бы своей вины и имевшей место несправедливости.

— Знаю, мама, что все это ужасно, мое положение увеличивает твои страдания, но, видимо, я должен объявиться властям. Раз я осужден, то делать тут уж нечего, волком жить еще труднее.

— Сынок! Дорогой мой! Я же ждала, я только и желала, чтобы ты так вот решил сам! Я не хочу, чтобы ты был беглецом. Иди, дорогой мой сын! Иди! Мне легче, если даже тюрьма, но не...

Простился Константин с нами и пошел в тюрьму. Нелегкая это была минута.

Более двух месяцев об отце ничего не было слышно. От

¹ К этому времени А. Твардовский уехал из родительского дома в Смоленск.

Александра тоже не было ни писем, ни каких-либо слухов. Сообщить ему о наших делах мы не решались. С матерью в семье я оставался самым старшим из мужчин.

В конце декабря соседские дети принесли из Ляховской школы записку. Писал бывший мой учитель Исидор Иванович:

«Иван! В селе Балутино организована группа 6-го класса при начальной школе. Попытай счастья!»

И. Рубо».

И мать, несмотря на наше бедственное положение, везет меня на сани, на той же старой облезлой лошадке в село Балутино, что по ельнинскому большаку в двадцати верстах от Ляхова.

Мы обратились к директору школы Палехину. Он любезно нас выслушал, посмотрел справку об окончании мной 5-го класса, никаких иных документов не испросил, тут же зачислил меня в 6-й класс. В небольшой крестьянской хатке в тот же день нашли койку у одинокой крестьянки, где уже жили двое школьников. И все это было так радостно, что мы даже забыли наши сложные и неясные обстоятельства в семье.

Но учиться там, в Балутине, пришлось недолго. В половине февраля 1931 года я был исключен из школы. Ясно помню слова директора: «У тебя, Твардовский, не представлена справка о социальном положении, а говорят, что ты сын кулака. Если это не так, принеси справку! Можешь оставить школу!»

Произошло это на большой перемене. Был я как раз в окружении ребят, галдели, смеялись. И вдруг — эти слова. Какое-то мгновение я молчал, глядел на него и как бы верил и не верил, чего-то ждал, может, даже чьей-то помощи или защиты. Но глаза мои стали тут же плохо различать окружающих и притихших ребят, я почувствовал отчужденность и одиночество среди знакомых и понятных мне одноклассников, но придумать я уже ничего не мог, выскочил бегом из класса, не захватив учебников. Не зашел я и в ту хату, где стоял на квартире.

Домой я нес еще одну невеселую новость и всю дорогу только и думал, как мне рассказать, чтобы меньше причинить горя матери. Но что я мог сделать? И кто мог бы мне помочь? Кому же я мешал?!

Назавтра из дома я пошел в сельсовет, в Ляхово. Сельсовет размещался в бывшем дяконовском доме. Робко, как виноватый, я вошел и встал у порога. Председатель что-то сверял, объяснял, возле него было несколько человек. Заметив меня, мельком бросив взгляд, спросил:

— С какими делами, парень? Проходи, рассказывай.

С места, прямо от порога, я сказал:

— Насчет справки я. Учусь в Балутинской школе, но вот справки я не предоставил туда, в школу. О социальном положении. — Сам стою, жду, мысль такая: «Сейчас услышу...»

— Так, так. Справка, говоришь, нужна? Так... А ты кто такой? Чей ты? Как фамилия?

А мне и назвать себя уже как-то боязно. Знаю же, что, как только назову фамилию, так сразу вся его доброта улетучится. Но делать нечего, надо говорить, раз пришел.

— Я... — и осекся, фамилия длинновзвучная, приметная.

— Твардовского... Трифона... сын, Иван, — сказал я и как бы увидел своего отца, который вроде даже слышит меня и видит, но молчит и чувствует, как мне обидно и трудно. «Может быть, — думаю, — разыскивают его уже». И все это так быстро мелькает, что я успел уже и дальше подумать: «Какая же тебе справка?»

— Сын Твардовского? — слышу. — Трифона Гордеевича? — говорит и смотрит прямо на меня. — А где же он сам, Трифон Гордеевич?

— Не знаю, где он, — отвечаю и думаю, что, может, и не поверит, хотя я и впрямь не знал.

— Знаем Трифона Гордеевича, знаем! Тут, брат, такое дело, не даем мы справок... кулакам. Зачем тебе справка? Скажи, что сын, дескать, я кулака. И не надо тебе никаких справок.

Я повернулся и вышел. Постоял, поглядел: жизнь шла своим порядком, и никому не было дела до моей печали.

После этого недели две я был дома, с матерью. Гадал, думал и просто не знал, чем же таким полезным заняться. Потом услышал от подростка-соседа, что на станции Колодне, близ Смоленска, берут на работу — снег убирать на железнодорожных путях. Иду в Пересну, еду поездом до Колодни, нахожу там прораба, опять неудача: несовершенно-

летних не принимают. Усталый и огорченный, вернулся домой.

19 марта 1931 года. В первой половине дня прибыл к нам сам председатель сельсовета. Его фамилия, кажется, Горчаков, с ним же были, как понял уже позднее, понятые: наш добрый знакомый, сосед Алексей Иванович и второй, тоже сосед, Кузьма Иванович Савченков. Топали, шаркали в сени, вошли в избу. Председатель был одет в серую куртку грубого сукна с овчинным воротником, в шапку-ушанке, на ногах — сапоги.

— Здравствуйте! — сказал он. Переминаясь у порога, стояли понятые. Лицо председателя было обветренно-загорелое, взгляд строгий, сам энергично-подвижный. Наше запустевшее жилище он осматривал пристально, пожимал плечами, что-то думал про себя, как бы: «Не такое ожидал увидеть у вас в избе».

В одежонках сидели на лежанке детишки. Наслышавшись всякого, они глядели на председателя тем детским взглядом, когда ничего доброго не ожидают от незнакомых, — тревожно и гадательно. Возле детей стояла наша мать, оробевшая и осунувшаяся, с припухшими от слез глазами, в предчувствии услышать еще что-то тяжкое.

Понятые присели на скамью у порога, а председатель прошел за перегородку, разделявшую избу на две половины. Здесь были стулья, называемые венскими, но уже скрепленные отцом проволокой, сиденья, изношенные до дыр. Он перевел взгляд на старый обеденный стол, потом на стоявший у стены, под окном, истертый жесткий диван — место, где мы, дети, проводили дни и вечера в зимнее время. У глухой стены виднелась занавешенная напольнику единственная в семье старая отцовская кровать, на которой под выцветшим одеялом угадывалась впалая утроба матраца. Небольшое зеркало в рамке с украшениями из наклеенных ромбиков висело на стене — тусклое, с рваными пятнами изъеденной амальгамы. Потом председатель вышел в сени, заглянул в кладовую: она была пуста, сел рядом с понятными, сцепив руки и опершись локтями на колени и склонив голову, похоже, что-то думал, может быть, про себя сочувствовал, но отменить он ничего уже не мог.

Мы не могли даже и подумать, что вот-вот придут подводы и нам нужно будет куда-то ехать, что живем мы последние часы в Загорье. Но вот председатель приподнялся, взглянул в окно, и, увидев приближающиеся подводы, тут же распорядился:

— Ну, гражданка Твардовская... Мария Митрофановна! Все! Значит, слушайте. Приказание такое... — Он не глядел на мать, стоял вполборота к ней. — Значит... одеться всем! Все необходимое погрузить на подводы. Топор, пилу, лопаты с собой обязательно! Продуктов в дорогу тоже. — Подумал. — Чашки, ложки и все такое: мыло, постель, белье. Одеваться теплее. На лошадях будете ехать до Ельни. Там — сборный пункт. Вот все. Время не ждет, собираться быстро!

Он вышел к возницам, понятые продолжали сидеть в избе.

На дворе было шумно, слышались мужские голоса, кто-то кого-то о чем-то спрашивал, сморкались, хлопали рукавицами, и все это, после полной тишины, было похоже на что-то базарное, безучастное к нам.

А в избе шла другая жизнь. Плакали и прижимались к матери наши младшие — Павлик, Маша, Василек.

— Мама! Куда нас? Мама-а! Куда мы?! — Они запрокидывали головы и тянулись к лицу матери, обхватывая и цепляясь за ее одежду, просили ответа, просили защиты. Мать сама была не своя. Она металась, собирала всякие вещички, из рук все падало, в отчаянии, роняя слезы, обнимала детей. И тут же, не своим уже голосом, пробовала еще и успокаивать их: «Детки мои! Ну что же вы?! Ну ладно, не плачьте же, дорогие мои, деточки мои!»

Сборы наши наблюдали понятые — тоже ведь люди, и нелегко им было видеть такую картину. Алексей Иванович сочувственно переживал участь нашей семьи, то вставал со скамьи и отворачивался, чтобы не видеть страданий, то вновь садился, потупив голову, и все мямл свои руки, не зная куда деться.

Я был тогда в семье за мужчину. Никто из старших братьев не был свидетелем этой картины. Я и описываю сейчас все с особым правом на это.

Ящики, торбы, узлы и мешочки — немудрый наш багаж был погружен на сани. Сошла мать с крылечка. Малыши, закутанные бог весть во что, тут же, рядом с ней. Мать оглянулась, попрощалась со всем тем, что было дорогим

и родным, где было когда-то начало и где она, молодая, двадцатилетняя, держала на руках, стоя у порога кузницы, второго сына — Шурика.

Непритворно, сердечное прощание и помогал разместиться Алексей Иванович. Его последние слова были просьбой поверить, что ко всему этому он не причастен, и не иметь о нем недобрых мыслей.

Уже вечерело, когда, наконец, выехали мы с подворья. Повезли нас, как нарочно, не прямой дорогой, а кругом, через Сельцо. Из хат выбегали соседи, прощались, кое-что дарили, на ходу, бегом догоняя, передавали хлеб, куски сала, узелки муки.

По большаку Смоленск — Ельня мы ехали всю ночь. Весна уже испортила санный путь, лошади то и дело проваливались в снег. Приходилось слезать и местами идти пешком. В Балтутине, ночью, я успел забежать в ту хату, где стоял на квартире, попрощался с ребятами, с которыми учился и жил. К Ельне подъезжали на рассвете, там ждала нас старая солдатская казарма — сборный пункт. В ней уже было много подобных нам крестьян с семьями. Встретились там и знакомые: Мормылевы из Сельца, Шупинские и Петровичевы из Ковалева, Возновы — родственники, некоторые знакомые из окружающих деревень. Но среди всех, казалось, самой измученной и обиженной была наша семья.

А подвозить продолжали. Дней через пять казарма была полностью освоена. Появились грязь и неприятный запах от скопления разновозрастных людей: детей, стариков, больных и здоровых.

На шестой день прибыл наш Трифон Гордеевич, а на седьмой привезли из Смоленской тюрьмы и Константина. И как же много значило для нас возвращение отца и брата!

На двенадцатый день после отъезда из Загорья всех напихали в товарные вагоны, в которых были настланы доски в два яруса, как это делалось раньше для солдат. В каждом вагоне насчитывалось со стариками и детьми до полсотни человек. Очень неудобно было справлять естественные нужды: здесь же и женщины, и молодежь, и дети. Выход из положения был найден отцом: он прорезал ножом дыру в полу вагона, занавесил ее со всех сторон, так и обходился в течение всего пути до станции Ляля.

Ехали мы семь суток. Поезд шел и шел, непродолжительные остановки были лишь для смены бригад. За это время кормили нас только два раза: в Казани и в Свердловске приносили в ведрах прямо в вагон суп и кашу. Люди как-то смирились, беседовали уже без слез, пробовали и песни петь, но, правда, песни были грустные: о доле, о каторге, о Байкале. Подолгу поочередно всматривались в проплывающие за небольшим оконцем-люком поля, долины, леса, завидуя иной жизни и сожалея о своей нарушенной.

Долго было неясно, куда же все-таки нас везут. Кто-то предполагал, что в сибирские степи, где, якобы, «мест для всех хватит», кто-то убеждал, что «хуже не будет», чем было на родине, но все это было лишь желанное предположение. Когда же от Свердловска поезд круто повернул на Север, то радужные мысли сразу потускнели, и было ясно, что впереди край суровый и как там, и что там — сказать уже никто не мог.

И вот, наконец, станция Ляля. Поезд еще только сбавлял скорость, а кто-то из находившихся на верхнем ярусе уже увидел через оконце и успел громко прочесть эти два слога «ля-ля». Через минуту-две поезд остановился, и можно было слышать отдельные слова каких-то командных указаний. Минуты нашего ожидания были томительны, но уже не было сомнений, что по железной дороге наш путь окончен: на станционной площадке и между строений мы увидели большое количество подвод, запряженных в сани.

Это было седьмого апреля 1931 года. Открывали вагоны люди в длинных шинелях. Сразу же было приказано сдать все имеющиеся документы — предугадывались ограничения свободы. Наши семейные немудрые бумажки мы полностью сдали. Затем последовала команда выходить из вагона. И сразу же семьями садили на подводы и тут же отъезжали к указанному месту на реке Ляля, откуда предполагалось дальнейшее движение по льду в верховье реки.

С полудня до вечера и всю ночь нас везли вверх по реке. Проезжали таежные селения, что стояли по берегам этой реки, и было заметно, что между селениями довольно значительные расстояния — не менее пятнадцати — двадцати километров. Первым селением было Бессоново, затем —

Злыгости. Последнее в нашем восприятии содержало какой-то затаенный смысл, казалось отторженным от мира неприступным кордоном. Возницы сильно отличались своей речью от нашей, что сказало на нашей дальнейшей судьбе, спецпереселенцев, как положено было нас называть с первых дней пребывания в местах ссылки.

Мы проехали, наверное, верст 50—60 и остановились неподалеку от старинного, очень большого таежного бревенчатого села Караул. В детстве мы слышали это слово как криков о помощи, и потому опять мелькнуло недоброе предчувствие. Но нас в Караул не повезли, а весь обоз повернул влево от реки, прямо в тайгу. Проехали два-три километра до низких, но больших, широких барачных, срубленных из венцов толстых бревен. Барачных было всего два или три. Перед нашим приездом в них жили лесорубы, теперь их куда-то переселили, осталось только несколько человек, им предназначалось руководить нами.

Несколько дней шла переписка, уточнение фамилий, имен, специальностей, хотя никто не был поставлен на работу по специальности. Выдали хлеба по 600 граммов на душу в день, сразу на неделю. В общем, особых печалей первые дни мы не испытывали, надеялись, что будет полегче. Но угнетало жилье. Скудность семей на общих нарах, толкотня, грязь. Работать нас первое время не особенно принуждали, никто толком не вел какого-либо учета труда. По первому же предложению мы все шли на земляные работы (строилась водная система сплава из глубин лесосек к реке Ляле), но вскоре убедились, что работой нашей не больно-то кто интересуется, и был наш угас.

Здесь, в этих таежных бараках, мы пробыли всего недели две. Пришло указание переселить нас всех еще дальше, вверх по реке, в район Старая Ляля. (Тут мы узнали, что есть Новая Ляля, и она оказалась тем рабочим поселком, где мы сошли с эшелона.) Этой новости мы были даже рады, ожидая чего-то лучшего. Но санного пути уже не было. Нас везли на колесах по тракту, пролежавшему параллельно реке. По сторонам тракта везде была тайга, местами с подлеском, с кустарниками. Суровость края нас не пугала, мы не допускали и мысли, что уже через год многих из нас не станет.

В Старой Ляле пробыли несколько часов, ждали, что кто-то что-то нам скажет, объяснит, но ничего такого не было. В этот поселок шла узкоколейная железная дорога от станции Выя протяженностью километров до семидесяти. Был в Старой Ляле небольшой лесопильный заводик, сам поселок словно глубоко провалился между окружающих его мрачных, покрытых хвойным лесом гор, на которых виднелись пожарные вышки из бревен. Старую Лялю мы оставили в тот же день, и к утру следующего дня прибыли на лесозаготовку Ново-Лялинского леспромхоза Парча, где было два старых барака. Опять нары, опять скудность, грязь и галдеж. Теперь мы должны заниматься непосредственно лесозаготовительными работами.

Наша семья пока была все еще здорова, в других же были уже и больные, и умирающие.

Теперь каждодневно мы выходили на работу, на сплав леса. Громадные штабеля бревен по берегам реки нужно было сбрасывать во вскрывшуюся ото льда реку. Делалось это вручную. Перекачивали каждое бревно по проложенным покатом — следам, для чего ставили по два-три человека на каждом штабеле. Верхние ряды сравнительно легко подавались усилиям рук, а те, что были в нижних рядах и тем более не на ровном месте или при некотором подъеме, давались намного труднее, а для женщин были совсем непосильными. На работу от нас ходили отец (было ему за пятьдесят), брат Константин, сестра Анна. Я на положении взрослого был на этих же работах, выходила и мать — помогала нам, сколько могла. И ни сама работа, ни климат нас не пугали, начинал мучить голод. Питание было совсем никудышное: хлеба мало, для горячего выделялось ничтожно мало крупы, изредка — овощи. Полученный паек никак не удавалось разделить на все дни, и, как правило, день-два-три есть было вовсе нечего. Да к тому же отношение со стороны местных десятников было почти издевательским, всюду слышалось: «Давай!», «Давай!», «На вас люди работали — теперь ваша очередь работать на людей!» И так постоянно, и куда деться от сознания, что постепенно близится гибель. Проходили недели, декады, подсчитывалась десятниками проделанная работа, выделялись, согласно выработке, продукты. Выделяли их по так называемому расчету на заработанный рубль. Никаких рублей мы не получали, хотя подсчет их как будто был. На рубль полагалось 113 граммов муки, еще меньше крупы и совсем нич-

тожно сахара. Получалось до смешного мало, и уже никакие хитрости хозяйки не могли поправить дела.

Приближалось лето. Молевой сплав леса в верховьях Ляли подходил к концу. На реке оставались только вольнонаемные, «кадровые», как их называли, сплавщики, задачей которых было очистить берега и заводы от затерявшихся бревен. Люди эти в шутку называли себя «зимогорами», что говорило об их бесшабашности, оторванности от семейной жизни и какой-то особой беспечности к своей судьбе.

Период сплава «зимогоры» проводили на реке дено и ночью, в постоянной рискованной готовности оказаться в самых непредвиденных обстоятельствах ледяного половодья, несущего тысячи тысяч кругляков леса, где надо уметь и успеть броситься на эту движущуюся, вертящуюся массу, виртуозно балансируя с багром в руках, подобрать к месту зарождающегося затора, мгновенно найти тормозящую точку и «открыть окно» главному напору бревен.

Потом, завершив свое дело — лес доставлен по назначению, — возвращались «зимогоры» на исходную, в Парчу, где неподалеку от переселенческих бараков, между черемуховых зарослей, стоял их барак, в котором хлопотливо готовили стол к встрече две-три молодки. И черемуховый уголок необычайно оживал: гудели, пели, отплясывали уральскую «Подгорную» до изнеможения, и кто-то из них с усердием выжимал весь дух из татарской гармошки, то и дело взрывом вплетая слова из частушки:

Ты пошто меня не любишь?

Я пошто тебя люблю?

И-и! Пошто ко мне не ходишь?

Я пошто к тебе хожу?

Все они — человек двадцать — были в том возрасте, когда «еще не все потеряно» и есть желание тряхнуть удалую. Их положение резко отличалось от нашего, переселенческого, где довлела печальная тишина, где и малые, и старые смиренно коптились вечерами возле дымивших костерков у реки, вполголоса и отрывочно делясь памятью о своем прошлом. Но ведь мы не являлись осужденными, и никакого приговора суда и срока объявлено нам не было. Не было и какой-либо огороженной и охраняемой зоны, следом за нами вооруженный конвой не ходил, и это давало повод верить в возможность ненаказуемого выхода с поселения. К тому времени люди стали больше знать друг друга, различать, с кем и о чем можно говорить, и то, что до поры хранилось затаенной мечтой, теперь уже в осторожных беседах начинало всплывать наружу.

Не знаю, у кого первого появилась мысль тайно уйти из места ссылки, у отца или у брата, но было уже совершенно ясно: отец с Константином пришли к выводу, что иного выхода нет, как только уйти, то есть самовольно оставить поселение.

И вот наступило лето. Июнь месяц. Тепло и днем, и ночью. Отец и мать благословляют Константина и меня в путь-дорогу. Тайных лесных путей мы не знали и потому решили идти тем же трактом, по которому ранней весной нас привезли. Летней тихой ночью мы простились. Наша семейная договоренность была такова: ни при каких обстоятельствах не говорить, куда и как мы скрылись. «Пусть думают, что хотят».

Прошли мы километров двадцать, уже и Старая Ляля позади, осталось только пройти через мост небольшого притока Ляли, и вот на том мосту — встреча. Два всадника показались как раз в то время, когда мы вступили на мост. Скрываться уже было некуда, и мы решили идти прямо на встречающих, все еще не теряя надежды: авось, минует. Но нет, не миновало.

— Кто вы и куда идете?! — подъезжая, крикнул один из всадников. Наш ответ был, видимо, неубедительным, и мы услышали повелительный приказ: — В комендатуру, ну!

Получилось обидно. И было неловко, стыдно: так мало нам удалось пройти, и сразу же мысль о том, что теперь нас ожидает и как все обернется. А мать и отец думают, что мы уже далеко, думают, что мы окажемся свободными, где-то устроимся, может быть, чем-то поможем остальным, если они выживут.

Нас посадили в каталажку, где и продержали около суток. Выяснив, с какого мы участка, отправили под конвоем в село Павда, что примерно в сорока километрах от Старой Ляли, но опять вверх по реке. Усталые и голодные, мы шли по каменистой горной дороге целый день. Конвой верхом на

лошади, ему, наверно, и удобней, и легче, он же, конвой, и не голоден, но и он, чувствуете, устал. Шли молча. В Павду пришли вечером. Опять — каталажка с решеткой на малом окошке, дверь надежно закрыта, кто-то дежурит. Утром нас вводят в комнату некоего начальника. «Откуда? Почему? Куда?» Ответаем по правде: «Голод, унижения, негодные условия жилья».

— Ну что ж. Вот ты, — он указал на Константина, — в штрафную роту пойдешь. Там ты поймешь, что такое хорошо, что плохо. Там будет весело! А ты, — теперь его взгляд был обращен на меня, — ты пойдешь к семье, обратно на Парчу. Лет тебе недостает, а то угодил бы туда же.

Обратно, на Парчу, я шел без конвоя. «Куда и на какое время угонят Константина?» — думал я, шел и соображал, как обо всем этом рассказать. Уж больно скоро и скверно все кончилось. И что нас ждет впереди...

С испугом встретила мать, строго и вопрошающе посмотрел отец. Они совсем ничего, как и я, не слышали о штрафных ротах. Думалось всякое и даже такое, что, может быть, уже никогда не видать нам Константина. На Парче почти никто и не заметил, что меня не было двое суток, и я опять стал ходить с отцом и сестрой на работу. После сплава мы заняты были окоркой бревен, не вывезенных из леса на зиму. Работали ручными окорочными стругами-лопатками, а в случаях, когда попадали комлевые бревна с особо толстой корой, применяли топоры. В тайге летом довольно жарко, много всякого гнуса, пахнет травами, прелью. Работа не увлекала, так как смысла и интереса она не давала.

Прошло около месяца с тех пор, как ничего не было слышно о судьбе Константина. И вот однажды среди ночи, в июле, меня разбудила мать. «Костя пришел, — тихо она сообщила, — выйди к нему, он ждет».

Я вышел из барака, никого не было слышно, но, когда подошел несколько ближе к реке, уловил отдельные слова знакомого голоса и тут же различил, понял, что брат не один. Их было трое: Костя и двое молодых, мне неизвестных. Они были в побеге и останавливаться на Парче не собирались, но сказать матери и отцу — проститься еще раз — было в их плане, а также взять и меня с собой. Не знаю уж, о чем Константин успел поговорить с матерью и отцом, но то, что они не препятствовали, я понял. Итак, мы снова на запретных дорогах.

За время пребывания в штрафной роте Константин каким-то образом узнал о возможности прохода прямым путем через горные перевалы по тайге, минуя таким порядком и Старую Лялю, и Верхотурье с расчетом из Азии выйти в Европу в районе железнодорожной станции Теплая Гора. По тогдашним подсчетам, этот путь был равен 250—300 километрам, но путь необычный — селений в этом направлении не значилось и лишь изредка могли попадаться отдельные старательские хижины вблизи горных речушек.

Предполагалось, что могут быть где-то и прежние заросшие дороги, по которым якобы, когда-то при царе, гнали в Сибирь каторжан. Ни карты, ни компаса у нас не было. Ориентироваться каким-то особым, таежным образом мы не умели и все же решили идти неведомыми для нас тропами, проселками, речками и просто наугад, как подскажет судьба.

Шли день, шли второй. Если случалась вода — отдыхали. Запас продовольствия — сухари, сушеную рыбу — расходовали строжайше экономно. Помню, что встречались нам старые, поросшие травой бревенчатые дороги, может быть, вправду когда-то служившие для следования этапами каторжан, для нас же они оказались очень даже подходящими. На пятый день мы стали замечать покосы, стога сена и тропинки с признаками недавних, почти свежих следов обитателей тех мест. Потом услышали отдаленные гудки паровоза, послужившие нам предупреждением к осторожности.

На Теплую Гору мы вышли на шестой день. В первый момент это обрадовало нас, но тут же встал сложный вопрос: «Как быть дальше? Что делать?». Денег у нас не было, и о покупке билета для проезда не могло быть и речи. Можно было только попробовать на товарных поездах, но это тоже не просто и вообще в составе целой группы невозможно. Так мы рассуждали, сидя вблизи железной дороги, в лесу. Здесь мы расстались со своими спутниками, и судьба их осталась нам неизвестной.

И вот мы с братом вышли к станции. Как раз проходил пассажирский поезд. Кто-то куда-то ехал, не прятаясь, не боясь, и, конечно, в уме не держал, что совсем рядом металась в неизвестности два человека, каждую минуту ожи-

дая ареста, этапа, жестокого обращения, не имея прав защитить себя и имея единственное желание — быть просто свободными людьми. Вид наш был изнуренный, приметный, подозрительный. И нас там же задержали. Опять комендатура, допросы, обыски и арест.

На наше счастье там, на Теплой Горе, был маленький заводик — остатки демидовских владений. Завод чугунолитейный, с одной старенькой небольшой доменной печью, работавший на древесном угле. На заводе не хватало рабочих, и по этой причине нас передали в распоряжение этого завода. Поселили под крышей пожарного депо. Не было там ни кроватей, ни каких-либо постельных принадлежностей, но все это ничуть нас не испугало — мы были рады, что нет над нами охраны, каких-либо надсмотрщиков, что, работая на литейном дворе, мы получали талоны на обед, на ужин и утром на завтрак. Работа, правда, была адская и новая для нас, но жить можно было. Кто-то из начальства, однако, приметил, что я жидковат для работы на литейном производстве, и меня перевели работать на лошадях по перевозке угля с железнодорожных складов на домну. Повозка с большим плетеным из прутьев коромом запрягалась парой лошадей. Я возчик, я же и грузчик угля. А выгрузка производилась так: лошадей не выпрягая, поворачивали под прямым углом к нагруженной повозке, и она без особых усилий опрокидывалась, а порожний короб был довольно легким, и его уже возчик сам устанавливал на повозку. Работа эта была грязна до предела. К вечеру я бывал чернее самого черта, переодеваться же было не во что: в чем работал, в том же ел, в том же и спал. Глядя на меня, Константин страдал, да и вообще он продолжал думать все о том же — бежать, бежать в родные края. Я до сих пор не очень понимаю, что именно двигало братом, почему он так неотступно стремился бежать. Правда, у него на родине была невеста, которая не знала, где он и что с ним. Мне казалось, что муки наши неоправданно тяжелы, что, где бы мы ни оказались, ждет нас все то же: арест и этап.

Здесь я должен возвратиться немного назад. Будучи еще на Парче, мы писали Александру в Смоленск. Мама и отец, видимо, еще думали — не сможет ли он как-то, чем-то помочь. Конечно же, сам он жил тогда на малых средствах, постоянного заработка не имел и материальной помощи от него не ждали, пусть бы просто сохранилась какая-то родственная связь с родной матерью, отцом, с младшими кровно близкими.

Туда, в Парчу, пришло от Александра два письма. Первое письмо было чем-то обнадёживающим, что-то он обещал предпринять. Но вскоре пришло и второе письмо, несколько строк из которого я не забыл до сего дня. Не мог забыть. Слова эти были вот какие:

«Дорогие родные! Я не варвар и не зверь. Прошу вас крепиться, терпеть, работать. Ликвидация кулачества не есть ликвидация людей, тем более детей...»

Письмо этим не кончалось, писал он и дальше, вроде того: «...писать я вам не могу..., мне не пишете...» На том все и закончилось, больше он не писал и о судьбе нашей ничего не знал до 1936 года.

Когда мы были на Теплой Горе, у Константина все еще хранилось в сумке пальтишко грубого сукна, демисезонное, таскал он его на тот случай, когда уже ничего иного придумать нельзя, как только отдать за кусок хлеба. И день такой настал: он променял свое пальтишко на сухари, нам в дорогу. Пользуясь тем, что на Теплой Горе не было охраны, мы продолжили наш путь.

Шли прямо по шпалам железной дороги. Впереди была станция Чусовская, до которой 250 километров. Каждый день мы старались пройти по 50 километров. Сколько-то у Константина было денег, кажется, он их получил при обмене пальто на сухари, и мы в пути несколько раз покупали молоко у железнодорожников. Спали же на этот раз во встречающихся стогах сена и дошли до станции Чусовской за пять суток.

Но так уж все складывалось, что как только мы оказались на улице этого уральского городка, так тут же и были задержаны милицией и водворены в арестантское помещение. Продержали нас там недели две. Каждый день всех задержанных и арестованных, которых набиралось до сотни, посылали на разные работы под охраной: разгружали вагоны, таскали доски, кирпичи, работали на лесоскладах. Во дворе милиции мы вдруг встретили нашего родственника — дядю Михаила Вознова. Того самого Вознова,

о котором ученик Ляховской школы Шура Твардовский упомянул в самом первом своем стихотворении:

**Раз я поздною порой
Шел от Вознова домой...**

Встреча со старым, дряхлым, больным Михаилом Матвеевичем Возновым была так неожиданна, так печальна, что отозвалась в душе как последняя встреча с обреченным. Да оно и не могло быть иначе. И он это понимал.

Непослушными, дрожащими руками, роняя старческую слезу, он, покопавшись в своем мешочке, отыскал завалявшийся кусочек смоленского сала и разделил его с нами. Никакой связной беседы не получалось, только так, междометиями: «У-ух!» да «А-йй!» Он предвидел конец свой, и, наверно, там, на Чусовской, он для него и настал. Обнялись, попрощались. Тут нас стали вызывать по списку для отправки на станцию Утес, что в двадцати километрах от Чусовской в сторону Соликамска.

Работу нам дали на алебастровом производстве. Это не было ни заводом, ни фабрикой, а просто «Алебастровое производство», как и значилось в бумагах. Там, в близлежащей горе, в карьерах, добывали алебастровый камень-сырец. Вагонетками на лошадях его подвозили к станции и обжигали древнейшим способом: выкладывались из него как бы своего рода печи, в них сжигались дрова людьми, знающими и умеющими держать в этих печах нужную температуру, определять готовность обжига. Там же, на специальной мельнице, камень мололи, а затем грузили в вагоны.

Беглецов было много. Все они жили лучше, чем мы в таежных местах. Здесь работа оплачивалась лишь немного ниже, чем вольнонаемным, и было гарантированное питание в столовой с постоянной нормой хлеба. Мы были согласны остаться здесь надолго, но с наступлением зимы сократились работы, и всех нас собирались отправить по прежним местам ссылки. Возвращаться опять на Парчу, на Лялю мы не хотели, и Константин решил устроиться на угольные шахты, которые находились севернее, в Кизеле и в Усьве. Слухи были такие, что якобы там не требуется никаких документов, дескать, шахта есть шахта, лишь бы ты хотел работать. Надо было как-то попасть туда, но это неблизко — километрах в семидесяти.

На товарных поездах мы доехали до тех мест и побывали на шахтах, и хотя нас там не задержали, но и на работу без документов не приняли.

Начались холода. Одежда наша была совсем не по сезону — мы коченели от холода. Но деваться некуда, надо как-то жить, что-то искать. Мы снова, теперь уже вспять, до Чусовской, не заходя в город, напрямик, отправились по заснеженным, бугристым и неприветливым пустошам, добрались до железной дороги и по шпалам пришли на станцию Калинино. Обогрелись, отдохнули, какой-то воршишка угостил нас чаем в буфете, а с наступлением темноты мы оставили эту станцию и на товарном поезде проехали два-три пролета до станции Комарихинской. Здесь уже никто нас не спугивал и не задерживал, и мы дождались утра в зале для пассажиров.

Нынешнее поколение, может быть, с трудом поверит в правдивость моего рассказа. Но мы были похожи как раз на тех, которым уже терять нечего и нечего ждать. Мы были голодны, одиноки, утомлены самой жизнью и желали только одного — хотя бы оказаться в тепле, уснуть, забыться, даже умереть, исчезнуть, лишь бы освободиться от безнадёжности.

И все же мы продолжали двигаться вперед, по направлению к западу, в ту сторону, где осталась наша малая родина. И не чувствовали за собой никакой вины. Мы же никаких преступлений не совершили, и не могли смириться с тем, что у нас отняли свободу и молодость.

Впереди была Пермь. Этот город мы обошли стороной, петляя по его окраинам, где-то по льду перешли Каму ночью; чуть живые вышли на железную дорогу, и она привела нас на станцию Курья.

В маленьком зале вперемежку с торбами, сумками, сундуками, прямо на полу сидели, лежали взрослые и дети. Многие спали, храпели, некоторые копошились, пристраиваясь уснуть. Были там и такие, которые видом своим были похожи на нас. Там мы немного отдохнули. Разбудил брат толчком. Открыв глаза, я понял, что надо идти. Ничего не спрашивая, я встал, и мы оставили эту станцию и прямо по

линии двинулись дальше. Отойдя всего с полверсты, возле немудреного домика увидели баньку, вошли в нее, и тут нас охватило смятение: банька еще не успела остыть, в ней было тепло, и это вызывало опасения. Но оно прошло — поняли, что в столь поздний час никто уже не придет и остаток холодной ночи можно провести в тепле. Однако я еще не знал, что побудило брата покинуть зал станции, где мы также могли бы скоротать эту ночь. И спросить об этом я еще не успел, как брат, крикая, присел к окошку, вытащил из мешочка полбуханки хлеба, затем добрый кусок мяса и... четвертинку водки.

— Понял? — кивнул мне. — Вороне бог послал... ну и не спрашивай. Давай ешь.

Конечно, я все понял.

Спустя лет сорок с лишним, будучи в гостях у брата в Лоннице, на Смоленщине, где он, вернувшись с фронта, проработал в совхозе кузнецом более тридцати лет и давно уже был коммунистом, вспоминали мы те годы и наши дороги.

— Помню, Ваня. Помню все. И ту ночь тоже... Да что ж можно сказать? Голод, отчаяние. Камня на моей совести нет!

Чувство стыда было повержено голодом и нашим положением. Константин выпил водки, поели, пошли дальше. Где-то сели на товарный поезд и ехали на тормозной площадке до станции Верецагино. Было много путей, и мы, опасаясь, шли между поездных составов. Вдруг услышали окрик: «Стой! Кто такие?» К нам подскочил коренастый, белообрый мужчина. Схватив брата сзади, принудил следовать за ним. Константин, конечно, мог отбросить его или же вступить в борьбу, но побоялся, не то было место: белообрый был дома, а мы чужие, беглые бродяги. Просьбы наши не вызывали в нем сочувствия, и мы были доставлены в отделение линейного ОГПУ.

Через день нас повезли в этапном вагоне в Пермь. Мы были не одни — задержанных был полон вагон. В Перми нас сдали в какой-то лагерь, где было до полтысячи пойманных беглецов, преимущественно из ссыльных. Лагерь находился близко к складам зерна. На этих складах нам и пришлось работать на погрузке и разгрузке. И было там чему удивляться: только вчера выгружали, бегали возле нас «руководящие» с бесполезным «Давай! Давай!», а назавтра мы — обессиленные «муравьи» — волокли те же мешки под ту же музыку «Давай! Давай!» обратно в вагоны.

Кормили плохо, условия в казарме самые ужасные: ни тебе бани, ни постели, ни тепла. Грелись мы теплом человеческих тел.

Я пишу эти воспоминания в возрасте, когда уже все позади. Великое слово ПРАВДА обязывает меня сказать все, как было.

У Александра Трифоновича есть точные строки в поэме «По праву памяти» — это для тех, кто прочтет об этом времени впервые:

Вам —
Из другого поколения —
Едва ль постичь до глубины
Тех слов коротких откровенья
Для виноватых без вины.

Вас не смутит в любой анкете
Зловещей некогда графой:
Кем был до вас еще на свете
Отец ваш, мертвый или живой.

В Пермском лагере находились около месяца. Потом опять этапом в те же места, куда были высланы. Нам, мне и брату Константину, предстояло возвратиться на реку Лялю, в Парчу.

Само название места, Парча, мне очень нравилось. Дело в том, что с самого раннего детства я слышал это слово из поэмы Некрасова «Коробейники»: «Ой, полна, полна корбушка, есть и ситцы, и парча...» Ее у нас в семье не только читали, ее пели. И хотя тогда, в детстве, я не знал, что парча — один из видов ткани, слово это ассоциировалось с чем-то красочно-нежным, праздничным, завораживающим. Не исключая, что, может, некогда это название и возникло в связи с удивительной красотой самого места и реки Ляля. Она петляет среди отвесных гор, удерживающих на себе в основном сосновые леса, у подножья — сплошные черемуховые заросли, которые обильно цветут ранней весной, и, конечно, при нормальных условиях жизни ими нельзя не восторгаться.

Наконец, станция Гороблагодадская. Отсюда нас везут в Нижнюю Туру, и потом, уже без конвоя, мы пошли с Константином по узкоколейке в сторону Старой Ляли.

Примерно на половине пути, на какой-то крохотной остановке, где было всего два-три барачных сооружения для службы и жилья, поздно вечером, уже предельно утомленные, мы осмелились зайти в одно из тех жилых строений. Открыла нам женщина средних лет и... не испугалась. Приветливо позволила войти. Мы честно рассказали ей о себе: «Бежали из ссылки, были задержаны, возвращаемся на прежнее место».

До сих пор сохранилось во мне ее теплое сочувствие: мы были встречены по-людски. С каким-то чисто материнским вниманием она предложила нам ужин и с радующим напоминала, чтобы мы не стеснялись. Предлагала и ночлег, но мы и без того были ей благодарны — ушли.

На Парчу явились в конце января 1932 года. Надо сказать, что ни о матери, ни об отце, ни о сестрах и младших братьях мы не забывали никогда. Но теперь, уже на подходе к тому самому месту, где оставили их, мы с содроганием ловили себя на неотступной мысли: «Живы ли они?..»

Не доходя одиннадцать километров до Старой Ляли, нужно было свернуть влево и кратчайшим путем выйти к месту первичного поселения — на Парчу. Так мы и сделали. Летняя тропинка, прикрытая снегом, угадывалась и привела нас к реке. Но боже мой! Ничего не узнать! За время наших скитаний построен целый поселок переселенцев. И уже не на Парче, а двумя километрами выше по реке. Появилось там много новых спецпереселенцев с Украины.

Бревенчатые хаты, из труб которых выползали лохматые дымы. Было холодно. Кое-где замечались люди — обитатели поселка, а рядом — на склоне — кладбище. Бугорки могил, разбросанные как пришло, представляли невеселую картину. У первого же встречного мы спросили, живы ли наши? На украинском языке мы услышали:

— Старый давно тикав, а стара тучотки, жива. Ось ды-вись, у той хати живе! — и указал нам, как пройти.

Так мы оказались опять возле наших. Матери немного повезло, она работала на кухне, а потому голод ее не касался в той мере, как других.

На Парче вместе с матерью оставались наша сестра Анна, девятилетняя Маша и Василек, которому было всего лет шесть. О наших скитаниях мать ничего не знала — около четырех месяцев писем не получала и, конечно, догадывалась, что дела наши незавидны. Теперь же, увидев нас, была рада, что сыновья пришли к ней живыми — «хоть бы глянуть на своих родных, хоть бы словом обмолвиться».

Бревенчатая хата была срублена из свежих, на месте поваленных лиственных деревьев и строилась без самых элементарных плотницких навыков, что сразу же замечалось по кривизне углов и кособокости самого сруба, мать в ней занимала угол справа от левого входа. Входных дверей в хате было две, так как она была рассчитана на две семьи. Сейчас же в ней размещалось четыре. Большая русская печь с двумя топками сложена была к простенку между дверей. Перегородок в хате не было, и жильцы всегда были на виду друг у дружки. Но это и не считалось бедой, судьба обязывала мириться с тем, что есть. Хотя все одно к одному: сырые стены промерзали, покрывались инеем, а когда топились печи, иней таял, с потолка начинало капать, стены сочились и обрастали слизистой плесенью, двери были без тамбуров, и при открывании врывался леденящий холод. К тому же люди были в угнетенном состоянии, на поселке свирепствовал сыпной тиф, умирали, не получая почти никакой медицинской помощи, каждый только и ждал, что вот-вот придет и его очередь.

Для каждой семьи по углам хаты были устроены дощатые настилы: тут спали, тут ели, тут же кто что мог мастерил. Но после того, что пришлось видеть и испытать, находясь в этапных пересылках, нас уже ничто не удивляло и не страшило. Казалось даже, что «это еще ничего, бывает и хуже».

Знакомых мы здесь почти не встречали, а если кто и встречался, то в основном старики. Молодежи не было ни видно, ни слышно: кто-то бежал, кто-то был угнан на более отдаленные участки, а кого-то не было уже и в живых.

В той же хате, где мы нашли нашу маму, жили и Шупинские, старик со старухой. Они явно доживали свои дни. Знали же мы их еще на родине, в Загорье, так как по материнской линии они доводились нам свояками и жили совсем недалеко, в деревне Ковалево. Их единственный сын, Яков, был вывезен вместе с родителями в ссылку, но бежал

вместе со своей женой, и, как можно было понять, старики не знали ничего о его судьбе. Это, конечно, не значило, что он оставил их. Как правило, молодые бежали с ведома и благословения старших: не бежать, стало быть, добровольно согласиться с неминуемой гибелью: за первый неполный год пребывания на реке Ляле таежное кладбище приняло в себя сотни безвременно ушедших спецпереселенцев.

Сам старик Шупинский все еще продолжал работать, ходил на конюшню, но уже без всяких надежд на что-то лучшее. Глядя на него, я вспоминал, что именно он слыл невероятным силачом в округе наших деревень. Вряд ли кто мог поверить в это теперь. Едва передвигаясь, исхудавший и потому нескладный, он не мог уже ни встать, ни сесть без того, чтобы не опереться своими костлявыми свисающими руками. Две другие семьи нам не были знакомы раньше. Одна из них, по фамилии Лисовские, тоже старик и старуха. Она совсем не вставала, а старик еще держался на ногах и неотступно ухаживал за больной. Вскоре он остался совсем один. Какое это было горе для старого человека!

В первый же день мать рассказала нам кое-что об отце. Летом 1931 года, августовской ночью, он попрощался и с тринадцатилетним Павлушей покинул Парчу. Это было трудное расставание: он уходил от своей семьи, от своих детей, кому должен был помогать и хотел помогать, но, оставшись вместе с ними, он не мог этого сделать. Но ведь и уходя от них и ради них, понимал, что было слишком мало шансов на благополучный исход. И все же избрал последнее — уйти.

Планов его мать не знала и рассказать могла лишь самую малость: работает кузнецом в совхозе «Гигант» близ Можайска, пишет скупо, называет себя Тарасовым Демьяном Никитычем, каждый месяц присылает сто рублей почтовым переводом. Подробностей о себе не сообщал.

А наутро следующего дня нам предстояло объявиться коменданту поселка. Так сказать, с повинной. Неотвязно думалось: «Что нас ждет? Как посмотрят, что скажут?». Ведь возвратились мы на прежнее место ссылки спустя более полугодя, да и не по своей воле. Для переселенцев комендант был, что называется, главной фигурой, от которого зависело все. Но не явиться нельзя, и мы пошли к комендантскому домику, туда, где стояли старые бараки в полутора километрах от спецпереселенческого поселка.

В промерзшем коридорчике бревенчатого домика нас встретил пожилой спецпереселенец вопросом: «Чи хлопци до коменданту?» Осведомившись, что прибыли мы из Нижней Туры, он ушел доложить. Дверь тут же приоткрылась, и мы услышали: «Войдите!»

Сидевший за столом еще довольно молодой человек пристально окинул нас взглядом, похоже, желая разгадать, кто мы есть, и, помедлив, спокойно и добродушно сказал: «Слушаю!» — продолжая всматриваться в наши лица. Это был уже другой, новый комендант, и опознать нас он, конечно, не мог. Нам не было нужды что-либо придумывать о себе, и Константин рассказал все, как было.

Вопреки нашим представлениям, комендант производил приятное впечатление. Сидя почти неподвижно, он внимательно слушал рассказ Константина. На его молодом лице угадывалось понимание и сочувствие, а то, что он не прерывал рассказа, снимало с нас напряжение, и на душе становилось теплее.

— Вот все, что было и что есть! — закончил брат. Мы продолжали стоять. Комендант как-то оживился, вроде бы даже вздохнул и, придвинув к себе отрывной блокнот, ничего так и не спросив, бегом написал две записки.

— Вот что ребята: я все понял. Судьба, ясно, незавидная, больше я ничего не могу. По этой вот, — он потряс листком, — получите паек на десять дней, а с этой пойдете к десятнику Ворошилову!

Каким-то неписанным законом мы были лишены прав употреблять слово «товарищ» при обращении к начальству, в том числе и к коменданту. С этим мы почти свыклись и притерпелись, но в тот момент, получая записки, хотелось сказать: «Спасибо, товарищ комендант!», и это само просилось наружу, но... права на такое мы не имели. Слова же «гражданин» мы всячески избегали, как бы сохраняя тем самым протест нашему социальному неравенству. Поэтому благодарность за человеческое отношение к нам мы выразили только одним словом: «Спасибо!».

Мы шли от коменданта с облегченной душой: никаких упреков, никаких отчитываний комендант не сделал, и нам

хотелось поделиться своей радостью с матерью, которая опасалась, как бы нас не угнали в штрафную роту.

В тот же день мы получили продукты: восемь килограммов муки, три килограмма крупы, сколько-то сахара, рыбы — паек на десять дней по норме. Затем побывали в бане, прожарили всю свою «одежду», что на теле, встретились и с сестрой, которая работала на стороне — уборщицей в бараке вербованных лесорубов. Как и мать, она не удержала слез: больно ей было видеть нас, родных и неузнаваемых. Самые малые, Маша и Василек, сидели молча. Лишенные детских радостей, они успели увидеть столько человеческих мытарств и слез, что их души как бы состарились и окаменели. Они не плакали, но было понятно, что наше возвращение повергло и их в еще большее уныние.

Вся эта обстановка не позволяла нам ждать «у моря погоды», мы должны были начинать работать и доказывать самоотверженным трудом, что мы способны противостоять трудностям. Но в те минуты мы упускали из вида, что наша одежда была совсем непригодной для работы в лесу в зимнюю стужу. И еще хуже было с бельем. Будучи в Пермском пересыльном лагере, где ставляли нас работать на складах зерна, я сшил из мешков штаны себе и брату. Но что за штаны это были! Один смех и грех! Лишь приблизительно знал я, как скроить, да и нитки надо было добывать из тех же мешков и шить опасаясь, в полутьме, на третьей полке нар, чуть ли не гвоздем вместо иголки — лишь бы можно было надеть на себя вместо кальсон. Одним словом: нужда — учитель. Теперь же те мешочные штаны совсем распозлились, и нам вот как нужно было их заменить. Правда, в поселке можно было достать у переселенцев-украинцев за малую плату холщовые подштанники, но мы боялись, что вместе с покупкой окажется тифозная вошь, и тогда, считай, крышка. Поэтому решили шить сами, хотя шить-то еще не из чего было, — ведь нужно было найти метра четыре полотна. Наконец, мать нашла полотно, и вместе с ней мы сшили двое кальсон.

Тем временем брат получил лапти, рукавицы, подлатали верхнее барахлишко и были готовы к делу.

В записке к десятнику Ворошилову было написано рукой коменданта следующее:

«Ворошилову.

Направляю для использования на повале спецпереселенцев Твардовских Ивана и Константина».

Ниче стояла подпись, прочесть которую мы не могли.

Вот с этой запиской мы и представились десятнику, которого знали еще до побега. Это средних лет мужчина, коренной таежный уроженец, хорошо знавший, казалось, всю бескрайнюю тайгу и чувствовавший себя в ней, как в родной стихии. Прибрежные районы реки Ляли делились на кварталы, каждый из которых имел номер. Мы поражаемся той легкости, с какой ориентировался этот человек. Он все знал и помнил даже отдельные деревья. Каким-то особым чутьем определял расстояние и время, он мог безошибочно пройти тайгой к любому нужному месту, прокладывая след по таежной целине. То, что он был совершенно малораспутный, можно было заметить лишь тогда, когда он что-либо писал, — это давалось ему с трудом, но в делах и суждениях был опытен до удивления.

Кстати, надо отдать должное, что коренные уральцы таежных мест резко отличались от нас, привезенных из западных областей, и расторопностью, и даже какой-то лихостью, просто умением работать в суровых условиях. Топор в руках коренного уральца-лесоруба в работе взлетал и писал кривые так ловко, так уверенно и послушно, что, глядя на него, невольно всплывал образ жонглера-циркача. И мы с пониманием и уважением признавали эти достоинства местных жителей. Но, к сожалению, нашу неприспособленность и физическую слабость не понимали и не хотели понять. Отношение к спецпереселенцам усугублялось еще и тем, что звучавший повсюду лозунг «Ликвидировать кулачество как класс!» многими из низовых руководящих работников был понят в том смысле, что все позволительно по отношению к спецпереселенцам, которые в массе своей голодали, болели сыпным тифом, умирали.

Убежденное пренебрежение и равнодушие к спецпереселенческой молодежи и даже к детям горечью накапливалось в душе, лишало надежд, омрачало сознание. Я никак не мог понять: в чем же моя вина и за что? К нам не было элементарного сочувствия, никакого милосердия — только жестокость. Каждый случай конфликта на работе заканчивался напоминанием: «Вас ликвидируют... как класс! Ясно?!».

Не отличался мягкостью и десятник Ворошилов.

Нам должны были выделить делянку лесосеки, повел нас туда сам десятник. От поселка по накатанной дороге мы прошли километра полтора, затем свернули на пешеходную снежную тропинку, по которой идти можно было лишь друг за дружкой. Впереди шел десятник, за ним мы — гуськом. То поднимаясь в гору, то оглябая взгорки кружно, местами выходили на зимники, опять сворачивали и, предвидя, что возвращаться придется без проводника, присматривались, примечали в местах скрещений и развилки все то, что наиболее характерно, — горелые сухарники, буреломы, скальные выступы, чтобы не заблудиться на обратном пути. Часов у нас не было, и примерное расстояние определить было трудно, хотя в голове уже вертелся вопрос: «Да где же, наконец, та таинственная делянка?» А мы все шли и шли. Долго шли. Потом уж мы узнали, что, торопясь, надо идти в один конец часа полтора. Но вот, свернув на заснеженную целину, десятник остановился. Посмотрев туда-сюда, он вытянул руку и, очертив ею полукруг, выпалил:

— Вот здесь и будете валишь! Вот, все это... такое, — он опять рукой, довольно условно, сделал движения и продолжил: — Туда — можно до самого пригорка, а сюда, правее, — хоть до Китая!

«Бог ты мой немилосердный!» — пронеслось у меня в голове. На лесоповале мы не были новичками. Смоленщина — сторона не безлесная: с детства знали и умели и начотчи пилу, и свалить дерево с корня, да и топором владели, случалось уже и в ссылке работать в лесу. По виду самого древостоя мы хорошо разбирались в том, сколько и с какими усилиями можно заготовить на делянке сплошной сосны, которая отличается чистотой хлыста (сучья лишь на самой вершине), и сколько в разреженном, разнородном лесу. Мы сразу поняли, что делянку нам отводят самую что ни на есть плохую. Среди листовенного мелколесья, которое обычно поднимается на горах да на вырубках прошлых лет, местами возвышались, как пирамиды, комлеваты ели да пихты — сучья с низа до верха, да валишь некуда — поросль вокруг. Если же такое дерево и повалишь, то опять же незнамо как подступаться к нему — на сучьях оно, как на ногах, держится. Хлыст же из него конусный, а масса замерзает по диаметру в отрезе, что крайне невыгодно в учете. В общем, было отчего затылок чесать.

Вижу, и Костя не может собраться с мыслями, растерялся, молчит. Да и придумать что-либо в таком положении трудно: жаловаться некому — профсоюз был не для нас, а десятнику бесполозно, это мы знали. Брат, помнится, все же не умолчал, дал понять, что валишь-то мало чего есть, что деревья разреженные, неходовые, что сосны совсем нет и разогнаться не на чем, но десятник на все его доводы отвечал: «Учтем! Это мы учтем! Ворошилов знает, что делает!» — и ушел.

Прошло две, может, пять минут, как оставил нас десятник, и вселилось такое скверное чувство в душу, что хотелось не то плакать, не то просто исчезнуть. Мы молчали. Константин закурил, понуро оглянулся вокруг, как бы желая присесть, но рядом не было ни пня, ни валежины, а к горизонту простиралась бескрайняя изреженная тайга, неприглядная и унылая.

Помню слова брата. Он взглянул на меня и, разгадав мои чувства, сказал: «Ну что, Иван, до весны далеко! Думать же нам надо все-таки о жизни. И стоять нельзя!»

Он так и не договорил, двинулся, бороздя пилы и топором по сухому песочному снегу к неподалеку стоявшей ели, за ним и я.

Еще была-таки в нас и прыть какая-то: с яростью уминали и отребали снег у комля, так и этак вглядываясь по стволу вверх, определяя крен, чтобы на должном месте сделать пропил для подруб, откашливались и отдувались, прилаживаясь с другой стороны для основного реза. Промерзшая заболонь была стеклоподобна, тверда, и пила не послушно прыгала, отдавая в руки звенящую дрожь. Но, углубляясь в зрелую древесину, пила шла ровней и мягче, хотя вместе с тем все тяжелее было двигать ее, и наступал такой момент, когда у меня совсем отказывали силы. Брат это понимал — мы приостанавливались, чтобы распрямиться и передохнуть. Менялись концами пилы — остерегались возможной пропеллерности реза, то и дело предупреждая друг друга: «Не сиди на ручке». И вот уже оставалась самая малость до подруб, вот-вот, казалось, дерево должно закрипеть и упасть, но ель стояла нерушимо.

В тот день мы едва успели разделить это единственное дерево. Но и это уже было хорошо, как мы считали, для

начала. Комлевое бревно длиною шесть с половиной метров равно было примерно двум кубическим метрам плотной массы, а всего, с вершиной, более четырех.

Норма на полный продовольственный паек была шесть кубометров на человека, у нас же, в тот первый день, выходило лишь на третью часть нормы.

Не знаю, как это воспримется сегодняшним читателем, может, мне кто-то не полностью поверит, но тем далеким вечером мы шли по примеченной тропинке к поселку с чувством исполненного долга: все, что было в наших силах, сделали, не слукавили.

Было морозно и тихо, дышалось легко, и мы, несмотря на недавнюю этапную измотанность и усталость от работы, как-то даже радостно взбодрившись и дивясь своей резвости, торопко шагали гуськом по тропинке.

— А что, Иван: есть ведь еще порох в нас! — на ходу бросил мне брат. — Только бы сыпняк не схватить — до весны выдержим!

В этих словах я угадывал, что весна была для брата той чертой, когда можно будет окончательно решить, что делать и как быть. Ясно было, что мириться с положением, в которое мы были поставлены, нельзя. Про себя я размышлял, что дело не только в плохих бытовых условиях, недоедании, но в принудительном труде, мы ведь не посланы, а высланы. Административно. То есть насильственно, отсюда — внутренних, ничем не заглушаемый протест.

Слова из второго и последнего письма Александра к нам в ссылке: «Ликвидация кулачества как класса не есть ликвидация людей и, тем более — детей» — горько отзывались в сознании. Они призывали как бы признать: да, мы кулацкая семья, и нечего рыпаться. Нам же, младшим, если верить его письму, вроде бы ничто и не угрожает. Но какая еще более серьезная может быть угроза, когда люди умирали от истощения и тифа!

Я и тогда хорошо понимал, что кулак — прежде всего эксплуататор, владелец обширного хозяйства, где хлеб заходит за хлеб, где не знают нужды и не гадают о том, как дотянуть до нового урожая. Здесь же мы видели совсем иное.

Подавляющее большинство из спецпереселенцев было из крестьян-хлеборобов и никоим образом не походило на рисованных хищников-эксплуататоров. Их заскорузлые от извечного труда руки, их безропотная покорность судьбе утверждали совсем другое: постоянную заботу о куске хлеба. Они и в ссылке были готовы на любую работу, лишь бы выжить, свести концы с концами. Помню, как пожилой спецпереселенец в беседе с нашим отцом говорил: «Главное — хлеб! Местность, климат, работа — все это... ладно, ничего, жить можно... хорошо можно жить! Но хлеб... хлеб нужен!»

Отец слушал его, как бы дивясь его скромным желаниям, и даже заметил, что нужно же, дескать, что-то и к хлебу, в ответ ему было сказано еще более твердо: «Ничего мне не надо к хлебу! Хлеб — он все заменяет! А вода, ее вон, сколько тебе надо! Так-то вот!»

Затемно мы выходили из поселка, ежась от холода, добрались до своей тропинки и переходили на ускоренный шаг. По затрате сил эта «зарядка» была тяжеловата, но мы заметили, что она помогала втиснуться в рабочий настрой, или, как бы это точнее сказать, приобрести трудовую злость. Разогревшись в пути, мы не нуждались в костре и с ходу приступали к работе.

Изо дня в день, с раннего утра и до темноты, в предельном напряжении сил вели мы борьбу за «горбушку», что было тогда для нас самым главным.

В конце декады на лесосеку заявлялись десятники-приемщики, всегда двое. Чаще они бывали под хмельком и, прежде чем приступить к приему нашей работы, острили, рифмуя и коверкая нашу фамилию: «Мордовский, Каковский? Ха-ха-ха!» — заканчивая совсем непечатным. Ответить им и пристыдить их мы не смели — осложнится сдача работ: придаться могут к любой мелочи, нарежут объем, и не найдешь концов. Все же наш негодующий взгляд и наше молчание сдерживали их грубую волюность.

Бревен накапчивалось за декаду до полсотни и больше, лежали они вразброс по местам валки, так что все их сразу не так просто было предъявить, приходилось буквально лазать по снегу туда-сюда и обратно, что раздражало приемщиков и было поводом всячески нас оскорблять. Весьма сомнительно, что ответственность приемщиков была подконтрольна: бревна должны были вывозиться к реке для сплава, но зачастую они оставались на годы, а иногда и совсем не вывезенными.

Общий объем выполненных работ подсчитывался этими же приемщиками, списки на продовольствие, согласно подсчету, передавались в магазин, где спецпереселенцы могли выкупить его за деньги, поскольку теперь уже, хоть и нерегулярно, но все же кой-какую зарплату начисляли с удержанием 15 % на содержание комендатуры.

Но в магазине нас ожидало горькое разочарование: того, что мы получали на десять дней, едва хватало дня на четыре-пять. Наши усилия не оправдывались, и руки совсем опускались. Получалось так, что, находясь вместе с матерью и малыши, мы только ухудшали их и без того трудное положение. Что оставалось нам? Продолжать работать — полное изнурение; бегать! Но бегать в том виде, в каком мы есть, — неизбежен провал и крах. Да и куда, собственно, сунешься в марте из таежных мест Зауралья, когда еще снег подваливает, мороз по утрам до тридцати градусов?

Мать пробовала удержать нас от окончательного уныния, и ее забота была той самой «святой неправдой», когда, отказывая себе, она тайком расходовала на нас почти весь свой паек. Когда же мы это заметили, она стала уверять, что «нет... ничего... я лапшицы поела, я ничего, а вам в тайгу!»

Когда же заходила речь об Александре, о его отказе продолжать переписку, она находила и для него самые ласковые слова. Склонив голову, сидя на грубосколотенной скамье, она погружалась в раздумье и, собравшись с мыслями, высказывала их вслух, но можно было подумать, что и не для нас, а как бы только для себя, без какой-либо доли сомнения в его сыновней преданности и любви к ней.

— Знаю, чувствую, верю... нелегко было, — говорила она, — решиться ему на такое письмо, да уж, видно, сыночку моему нелзя было... по-другому... карусель в жизни такая, что поделаешь?..

Отец продолжал присылать сто рублей каждый месяц. И хотя трудно и мало чего можно было купить на них, все же это была поддержка. Приходили от него и письма, которые всегда начинались одними и теми же словами: «Дорогие мои горемыки!» Писал он карандашом, и знакомый нам почерк, с признаками неукоснительных правил каллиграфии давних лет его детства, был дрожаще-скачкообразным и напоминал о его огрубевших от постоянной работы молотком руках. Из писем было ясно, что ему ничего не известно о нас, о Константине и обо мне, и что он пытался узнать что-нибудь через родственников, полагая, что, может, им мы писали о себе, но и родственники ничего не знали. О том же, что я и Константин находимся на прежнем месте ссылки, он, по-видимому, и мысли не допускал. Обо всем писал осторожно, по именам никого не называл, а лишь как-то так: «О ребятах спрашивал в письме к свояченице, но она ничего не знает». Или: «Ребята никому не пишут». О том, что отец побывал в Смоленске, прежде чем оказаться в совхозе «Гигант» Можайского района, что имел встречу с Александром, он, понятно, ничего не писал. Как произошла эта встреча и чем она закончилась, подробно мне стало известно позже, непосредственно от самого отца.

В начале марта мы все еще продолжали ходить на ту отдаленную лесосеку. Случались ясные дни, солнце прогревало в таежной тиши, и передохнуть можно было, не разжигая костра. Минуты отдыха мы устраивали по исполнению намеченного себе задания: «Вот повалим еще вон ту ель и — перекур», — ставили себе условия. И было веселее и вроде бы легче работать — дотянув до намеченного, присядешь, бывало, на пенек или на хлыст и так облегченно вздохнешь, и словом перемолвишься. Константин закурит, а я в мечтах уже на Смоленщине: друзей вспоминаю, родное Загорье и где только не побываю, да, случалось, и усну тут же — усталость одолевала меня. И вздрогну, спохвачусь, а брат уже сучья обрубает: тук-тук, — меня пожалел, не окликнул.

Год к концу подходил с того дня, как пришлось оставить отчий дом, но я никому не сообщал о том, где я и что со мной, хотя неотвязно вспоминал ближайшего друга по Лобковской школе, Мишу Карпова, которого мне так теперь не хватало. Дружба с ним — из общности наших мечтаний, и мы были неразлучны. Миша еще шутил: «Давай разрежем вены и смешаем кровь, дабы дружба наша была неразлучной навсегда». Да, очень мы были единых взглядов. Так вот и носил я в душе образы отторгнутых от меня друзей, пока не настал тот томительный час, когда уже я не мог не послать письмо Мише Карпову. Не помню уж, как я тогда сумел, и сумел ли, толком объяснить, что дела скверны, Миша откликнулся дружески и сочувственно. Он учился

в городе Сухиничи в техникуме связи. Из своих скромнейших ученических запасов он выделил и прислал на мое имя крошечную посылочку смоленского сала, может, всего с килограмм. Но как же это было дорого, как порадовала та посылочка всю нашу семью! Мы крохами ее делили и, казалось, поздоровели, стали тверже чувствовать себя. А в письме он прислал свой рисунок — на развороте листа панорама таежных окраин будущего: опоры электропередач, трубы заводов, массивы жилых зданий. В его воображении, конечно же, были Магнитострой, Днепрострой и другие стройки первой пятилетки, но нам не случилось оказаться в тех местах. Михаил Мефодьевич Карпов живет в Ленинграде, здравствует. Он кандидат медицинских наук, до сих пор продолжает работать. На протяжении всех лет он не порывал со мной связи, и мы не однажды встречались.

Вскоре случилось, чего мы так опасались: в наше жилище проник сыпняк. Первой жертвой стала пожилая женщина — Лисовская. Она была слаба и до этого, теперь ее схватил тиф, и уже неотвратимо приближался конец. Супруг этой женщины уприсил священника-спецпереселенца, стриженного смоленского попика, который давно уже распроштался и с ризой, и с гривой, и тот пришел. Вид его был совсем не церковный, казалось, он всего стеснялся, поспешно читал отходную молитву, шепотом тряс воздушные кресты над умирающей и тут же, похоже, боясь заразиться, юркнул из хаты. Тем же вечером женщина скончалась. Сам Лисовский впал в отчаяние и совсем не держался на ногах. Мы не могли оставаться в стороне и всячески разделяли горе этого человека. Силами тех, кто жил рядом, обрядили покойную и проводили на таежный каменистый бугор окраины, названный кладбищем. Картина самого погребального шествия была гнетущей: гроб с телом покойной тащили волоком, пристроив под него подобие полозьев. На самом бугре нельзя было выкопать могилу — скальный грунт можно было разрушить лишь сверху, не более чем на полметра глубиной. Вот в такую выемку и опускали гробы, а затем обкладывали могилу крупными кусками и крошевом камня.

Есть у Александра Трифоновича в одном из стихотворений, посвященных памяти нашей матери, такие строки:

**Но непременно вспоминала мать,
Чуть речь зайдет про все про то, что минуло,
Как не хотелось там ей помирать,—
Уж очень было кладбище немилое.**

**Кругом леса, без края и конца —
Что видит глаз — глухие, нелюдимые.
А на погосте том — ни деревца,
Ни даже тебе прутика единого.**

**Так-сяк, не в ряд нарытая земля
Меж вековыми пнями да корягами,
И хоть бы где подальше от жилья,
А то могилки сразу за бараками.**

Нет, это не с моих слов. Скорее всего из рассказов самой матери. Мне так и не случилось рассказать брату о тех мрачных днях — не оказалось удобного момента.

Не удалось и нашей семье уберечься от тифа. Всего, может, прошло пять-шесть дней, как, будучи на работе в лесу, я почувствовал сильный озноб, головную боль и слабость, понял, что тиф подобрался и ко мне. Константин помог добраться до поселка, и я слег с высокой температурой. Врачей на поселке не было, медицинскую помощь не от кого было ожидать. Единственный человек, из числа спецпереселенцев, когда-то был лекарским помощником на службе в армии, и теперь он представлял всю медицинскую службу на поселке. Но что он мог, если в его распоряжении почти ничего не было, — ни помещения, ни медикаментов, да и знаний, надо думать, не было достаточно. Однако к нему обращались, чтобы быть на учете, так как если больной выживал, то с ведома и санкции этого легкого выздоравливающего выписывали один килограмм селедок и полкилограмма сахара — для, так сказать, восстановления сил.

Болезнь я тяжело и, пожалуй, вряд ли выжил, если бы не мать. Уж не знаю, где и как доставала она обыкновенную клюкву, готовила из нее морс, и, помню, средство это облегчало и здорово помогало. Я выжил. И, пусть простят меня читатели, получил же и тот «восстанавливающий силы» продукт — селедку и сахар. Но только-только я стал поправляться, как слег Константин. А за ним — мать. Затем заболели сразу и Маша, и Вася. В какой-то момент

я был единственный на ногах и должен был спасать всех чем мог и как мог. Думаю, что выдержали мы тогда и все остались живы благодаря нашему отцу: его редкостная преданность семье, помощь и беспримерная жизнестойкость вселяли желание превозмочь недуг, выжить во что бы то ни стало.

Во второй половине апреля наша семья перебралась в свободную, никем не занимаемую хату. Это была совершенно новая хата, по типу пятистенки, с двумя входными дверями с противоположных сторон, но никто не желал ее заселять. И причина была в том, что людей стало меньше, жизнь не радовала, ни у кого не было желания устроиться и прирастать, являясь ссыльными. Недолго же и мы с братом пожили в той новой хате. Подошла весна, и вопрос о том, как жить нам дальше, становился неотложным.

Выработываемый паек и ранее составлял едва ли половину необходимого, теперь же, после болезни, мы не в силах были и того выработать. Да и не принимала душа самого положения — невольниками быть мы не желали. Мать с этим соглашалась и одновременно горько страдала, предвидя наши скитания.

Константин был намерен вернуться в родные места, на Смоленщину. Я же настаивал на том, что проще и надежнее оказаться где-либо на стройке и не рисковать в той мере, в какой это будет на Смоленщине, где нас могут опознать. Ведь у нас не было иных желаний, кроме желания найти где-то работу и жить на общих гражданских условиях. Это вполне могло бы осуществиться, поскольку тогда не требовали паспорта и, чтобы устроиться на работу, достаточно было иметь какую-нибудь справку.

Утром 22 апреля 1932 года мы вновь покинули Лялинские дебри. Мы уходили без копейки денег и почти без продуктов. Все, что нашлось, отдали за смену нашей изношенной одежды — это было первейшей необходимостью. Из снели же мать смогла подготовить с килограмм пресных, ржаных бубликов, какие она всегда делала, когда не было хлеба. Мы рассовали их по карманам, чтобы не иметь в руках узелков. В самые последние минуты сестра Анна предложила свое пальто, которое купили ей еще в Загорье и которое она смогла сохранить до этих дней.

Мне и сейчас не по себе вспоминать и писать об этом, но и умолчать тоже не с руки. Мы взяли пальто. Я всегда помнил о святой, женской жертвенности нашей сестры. А отблагодарить, или, точнее, отдарить, смог только через двадцать лет.

Присев на минутку перед уходом, мы без слов попрощались, обнимая друг друга. И не было сил освободиться от чувства какой-то вины: мы, мужчины, оставляем на произвол судьбы своих родных и куда более слабых: маму, сестер, шестилетнего братишку.

Ясным апрельским утром мы пошли вниз по реке Ляле. Уже во второй половине дня, пройдя километров двадцать пять — тридцать, мы встретились с двумя мужчинами. Поначалу мы встревожились, но они обратились к нам довольно миролюбиво.

— Слушайте, ребята! — сказал один из них. — Не пожелаете ли работать на подпочке?

Для нас это было, конечно, неожиданным, и хотя мы кое-что слышали об этой работе, то есть о сборе смолы подпочкой, но сразу что-либо ответить не нашлись, и нам стали тут же пояснять и саму задачу, и условия.

Закончился разговор тем, что мы должны были дойти до деревни, которая была километрах в трех, и там, найдя названный дом, ожидать их возвращения.

Дошли до деревни, отыскивали названный дом, в котором передние комнаты были не заперты и не обставлены мебелью. В том, что в доме было пусто и глухо, ничего подозрительного мы не нашли, посчитав, что так оно и бывает, когда дело только лишь начинается. И стали ждать.

Прошло примерно часа два — никто не возвращался, и у Константина возникли сомнения: «Черт его батьку знает, — промолвил он, — правду они нам сказали или же это ловушка. Как бы нам не попасть в нее. Давай-ка, Иван, тягу дадим, пока не поздно».

Я начал тогда уверять, что обмана быть не должно, что люди эти говорили без какой-либо фальши, что надо, мол, ждать еще. В общем, теперь уже трудно судить, кто из нас был прав. В доводах Константина была, конечно, логика, да и был же он старше, но меня удерживали свои соображения. Я упрямылся.

Гляжу: хмурый вид у брата, и глаза тускло светят, как будто ничего не видят. Потом, как-то вдруг крякнув, он

сказал: «Знаешь, Иван! Трудно гадать, как для нас лучше: то ли до конца вместе держаться, то ли наоборот — в одиночку принять свою долю. Если надеешься на себя, то... Решай! А я, — говорит, — не хочу ни ждать, ни устроиваться здесь!»

Мы зашли в какую-то избу, продали пальто сестры. За сорок пять рублей. Двадцать рублей брат дал мне. Мы расстались. И произошло это как-то просто и сразу: ни тебе наказов, ни слез. Только и сказал:

«Желаю тебе, Иван, счастья!»

Я смотрел на удаляющегося брата. Ждал: обернется, передумает, но нет, не обернулся.

Все во мне окаменело: с самого раннего детства мы были дружны, и он даже любил меня, я это хорошо знал, и вот... такой поворот.

Я возвратился в тот самый дом, где предполагалось устроиться на работу. В нем, по-прежнему, было глухо, и я ощутил гнетущее одиночество, какого никогда не испытывал прежде. Оставаться и ждать я не мог и бросился догонять брата. Но хватило меня лишь на какие-то десятки метров — перехватило дыхание, закололо в груди, и дальше бежать я не смог. С чувством невозвратимой утраты — разлуки с братом — побрел, едва переставляя ноги, назад, соглашаясь уже с мудростью, чему суждено, тому и быть. Какое-то время я был как бы в забытьи: шел, ничего не видя. Когда же эта деревня осталась позади, я понял, что день на исходе: явно вечереет, и где-то и как-то надо провести ночь. Эта мысль приглушила все прочие чувства. Возможно, попросись я в любую избу, меня пустили бы, и согрели, и накормили бы, но это было рискованно. А впереди, сразу за околицей деревни, виднелась тайга. Решение пришло незамедлительно: «Будь, что будет!»

В тайге, как бы ни была холодна апрельская ночь, пережить можно. Неожиданно раздвоилась дорога, я не мог знать, какая куда ведет. Раздумывать долго, однако, не стал и взял более прямую, что уходила в тайгу. О том же, что в тайге может оказаться хищный зверь, я не думал и страха не чувствовал. Наконец сворачивая с дороги, углубляюсь, где больше хвойных деревьев, и ломаю пихтовый лапник, там же нахожу мшистые кочки и сдираю с них коврики мха — в изголовье. Все это стаскиваю к подножью огромной ели, сразу же приметившейся мне отходившими от комля мощными, как бы всплывшими над почвой корнями, и вот в ложбинке между ними устраиваю себе постель. Скрываю ноги к самой груди, обкладываясь шматками мха, лапником. Ватничком укутываю голову, сжимаюсь в комок и, вслушиваясь в тихий стон тайги, погружаюсь в мысли обо всем, что было, что есть и что может быть.

Это была первая ночь в моей жизни, которую я встретил один на один с тайгой в не очень-то теплое время — под двадцать третье апреля, в районе Северного Урала.

Я знал: чтобы не застыть во сне навсегда, должен сам сторожить себя.

Так, не позволяя себе шевельнуться, я лежал в ту ночь, обаятый тревожными воспоминаниями о детстве: о матери, об отце, о братьях, о школьных друзьях.

Ночь, однако, прошла, и я был рад, что выдержал, не закончилась смерть во сне, о чем случилось слышать.

Смахнув с одежды налипший лесной мусор, я было тронулся идти к тракту, но ноги были непослушны, пришлось их тереть и разминать, топя на месте, пока не почувствовал их своими. Я не знал точно, как далеко до железной дороги, но догадывался, что оставалось примерно километров тридцать или немного больше. То и дело мне встречались подводы, обязательно в тех местах, с колокольчиками под дугой, диньканье их слышалось задолго до появления самой подводы и как-то неприятно настораживало. Я старался держаться бодро, не оглядываться, шагать пошустрее, что, по моим представлениям, как-то ограждало от подозрений. Но никто меня не останавливал, ничего не спрашивал. Был уже полдень, когда я услышал гудки паровозов. Сначала отдаленно и слабо, затем все явственней и ближе, а часа в четыре я уже был на станции Ляля.

Я хотел есть и сразу же поспешил узнать, есть ли на станции буфет, — надежда была на имевшиеся у меня двадцать рублей. Была у меня и самодельная справочка, состряпанная собственноручно, явно туфтовая, но при нужде, если спросят, я готов был предъявить ее, хотя молил бога, чтобы пронесло.

В буфете не оказалось ничего, кроме вареных яиц, цена которых была непомерно высока: рубль за штуку. Я купил два яйца и тут же съел их.

Озадаченный мыслью о ночлеге, я побрел в глубь поселка

и сразу же заметил, что встречаются в основном люди заводские: в комбинезонах, в брезентовых робах, в промасленных куртках, шагают поспешно и привычно, как это бывает у идущих со смены или на смену рабочих людей. Затем увидел скопление разного люда возле барачного здания. Подошел к нему, прочел вывеску: «Управление Ново-Лялинского бумкомбината». Люди входили и выходили, беседовали и шумели, и я оказался в той массе не «белой вороной», а вроде таким же, как многие, и мне на душе стало легче, хотя само положение от этого и не менялось. Я прошел внутрь здания: коридор и двери, двери с названиями отделов. Одна открыта настежь — «Отдел кадров». У барьерчика люди, поступающие на работу. Меня интересует, по каким документам принимают на работу, и замечаю, что предъявляют всякого рода справки, но придинок никаких, и речь идет больше о жилье. Наконец моя справка тоже в руках ведущего прием. Помню, в ней значилось, откуда я родом, мой год рождения и что по происхождению и социальному положению я середняк.

— Ну вот что,— говорит мне работник отдела кадров,— могу взять в пожарную команду. Там у нас все такие же — юноши. Но жить-то где будешь? Общежития нет!»

Я успел уже обрадоваться, но вижу, что преждевременно, и не нахожу, что сказать, стою молча. В эту минуту чувствую, кто-то толкает меня сзади. Оборачиваюсь. Молодой мужчина небольшого роста смотрит на меня и говорит, что может пустить на квартиру в свой собственный дом.

— Давай-давай, оформляйся, и сразу же пойдём ко мне. Оформление заняло буквально несколько минут: куда-то меня вписали, справку вложили в папку, тут же я получил записку к старшему пожарной команды лесосклада, и все так мгновенно, что во мне только и было: «Неужели так оно и есть?»

Мы идем по переулочку совсем незавидных хибарок, которые вряд ли можно назвать «домовладениями» — столь они жалки и убоги, как говорится, «из мыльных ящиков». Прошли всего метров двести и вступили в шаткие сенки. Тут хозяин уточнил: «Вот это и есть моя хата — мой простор!»

Хатка была всего метров девять-десять, в соответствии с ней и печка, но она была еще и перегороджена, так что для квартиранта предусмотренная отдельная комната, и была там сооружена из досок койка. Во второй — столик на крестовинках, скамейка, койка вроде бы на двоих.

— Вот видишь — живу один. Да, правда, была и жена — ушла! А одному скучно. Живи... пока. Все же не в бараке. Платы мне не надо. Раздевайся и привыкай.

Утром следующего дня я разыскал старшего пожарного, который проинструктировал меня и назначил на дежурство на лесной склад, где я был обязан с вышки вести наблюдение.

Сама работа, или, назовем, служба, была не тягостной. Голода тоже не было: по талонам получали завтрак, обед и ужин. Начислялась и зарплата, кажется, рублей семьдесят в месяц. Угнетало другое: нелегальность жизни. В первые же дни я узнал, что работающие на складе люди — спецпереселенцы, и это очень беспокоило: рано или поздно может случиться, что среди них найдутся и знакомые или хотя бы только слышавшие нашу фамилию, и боязнь быть опознанным не давала покоя. А тут еще сама речь моя, как бы я ни старался, выдавала меня. В общем, положение было ненадежным, и вытерпел его я только три недели, хорошо помню, с 25 апреля по 18 мая 1932 года. В последний день моей жизни в Новой Ляле я выпросил авансом 25 рублей, пообедал в столовой и пошел прямо по шпалам на юг.

Идти было скверно. Шпалы лежали одна от другой менее шага, шагать через одну — слишком широко. Так я и семенил, ступая на каждую шпалу, как бы подсчитывал, сколько их на перегоне от Ляли до Верхотурья.

В тот день стали зелеными березки, что немного уменьшало мою печаль и прибавляло надежд.

В Верхотурье я не стал заходить в здание станции, опасаясь наткнуться на какой-нибудь скрытый пост. Пристроившись в кустарнике, я отдышал и обдумывал, как продолжать свой путь. Пеший способ я отверг начисто как трудный, медленный и подозрительный. Из книг и устных рассказов я кое-что знал о так называемых «зайцах» на поездах — о проезде без билета. Самому же такое делать не приходилось, если не считать те случаи, когда школьниками мы совершали поездки на товарных от разъезда, между Пересной и Починком.

Сидя в кустах возле станции Верхотурье, я решил ждать

до вечера и, пользуясь темнотой, попробовать поехать «зайцем». На станции стояли составы, но трудно было определить, который из них пойдет раньше и в каком направлении. Правда, груженны они были большей частью круглым лесом, и это значило, что уйдут они в сторону юга, то есть в нужном мне направлении. Присмотрев груженный вагон-платформу, на которой нижние бревна были короче верхних, образуя пустоту, куда можно залезть и остаться незамеченным, я сидел и ждал, когда тронется поезд. Ждать пришлось порядочно, наконец замелькали кондукторские фонари возле состава, и я забрался в примеченную дыру. Удобств, конечно, мало, но терплю, затаюсь и прислушиваясь. И вот — длинный гудок, беглый лязг сцеплений прокатывается по составу. Поехали!

Сколько часов я лежал там, в нише из бревен, сказать не могу. Поезд так зарядил, что вылезти я смог аж в Гороблагодадской — километров двести почти, считай, без остановок.

Я не мог не вспомнить учителя Ляховской школы Исидора Ивановича Рубо. В 1927 году, на уроке географии,водя указкой по карте и рассказывая о природных богатствах Урала, он с особым нажимом произнес слово «Гороблагодадская».

— Вот, ребята,— сказал он,— само название говорит о многом: — Гора Благодать! Благо — добро, счастье!

К утру следующего дня занесло меня еще дальше — был я уже на какой-то большой станции, старался не соваться куда попало, держался в стороне и готовился сесть в крытый вагон, который уже присмотрел, без помехи. Удобный момент скоро подвернулся: прибывший поезд заслонил видимость со стороны станции, и я мигом был возле цели.

В вагоне насыпью лежала какая-то цветная соль. В том, что соль, я убедился, когда пополз на четвереньках в темный угол: через потертые штаны соль попала в ссадину колена. Но это нисколько меня не смутило: соль так соль, а я в вагоне, угол занял, жду. Однако досадно, что стоим. Первое впечатление темноты прошло, и мне стало видно, что в углу, по диагонали от меня, что-то или кто-то есть, примерно в такой же позе, как и я. Продолжаю сидеть молча и всматриваться: «Человек? Человек!» — убеждаюсь, но он не подает никаких признаков жизни и, пожалуй, не знает, вижу ли я его. Но он-то, думаю, отлично видел, как я лез в вагон. «А может быть, он впрямь не живой,— проскальзывает мысль,— это хуже». Но вот поезд вздрогнул, посыпался протяжный гудок, и состав потащило. Незвестный мой спутник продолжает молчать, а я решаюсь узнать, кого бог послал, и лезу к нему. Ближе, ближе, и уже хорошо его вижу в овчинном колпаке шерстью наружу (шапки такие я видел у спецпереселенцев с Украины). Он живой, смотрит на меня, молчит. Начинать пришлось мне.

— Откуда едешь?

— З больницы.

— А куда?

— Куда, куда. До свиих!

— А где они, «свии»?

— Та що сь тий причепивси, як той лист?

«Да-а,— думаю,— не получается знакомства». Но мне уже и это кое-что дает: «украинец, наверняка тоже беглый». Бояться его нет причин. Уползаю в свой угол и приставляюсь, чтобы уснуть. Так мы ехали несколько часов, и — ни звука друг другу. Поезд идет хорошо, и это немного веселит, как будто есть и впрямь какая-то твоя станция, где ждет тебя нормальная жизнь. Между прочим, то, что дала мне «Радунница», давно проскочило, и хочется есть. У хохла же, видел, торба и, похоже, с чем-то съестным. «Может, спросить?» — ползу опять к нему.

— Слушай, земляк! Поделись, если есть хлеб. Отощал я. Вместе же едем.

— О! Дывысь! Хлиб? Та який ось хлиб? Бачишь, тилько сил! Ось! Це скільки треба! А хлиб? — отводит глаза.— Десь вин є?

Я снова в своем углу. Чувствуется: поезд сбавляет скорость, вот качнуло на стрелках, шипение тормозов — остановился.

Спустя несколько минут дрогнула дверь, и в просвете появляется голова, а затем и весь человек. Сворачивает в мою сторону и движется прямо ко мне. Все это я хорошо вижу — он нет. Я понимаю, что бояться нечего, — новый «заяц», только и всего, но все же нервы обострены. Коснувшись моей обуви, он на мгновение замер, но тут же понял, что в вагоне он не первый, выдохнул: «У-у! Живая душа. Кто ты?»

— Человек!

— Человек? Ну, если так, если че-ло-век — добро!

Помедлив немного, новый «заяц» начал спрашивать меня кое о чем, но полностью я его не понимал, а лишь догадывался. Начал он примерно так:

— Да, а как у тебя курсак? — Я не понял, и он продолжил. — Ну, как, пуп к хребту не прирос? А-а! Не все понимаешь! Хуже! «Феню» не знаешь. Так-так! Надо постигать, раз разбираешься таким фертом. Ну, насчет пожрать как? Нету. Да-а, дела! Вчера в Кушве? Говоришь — «Радуница?» Ну так этого уже считай не было. Вчера... это вчера, а клин под кишку и сегодня нужен!

Это он успел сказать, еще хорошо не осмотревшись, еще не зная, что в вагоне есть третий. Тут я ему и скажи, что, мол, вон у него, пожалуй, есть, но... не дает. Говорит, что «не маю, який хліб?»

— О-о! Божись! Дела-а!

Оставив меня, тут же перебрался к украинцу.

— Здорово, Грицко! Звиткиля тикаеш?

— Який я Грицко?

— Ну Микола.

— Який я Микола?

— Та яка різниця! Ну, Семен! Я до тебе як до друга, а ти який-який. Чи ситий голодного не розумее? Я честний вор! Хліб есть?

— Хліб. Який хліб?

— Да ты не думай, что я буду отнимать. Я же сказал, что я честный вор, а вор имеет право только украсть, чтобы все по-хорошему, без всякого шума. Дашь — хорошо, а не дашь — тебе же хуже! Потому как обидел вора. А мы, воры, всегда по-хорошему. Мы силой не берем! А чтобы не делать ошибок, я должен узнать, честный ли ты человек: давай-ка показывай, что у тебя в торбе! Хочу видеть, каков ты есть.

Заканчивается эпизод тем, что вор доводит украинца до слез, тот пытается объяснить вору, что сам «голодный, як волк», что у него «тильки дві буханци», бережет — дорога впереди долгая. Вор берет буханку «взаимы», с условием, что возвратит ему на первой же остановке.

Хлеб черствый, воды нет, вокруг нас соль, есть мы не можем. Не можем и ехать. На станции «Свердловск-сортiroвочная» вор и я выпрыгиваем из вагона. О своих заверениях насчет возврата хлеба вор уже забывает и говорит, что надо искать воды. Нашли ручеек, уходящий под насыпь железнодорожного полотна в трубу, и, определив, что вода чистая, сделали привал. Украинца с нами уже не было. Разулись, вымыли лицо, ноги и только затем начали есть взятый «взаимы» хлеб украинца. Тут я и спросил вора:

— Вправду ти обещав отдати хліб?

— Жалеєш его? Таких не надо жалеть. Вот дал бы он хоть крошку по-человечески, дело другое. А раз «тилько для себе», то надо «по-хорошему», без шума. Закон у нас такой. Но это не для меня. Я — майданик! — продолжил он свой рассказ. — Но, видишь? — развел он руками, бросая взгляд на свою одежду. — Шмутки не те. Первым делом шмутки надо заиметь. На воле ведь я только неделю, ничего еще не успел, — продолжал он, натягивая брезентовые сапоги, — да и воля волчья: ни ксив, ни грошей, ни хаты — одним словом, воля!

Неожиданно показался поезд. Как он насторожился! Весь — внимание! «Оно! Пассажирский!», — хотя совсем не знал, куда тот поезд шел, ему было все равно. Он ловко, винтом взметнулся на ноги и, оставляя меня, оборачиваясь на ходу, выкрикнул: «Ну, Ванюха, добра! Ни пуха, ни пера!»... На вагонах я успел прочесть: «Свердловск — Москва». Я остался один. Дело было к вечеру, и было не только грустно...

Рассовав остатки хлеба по карманам, я поднялся по насыпи на полотно железной дороги и пошел по шпалам в сторону Москвы. На верстовом столбике значилась цифра — свыше одной тысячи шестисот километров.

Недели через три, десятого или одиннадцатого июня 1932 года, я прыгнул с передней площадки паровоза пассажирского поезда на разъезде Тёша (ныне Горьковской железной дороги, километрах в сорока от города Муром). Помню, что машинист, заметив меня только в самые последние минуты, когда я уже соскакивал, погрозил пальцем, посмеялся и, кажется, что-то сказал своему помощнику. Мне же было не до смеха: подобно бродячей, ничейной собаке, которая, поджимая хвост и оглядываясь, убегает из запретных для нее мест, я, спотыкаясь, уходил в сторону. О том, что

произошло на этом разъезде, я расскажу ниже, а сейчас вкратце о пути от пригорода Свердловска до разъезда Тёша.

Почти всю ночь я шел по железной дороге, под утро, когда начинало уже светать, я почувствовал предельную усталость. Продолжать идти по шпалам было опасно: ослабло внимание — какие-то минуты я шел в состоянии полусна, вздрогнул: по обе стороны полотна дороги — защитные ряды ельника. Сразу же схожу с полотна и забираюсь под самый низ шатра из сплетений живых веток. И никаких мыслей — только спать.

Солнце было уже высоко, когда я вылез из укрытия. Некоторое время не мог понять, в какую сторону нужно идти, но припомнил, что железная дорога оставалась слева и что сошел я с нее на восход солнца. Сомнения отпали. Этим же днем я был на станции Дружинино. На мое счастье, местные женщины выносили здесь кое-что съестное для продажи к проходящим поездам. У меня все еще было немного денег, и мне удалось купить блюдце горячей картошки. Я принял ее в свою шапку и, смутясь, поспешил отойти в сторону: мучил меня стыд, что вид мой, казалось мне (да оно так и было), выдавал меня как бездомного бродяжку. Очень это горькое чувство. Оно совсем отторгает от живущих нормальной жизнью, и ты не смеешь уже испытывать радость общения, опасаясь нелепых распросов. Не встречая сочувствия, уходишь в себя, оставаясь один на один со своей печалью.

Выехать со станции Дружинино мне долго не удавалось.

Где-то в районе Красноуфимска я ехал, стоя на буферных стаканах, держась враспор за стенки вагонов. Надо иметь в виду, что в те далекие годы вагоны не были оборудованы автосцепкой и во время движения расстояние между ними все время то сокращалось, то, наоборот, увеличивалось, и было совсем не просто удерживаться в положении «распятия»: руки в таком положении страшно немели, и вся надежда оставалась только на то, что поезд должен скоро остановиться. Все это еще куда ни шло, но вскоре я заметил, что поезд начал все глубже и глубже врезаться между крутых, глубоких откосов и тут же вошел в тоннель. Все во мне сжалось: полный мрак, дым страшный, спрессованный и невыносимый лязг и грохот, и нечем дышать. Ничего худшего, казалось, нельзя и придумать, и я в ужасе гадал, как долго это может продолжаться. Но тоннель, видимо, был не очень длинным, может, с километр, так как продолжалось это мучение не дольше, чем человек может оставаться не дыша, и я выдержал. Но больше я уже не шел на такой риск.

Не нужно много говорить, какое это было время. Везде и всюду продовольствие получали по карточкам и купить что-либо на станциях было просто невозможно. Но надо же иметь в виду и то, что у меня и денег не было и рассчитывать на какой-то обед я не мог. Голод принуждал уходить в сторону от железной дороги, в крестьянские селения, где, хотя и с великим трудом, все же удавалось кое-что раздобыть. Но хлеба было мало и у крестьян — легче было найти картошки, хотя бы сырой, и где-то испечь ее на костре. Несколько проще было в Татарии. Татары редко отказывали, сажали за стол и давали овсяные оладьи, обжаренные в конском жиру, что было, конечно, бесподобно вкусно.

Но вот уже я в Чувашии.

На станции Канаш я сидел в скверике. Сам себя я, наверно, не видел года полтора, вероятно, совсем не представлял, каким я выглядел. Чувствовал, конечно, что здорово запаршивел: космы вылезли из-под шапки, от застарелой грязи, пота и насекомых нещадно зудела голова, да и не только голова — все! И вот подходит ко мне какой-то мужчина вполне аккуратного вида. Сначала просто глянул на меня, но ничего не сказал, а затем сел рядом, вздохнул. Я уже подумал уйти, но он в это же время спросил меня таким ласковым тоном, что я еле удержал слезы.

— Слушай, сынок! Что же такое случилось, что так сложилась твоя жизнь?

Я не знал, что ответить. Правду не решился, а готовой легенды не было у меня, сказал ему, что моей вины нет. Не знаю, что он мог подумать, только, уверен, не то, что было на самом деле.

— На-ка, парень, немного денег, да поди-ко, дорогой, в парикмахерскую. Сними с себя муку! Наголо! И пусть тебе голову помоют! Не стесняйся, возьми! — и дал он мне три рубля. С этим он и ушел.

За стрижку и мытье головы взяли с меня полтора рубля. С остальными деньгами я подошел к киоску, где продавали газеты, кое-какие книжки, карандаши и прочую мелочь из

школьных товаров. Тогда я просмотрел несколько книжек, и в одной из них оказался совершенно чистым последний лист под обложкой. Я купил ту книжку, купил школьное перо, химический карандаш и ученический циркуль. Конечно, не только в этот момент — давно я таил мысль: во что бы то ни стало остановиться и устроиться на работу — место ссылки осталось далеко позади. Но как же устроиться, если нет никаких документов? И никто же не мог мне их дать. Оставался лишь один выход: я должен был сделать хоть какую-нибудь справку. Вот для этой цели я и купил перечисленные предметы.

Дня через три я был уже в Арзамасе, и тут решаю выполнить эту задачу, по мере сил и способностей.

У читателя может возникнуть вопрос: считал ли я эти мои действия преступлением? Отвечаю так, как думал тогда и думаю до сих пор: нет, не считал и не считаю. Я ничего не искал, кроме права свободно жить и честно трудиться, и вся моя жизнь прошла в труде. Но права такого я был лишен. Лишен без суда. То есть по произволу, который в те годы имел место в нашей стране. А раз это так, то должно же быть ясно, что был бы я полный глупец, если бы безропотно согласился стать жертвой несправедливости.

От Арзамаса я отошел километра три по железной дороге и свернул в кустарники. Нашел воды, нашел склянку и из химического карандаша приготовил чернила. Сидя на пне, пристроил у себя же на коленях обрезок дощечки, который предусмотрительно нес с собой, и при помощи пера и циркуля выкрутил на отдельном кусочке бумаги нужные окружности будущей печати, вернее — будущего отпечатка. Рассчитав количество знаков в названии сельского Совета, я нарисовал от руки по памяти все, что считал нужным и должным, в той последовательности, как это может видиться через зеркало, то есть наоборот, не слева направо, а справа налево. Затем с этого рисунка, предварительно хорошо увлажнив его с обратной стороны, сделал отпечаток на чистом листе бумаги, вырванном из той самой купленной в Канаше книжки. На этом довольно примитивном бланке я и написал справку. Конечно, я хорошо понимал, что опытный человек сразу же распознает фальшивку, но, во-первых, такое не угрожало мне уже потому, что я не поднимался в своих намерениях выше, чем «бери больше — носи дальше», на таких работах дотошных исследований о документах не делалось, а во-вторых, само время было такое: грамотных людей было не так уж много.

...Итак, я оказался на разъезде Тёша, в сорока — сорока пяти километрах от города Муром. Дело было во второй половине дня. Передо мной был рабочий поселок, небольшой лесопильный завод. Было слышно шарканье пилорамы, визжали циркульные пилы, дымилась металлическая труба, и были видны десятка два штабелей пиломатериала и много круглого леса.

Видимо, всему приходит конец. Я решил пойти к заводу, чтобы узнать о возможности получить работу. Не дойдя до завода, я встретил человека, отличающегося одеждой и внешностью от людей физического труда. Преодолев свою робость, я спросил его, можно ли, мол, найти здесь, на заводе, работу. Он приостановился, переспросил меня и, указав рукой на рядом стоявший почерневший деревянный дом, сказал, что вот, дескать, контора и там, в бухгалтерии, все точно скажут.

В бухгалтерии было всего три человека, все они щелкали на счетах. Один из них, в пенсне, с круглым чистым лицом, заметил меня первым. Узнав, что я хочу поступать на работу, спросил меня о документах. Этому солидному человеку я и протянул «свой документ». Я мог ожидать всякое, но, как ни странно, страха не испытывал — был просто уверен, что если даже и не примут, то на этом все и кончится. Да, я заметил, что «документик» не очень понравился, и человек в пенсне глядел на него с сомнением: переворачивал, покачивал головой и даже кое-что спросил относительно мест, откуда я значился родом. Но на работу принял и сказал, что пойду я таскать горбыли в лесопильный цех. Тут же мне была дана записка к мастеру Азанину, кстати сказать, к тому самому человеку, который указал мне контору.

Наступившую ночь я спал под крышей, на топчане, покрытом лоскутом войлока.

В отличие от районов Урала здесь тогда — в Нижегородском крае — голода не знали. Помимо пайка по карточкам, хлеб можно было покупать в местных лавках по несколько повышенной цене, а неподалеку от Тёши — в Ардатове — на базаре было сколько угодно муки, и совсем недорого.

Работа горбыльщика считалась легкой, и заняты на ней были женщины. Поставили меня к вполне зрелой и наглаватой девице, которая была сильнее меня, может, раза в два. Сразу же она полностью меня подчинила и командовала без зазрения совести. Нашей обязанностью было относить горбыли и всякого рода срезки. Как только бревно проходило через пилораму, мы хватили горбыли и тащили ка вагонетке, грузили и откатывали за пределы цеха. Иной раз комель горбыля был совсем непосильный для меня, девице же доставался всегда вершинный его конец, и она без усилий брала, как рыбу за хвост, одной рукой. Я же, утомленный в скитаниях, истощенный недоеданием, готов был чуть ли не плакать, видя очередную ношу. Однако терпел и старался не подавать виду, что мне тяжело. Всего более давило меня то, что в маленьком сжившемся коллективе из местного населения был я загадочной личностью, и сочинять ответы кто я есть, почему и как оказался в этих местах, было противно и больно.

Очень хотелось хоть что-нибудь сообщить матери о себе, но порадовать ее было нечем, не говоря о тех опасениях, которые не покидали меня.

Отцу, преданнейшему семьянину и мужественному человеку, который жил и работал в тот момент возле Можайска, я писать не решался, боясь, как бы мое письмо не повредило ему: ведь он жил не под своим именем.

Наконец написал коротенькое письмо сестре матери Анне Митрофановне на Смоленщину с просьбой сообщить мой адрес отцу. Время, однако, шло, и я мало-помалу втянулся в работу, с горбылями стал справляться свободнее, и появился у меня друг — шустрый парнишка Ваня Чепуров. Он был из местных, но воспитывался в детском доме и какое-то время успел пожить и, может, поработать, в Нижнем Новгороде. Он так часто говаривал: «У нас, в Нижнем...», что можно было подумать, что он и родился там. В действительности же он был из деревни Тёплого, всего в двенадцати километрах от разъезда Тёша, там с ним вместе довелось мне даже побывать в гостях у его сестер.

Был он совсем малого роста, но хорошо знал дело, которое далось ему где-то в детдомовских мастерских, и работал он здесь молотобойцем, что меня, сына кузнеца, сближало с ним. Так и держались мы вместе, как только кончался рабочий день.

Одет он был не лучше меня, спал, в чем был на работе. Заработок наш был очень невелик. Мне платили 1 рубль 70 копеек за полный рабочий день. Ване Чепурову как молотобойцу несколько больше, но как у меня, так и у него никаких сбережений не получалось, все уходило на питание, так как считавшийся дешевым хлеб стоил два рубля за килограмм. Был, правда, случай, когда, заимев с получки рублей по тридцать, мы отправились поездом в Муром с целью купить что-нибудь из одежды. Купив на толкучке по рубашонке и брючишкам и не рассчитав своих возможностей, мы остались без копейки. Целых полмесяца бедствовали, но, хотя и натошак, форсили в обновках. И ведь только подумать (!) — босиком. Обувь, в которой работали, была очень плохой, грубой — не в масть.

В самый такой момент как-то накануне воскресного дня вечером мы с другом-тезкой долго не ложились спать, заняты мыслью, как бы чего поостыть. В большом полупустом бараке было человек десять, хотя могло бы разместиться до полусотни. Вдруг, смотрим, вошел невысокий человек с вещевым мешком, сделав несколько шагов, остановился, смотрит вроде бы на нас. Какой-то миг — и у меня воскресает образ отца: схожесть фигуры, роста, и я вскакиваю, лечу к нему без памяти. Вырываются слова: «Папа!» Обнимаю, целую и слышу его тихий голос: «Чи-и! Я — не родной тебе!» Чувствую свою опрометчивость — смущаюсь и ничего не могу сказать, и отец, поняв это, сказал: «Да ничего. Пустяки!»

Ровно год я его не видел, знал лишь самую малость о нем, и вот — встреча. Оказывается, он совсем недавно узнал, где я есть, полагал, что разъезд Тёша где-то совсем рядом с Муромом, и там, в Муроме, сошел с московского поезда. Пришлось ему идти пешком все сорок километров.

Чтобы побеседовать без свидетелей, мы отошли в сторону и уселись на ничейном топчане. Он угостил меня московской булкой, отрезав от батона примерно около трети, и сказал, что едет на Лялю: решил попытаться спасти своих «горемык».

Расспрашивал он меня обо всем. Слушал, курил, качал головой, вздыхал.

— Ну слушай теперь, что я тебе расскажу.

Рассказ отца

С месяц всего пробыл я на Ляле после того, как в прошлом году Костя ушел с тобой. Гадал всяко: оставлять мать с детьми — нехорошо, но быть бесполезным возле — еще хуже. Помалу кое-что разужнал да и рискнул. С Павликом и пошел. Он, ясно, мальчишка хилый, но рассчитал, что оставлять его тоже нет резона — пропадет. А был уже август — время года, когда можно найти в лесах и ягоду, и грибы, а то и картошку, если добраться до какого-либо селения. Так вот и решил пойти лесами, тайгой, оставляя все дороги в стороне аж до самой Камы. Подсказал мне случайно местный охотник-старик, что, если подняться вверх по Ляле километров сорок — пятьдесят и пойти прямо и строго на запад, то день-два — и Кама. Поразмыслив, я понял, что такой путь сулит больше шансов на удачу. Так вот и пошли: топор, соль да кусок хлеба, и не на восток, вниз по Ляле, а на запад, искать Каму. Надежда на успех, казалось, была еще и в том, что этим путем никто не шел, никто не имел его в виду, значит, для нас более безопасно. На третий день заметили, что начали спускаться, — перевалили. Чтобы убедиться в этом полностью, нужно было найти хоть какую речку или ручей. При нас ни часов, ни компаса — только слух и зрение. И скажу тебе, сынок, что, даже рассказывая о том, жуть меня охватывает и в дрожь бросает. Глушь, дебри, бывали минуты горького отчаяния, но, видимо, еще судьба моя не без милости: услышали шум горной речки, и на душе отлегло. — обнял Павлушу: «Ну, — говорю ему, — кажется, мы не пропадем, рядом речка. А тут и смородина! Пища! А дальше как-то скоро жизнью, человеком запахло: стожки сена стали встречаться, следы зимних дорог, по которым сено вывозят, а вскоре добрались и до селений, но решили не искать встреч с людьми прежде, чем отдохнем возле речки. А топор нес, не бросаю, документ своего рода — работать можем. В общем, дошли мы и до Камы. Тут на пристани я и взялся плотничать, чтобы попривыкнуть, оглядеться, заработать на билет и — парохом вниз. Три дня посколачивал трапы и — ага! Есть и на билет, есть и на еду. Спешить, метаться, хорониться от людей в таком случае никак не годится. Так добрались и до Волги, а там и до Чебоксар. В Чебоксарах нанялся в кузню. Дней десять болты, скобы ковал. Опять — расчет, и дальше, уже к железной дороге. За месяц дотянулись аж до Смоленска. Тут-то и пошло, чего и во сне не снилось. Ну, понимаешь, захотелось же с Шуркой встретиться. Он, понятно, уже совсем не Шурка, куда там! Но мне-то, думаю, сын же, не называть же мне его Александром Трифоновичем, вот так. Стоим у подъезда Дома Советов, знаю же, что должен он быть при этом доме. Выжидаю случая спросить. Подвернулся какой-то служака, с бумагами, папиросы курит толстые. Я к нему: так и так, мол, не можете ли передать Александру Твардовскому, что надо нам его видеть. Здесь он должен быть, в редакции.

— А как вы его знаете? — спрашивает тот.

— Да, — говорю, — родом-то он из наших мест, вот так и знаю!

— Ах, та-ак! Ладно, я передам, — и пошел этот человек туда, в этот дом. Стоим мы с Павлушей, ждем. А на душе неспокойно: помню же, какое письмо было от него туда, на Лялю. Однако ж и по-другому думаю: родной сын! Может, Павлушу приютит. Мальчишка же чем провинился перед ним, родной ему братик? А он, Александр, и выходит. Боже ты мой, как же это может быть в жизни, что вот такая встреча с родным сыном столь тревожна! В каком-то смутении я глядел на него: рослый, стройный, красавец! Да ведь мой же сын! Стоит и смотрит на нас молча. А потом не «Здравствуй, отец», а — «Как вы здесь оказались?!».

— Шура! Сын мой! — говорю. — Гибель же нам там! Голод, болезни, произвол полный!

— Значит, бежали? — спрашивает отрывисто, как бы не своим голосом, и взгляд его, просто не ему свойственный, так всего меня к земле прижал. Молчу — что там можно было сказать? И путь бы оно даже так, да только чтоб Павлуша этого не видел. Мальчишка же только тем и жил, что надеялся на братское слово, на братскую ласку старшего к младшему, а оно вон как обернулось!

— Помочь могу только в том, чтобы бесплатно доставили вас туда, где были! — так точно и сказал.

Понял я тут, что ни просьбы, ни мольбы ничего уже не изменят. И прошу его только, чтобы обождal, пока я съезжу в Столпово к другу, который якобы должен мне денег,

а уж когда вернусь, то, дескать, делай со мной, что хочешь. Дрогнуло его сердце.

— Ну, ладно, — говорит, — поезжай.

В Столпове приняли нас хорошо, друг усадил за стол, поднес рюмочку, накормил и уложил отдыхать. Но сон ко мне не шел, я почувствовал какой-то подвох: «К чему бы укладывать нас спать?» — разгадывал я. О том, что встречался с сыном, я ничего не сказал. Лежу это я в тревожном раздумье, пожалуй, час, а может, и больше, и то вроде разуверюсь в сомнениях, то снова впадаю в них. Вдруг слышу какие-то голоса, а затем шаги в сенцах и... входят. Кто-то говорит: «Поднимай!»

Бог ты мой! Вот как можно ошибаться! Предал, подлец, с потрохами! Знал бы ты, сынок, как мне было тяжело смотреть на Павлушу! Мальчик, в чем только душа держалась, спал и не думал, что поведут сейчас под конвоем, — еле разбудили его.

Вели нас в Ляхово той дорогой, что была из Столпова через ляховский лес. Да ведь дело было уже к вечеру, знаешь мысли и такие были, что могли и шпикнуть, мол, бежал... и крышка! И кто там дознавался бы!

Из-за позднего времени нас не довели до Ляхова и оставили на хуторе у Селедцова, что жил по выходе из леса.

Заставили раздеться до белья и лежать на полу до утра. Охранял нас сын Селедцова, усевшись на скамье с пистолетом в руке.

Была у меня трость, вырубленная еще в уральской тайге. И что ж ты думаешь, блеснула мысль у меня такая: раз на всю ночь оставляют нас в этой хате, то, думаю, неужто только в сказках бывает невероятное? И прежде, чем лечь на пол, поставил ту трость к стене с таким расчетом, чтобы мог я лежа, «ненароком», достать ее ногой, толкнуть — упадет и будет звук. Ну о том, что я мог так думать и для чего так поступил, наш конвоир, конечно, ни понять, ни догадаться не мог.

Ночь. Лежим мы, рабы божии. Охранник никаких вопросов не задает. Тишина. Тускло светит керосиновая лампа. Никаких движений, никаких разговоров, но сквозь ресницы я все же пытаюсь наблюдать, в каком состоянии и положении сидит наш страж. И замечаю, что начинает его одолевает сон — тусклость и тишина неумолимо давят на него и, думаю, что если не будет ему смены, то не выдержит, уснет. «Дай же бог!» — держу про себя эту мысль. Лежу, не сплю. Какой там сон мне! А Павлуша, чувствую и слышу по его дыханию, уснул. Начинаю и я делать вид, что засыпаю, — издаю храп, сам же — само внимание и напряжение, слежу за охранником. Похоже, что моего храпа страж не слышит, но это еще не убеждает меня — может ведь и притвориться. Терплю еще некоторое время. Охранник пустил слюну, голова его склонилась, и вижу, пистолет как только не выпадет из его руки и все же... удерживается, хотя явно пальцы не сжимают. Да, тяжелая, роковая минута отсчитывала в моем сознании бегущие секунды, но будет ли, можно ли рассчитывать на более удобный момент? — ставлю себе вопрос и тут же толкаю ногой поставленную у стены трость, и она падает, издавая резкий звук, но он, охранник, не среагировал — не вздрогнул ни единым нервом.

Встаю. В белье, босиком. В мгновение прощаюсь взглядом со спящим моим родным мальчиком, сердце и воля напряжены предельно, осторожно открываю окно и с кошачьей легкостью вылетаю в окно в тьму предосенней ночи. Павлушу оставляю спящим в надежде, что с ним не должны сделать ничего страшного. Но, сынок мой, Ванюша, разве легко было мне оставить его, почти ребенка?!

Шанс оставался только один — добежать до двоюродного брата, который жил тогда в Краснинском уезде, Тарасова Демьяна Никитевича. Но ведь только сказать — добежать! Босиком, в заносенном белье преодолеть более сорока верст! Кустами, оврагами, болотами, межами!

Свой рассказ об этой жуткой истории отец завершил тем, что лет десять он не встречался со своим двоюродным братом, что когда тот ночью открыл дверь, то опешил и не сразу узнал нашего Трифона Гордеевича. И неудивительно: пред ним был изможденный странник в белье, босиком. Но понял и принял по-братски, по-русски. Не усомнился, не побоялся. Одел, обул. Когда пришел час расставания, отдал свое личное удостоверение.

Вот тогда-то и устроился наш отец кузнецом в совхозе «Гигант», что был в те годы близ Можайска.

Одну только ночь провел отец возле меня на разъезде Тёша. День был воскресный, и я был свободен. Путь свой отец держал в Зауралье, на Лялю, где все еще оставались мать, сестры и самый маленький из нас, братьев, шестилетний Вася. Задача у отца была сложная: любым путем вывезти свою семью из ссылки. В тот же день я проводил отца в далекий и рискованный путь, пожелав ему счастья. Подошел поезд, и мы простились. Это было в начале августа 1932 года.

О дальнейшей судьбе отца и всех наших я мог узнать, как было условлено, только от тётки Анны Митрофановны со Смоленщины. Именно она поведала в свое время о том, что местные власти препроводили к ней Павлушу после побега отца из-под конвоя на хуторе у Селедцова и что Павлуша чувствует себя у них в семье, как дома.

Но вот каких-либо вестей об оставшихся на Ляле, о судьбе брата Константина и об отце, уехавшем на место ссылки, я так на разъезде Тёша и не дождался. Наступала осень. Тоска давила меня нещадно, работа на пиломатериале выматывала физически до изнеможения, одолевала еще и сомнения, что рано или поздно назовут меня чуждым элементом. Все это, вместе взятое, да плюс постоянные напоминания вроде: «Ой, парень, рано ломаешь себя!» или: «Такую тяжесть таскаешь смолуду!» — подготовили меня к тому, что решил я уволиться.

Как-никак у меня теперь была справка с последнего места работы, и я смело предъявлял документы. Пробовал работать на всяких случайных работах, сходясь с людьми, жизнь которых так же была незавидна, как и моя. Приходилось грузить рудостойку, выгружать кирпич, картошку, колоть дрова. Нигде я долго не задерживался, и в какой-то день ноября 1932 года появился в Москве на Казанском вокзале.

К этому времени я научился без труда отличать людей, жизнь которых по тем или иным причинам ставила их в наименее труднейшее положение. Они ютились по вокзалам, то там, то сям отогревали свои задки, лепясь к отопительным приборам, иногда целыми группами поджидая, что бог пошлет. Иногда же в поздние часы их без сожаления изгоняли, иногда предлагали работу за наличный расчет — соскребать или грузить снег лопатами на привокзальных тротуарах и площадях, а иногда ловили и увозили неизвестно куда. Такое мне приходилось не только слышать и видеть, но однажды и самому оказаться в толпе разновозрастных оборванцев, согнанных в угол сотрудниками ОГПУ.

Вопреки ожиданиям обошлось с нами очень хорошо. Человек в долгополой шинели, обращаясь к опустившимся и несчастным людям, громко спросил:

— Есть ли среди вас такие, кто хочет работать?

В ответ взметнулось множество рук с выкриками: «Я-а! Я-а, я-а-а-а!»

— Хорошо! — продолжал сотрудник. — Поднимите руки, у кого есть документы! — Теперь уже рук оказалось немного. Сотрудник вроде бы начал считать, но тут же махнул рукой: «Ладно! Посмотрим!»

Открыли запасной выход, и была дана команда:

— Выходи к машине! В баню!

Какая-то часть не пожелала ехать, но человек сорок залезли в машину. Был в их числе и я. Куда нас везли и где была та баня, никто, пожалуй, не знал. В бане дали нам кольца с крючками и заставили нацепить на крючки все наше барахло для дезинфекции. Документы предложили сдать под ответственность банщиков. Поздно ночью нас привезли в Марьину рощу и поселили в бывшую церковь на Лазаревском кладбище, которая была переоборудована под общежитие.

На следующий день всем нам были выданы талоны на завтрак из буфета ОГПУ на Малой Лубянке, где осуществлялась надстройка домов № 7 и № 16. Там же, в учраспределе стройки, нас определили на работу. После странствий и скитаний казалось, что мы попали в рай. Нам были даны боны (вместо денег), и мы могли покупать в закрытых распределителях продукты. Кроме того, имели пропуск в буфеты и столовые, где кормили отлично.

В Москве примерно в начале декабря 1932 года я получил письмо от тетки со Смоленщины, из которого узнал радостную весть. Наша семья — отец, мать, сестры и маленький Вася находились в городе Нижнем Тагиле. Отец работал на заводе кузнецом, мать и сестра Анна тоже работали, жили все в заводской квартире.

Произошло это вот как. После встречи со мной на разъезде Тёша отец благополучно доехал до мест ссылки на Ляле и в приметном для себя месте спрятал свои документы.

В поселок он явился как бы с повинной, объяснив, что нигде не смог найти спокойной жизни: «Делайте со мной, что хотите!». Встретило его начальство с недоверием, и некоторое время содержали отца в каталажке. В сумке у него нашли московские булки (мечтал угостить, порадовать своих «горемык»), в связи с чем возникло подозрение: «Старик говорит неправду». Допросы и расспросы велись довольно строго, только ночами, чтобы поменьше кто знал о его возвращении. Все же матери и сестрам стало известно, что отец находится в поселке, и им удавалось подходить к окошку той каталажки и видеть отца. Он был очень опечален, говорил, что не знает, чем все это закончится. Планов своих он сказать не мог. К тому времени в поселке была организована кузница, но некому было в ней работать: не было кузнеца. Это и помогло делу: отца стали посылать работать в кузницу, а вскоре разрешили соединиться с семьей.

Свою мечту и задачу, ради которой приехал, он не забывал и обдумывал, как лучше ее осуществить. Сложность была в том, что вместе их было пятеро — целая группа, заметно вывести которую из поселка было невозможно. Решено было поодиночке или по двое перебираться в определенное место в тайгу, а там ждать отца. Он должен был уйти из поселка последним.

До самого конца рабочего дня отец был в кузнице, работал как обычно. После работы он домовитой пошел в опустевшую хату с охажкой дров. Посидел, покурил и, пожелав сам себе удачи, налегке, с топориком, скрылся в тайге.

Рассказывал отец, что очень беспокоился: окажутся ли все в условном месте. «А вдруг горемыки мои разбредутся? Где их искать?» Но обошлось: отец нашел их.

Младшая наша сестра, Мария, рассказывала, что шли месяца полтора лесами. Часто отец оставлял их, а сам уходил искать какое-либо селение, чтобы добыть картошки. «Так было страшно! Бывали случаи, когда ждать приходилось часов по десять, сидя в диком лесу, с напряжением ловя каждый шорох и боясь, что с ним что-то может случиться, и тогда всем нам беда и конец».

Глубокой осенью они дошли до села Лая, что в двадцати километрах от Нижнего Тагила. Здесь остановились: почувствовали, что дальше идти не могут. В местном совхозе отец нашел работу, квартиру, и тут привели они себя маломальски в человеческий вид: отогрелись, отпарили и отскоблили многослойную грязь бродячей жизни. К зиме перебрались в Нижний Тагил, в тот самый район старого демидовского завода, где отец и проработал несколько месяцев в кузнечном цеху.

Но работа в заводской кузнице, хотя и нравилась ему, все же была уже тяжела, не по силам: шел ему 57-й год, да и кузнец он был не заводской, а именно сельский. По этой причине он и переехал с семьей на реку Вятку в село Русский Турек Уржумского района, где, по рассказам, был дешевый хлеб и нужен был кузнец.

Все это мне стало известно потом. А пока я находился в Москве, работал на стройке. Скажу честно, что никак не ожидал и не предполагал, что быть мне на той стройке недолго. Из сущей ошибки, может, даже из-за моего усердия к порученному делу, так скверно все обернулось, что пришлось уйти. Случилось же вот что.

Производитель работ по надстройке дома № 7 на Малой Лубянке по фамилии Лебедев, сразу же отмечу — добрейший человек, как-то приметил меня среди прочих. Узнав о том, что я сравнительно ловко мог писать, он дал мне работу в прорабской конторке. Стал я у него вроде секретаря: подшивал бумаги, вел какие-то графики, составлял сводки движения рабочей силы, принимал телефонные звонки, развозил по Москве различные пакеты. По приказу значился делопроизводителем (не знаю даже, есть ли такие должности в нынешнее время на стройках, но в те годы были). В общем, так все пошло хорошо, что и умирать ни к чему. У прораба был заместитель — Ржевский. Юркий такой, энергичный и очень деликатный, воспитанный, вполне хороший человек, относившийся ко мне самым сердечным образом, хотя, правда, посмеивался иногда с долей ехидцы, называя меня «делопут». И особой обиды на него я не имел, поскольку я и был, пожалуй, делопут. Какой там из меня был делопроизводитель!

Вот этот самый хороший человек срочно посылает меня однажды в одну из комнат строящегося этажа, в которой работали жестянщики, передать его распоряжение о немед-

— Сейчас же, Твардовский, напишите заявление, чтобы я вас уволил.

Карьера моя потерпела полный крах. Заявление я писал и плакал, но «Москва слезам не верит», никакой возможности спасти дело не было, Ржевский был неумолим.

Что делать? Куда податься? Где меня ждут? На эти вопросы ответа не находилось. Помыкался по Москве, поговорил об утрате мелькнувшего блаженства, да и сошелся с каким-то «беглым каторжанином» и поехал с ним в Тулу. Боже ты мой! Мороз как назло арктический. Ноги мои в деревянных башмаках совсем окоченели, руки тоже — кочерыжки. Едем в холодной электричке искать неведомо чего. Тула нам ничего не дала. Работа находилась: копать траншеи, но куда там копать в лютый холод! Вертелись на вокзале. Наконец, нападем на желанное — группа людей окружила делового человека. Подходим, узнаем: оно! Вербовщик из Каширы набирает людей для разгрузки угля на Каширской ГРЭС. Берет всех и всяких, нас тоже. Едем в теплом вагоне, оформляемся в топливный отдел. Выпрашиваем аванс. Получаем горячую пищу, поселяют в общежитие. И все оживлены, все даже рады, что нашлось-таки и место под крышей, и какая ни есть работа.

И место под кившем, и какаля на севе ра...
На следующий день ведут на резервный склад, где ждут нас вагоны с углем. Это уже зима 1933 года. Хорошего мало: лопата, тачка, уголь. Но раз деваться некуда, то что поделаешь — все работало с удивительной энергией. И надо заметить, что, преодолев тягостное впечатление первых дней, я так втянулся в эту нелегкую работу, что даже, как ни странно, полюбил ее. Работал со страстью, с желанием стать самым ловким, отмеченным, признанным. Может, это выглядит очень наивно, но время же было такое, когда Красная доска была затаенным ориентиром и мечтой каждого увидеть однажды на ней и свое имя. С тачкой бегали, да-да, именно бегали, как циркачи, совковая лопата ныряла послушно под осыпь угля в ритме учащенного дыхания, дорога была каждая минута в той первейшей задаче — успеть, не отстать, догнать!

На Каширский ГРЭС я проработал месяцев восемь. Среди грузчиков я был самый молодой и выглядел весьма юным. Нередко приходилось слышать, как и будучи еще на разъезде Тёша: «Поберегись, подумай о себе, изломаешься!» А однажды и сам начальник отдела подозревал, некоторое время молча вглядывался, а затем сказал:

— Вот что, дорогой мой. Плохо ты выглядишь. Пойди-ка ты в отпуск! Путевочку дам тебе в дом отдыха. А когда вернешься, скажу тебе еще кое-что.

Ехать не нужно было: дом отдыха находился недалеко, и я пошел пешком. Хорошей одежды у меня все еще не было, и очутившись там, где умели и знакомиться, и шутить, и танцевать, да и одеты были не так, как я,— почувствовал себя не в своих санях. Так и провел те две недели в скуке и стесненности, молча и одиноко. То ли это была душевная травма, то ли привычка, но лучше мне было среди тех, кто жил в трудностях и нужде.

Возвратясь из дома отдыха, я узнал, что меня переводят в коммунальный отдел, где, дескать, будет тебе легче, вот по молодости лет твоих и нашли нужным предоставить более легкую работу. Воспринял же я эту новость с обидой. «Посылают чистить туалеты!» — кто-то пошутил.

Пошли всякие толки о предвисящей сверке и проверке документов. Слухи эти резали меня по самому сердцу: ни сна, ни покоя. Вскоре началось заполнение стандартных справок, требовалось сдавать имеющиеся документы в паспортный стол. Но что мог я сдать? Ни свидетельства о рождении, ни какой-либо законной справки я не имел. После спросов и расспросов получил я «Временное удостове-

Обратиться к Александру, рассказать ему о своих делах не решился, помня, что сам он не делал попыток узнать, где мы и что с нами. Да и что же я мог ему рассказать о себе? О том, что я бежал из ссылки? Такая новость не могла порадовать его.

Собираясь ехать к отцу в Русский Турек: ему можно все рассказать, он все поймет. Но сбережений, то есть денег, не было, и это удерживало меня. Наконец все же еду. Выпал снег, начались морозы, и от Вятских Полян пришлось идти пешком: навигация на Вятке закончилась. Сто двадцать километров одолел за четыре дня, ночевал на постоялых дворах, которые в тех местах еще не назывались по-иному.

В Русский Турек пришел днем. Первым меня заметил братишка Павел. Оказалось, он уже давно здесь, в Туреке, приехал со Смоленщины.

Да! Тут, как сказано у Александра Трифоновича: «...хоть не с того зайдя конца», но приходится вспомнить: непомерна была тяжесть, которую взвалил на себя отец, оставив спящего сына-подростка, — ведь мальчик ничего не знал о планах отца.

— Говори, где должен быть батька?! Ты знал! Знаем мы вас! Не скрывай, отродье кулацкое, если хочешь жить!

Но Павлуша ничего не знал. Плакал. Не о своей судьбе — об отце: «Убили!..» — иных мыслей у него не возникало.

Отец же полагал, что жизнь мальчика будет сохранена, хотя не исключал жестоких с ним обращений, и это мучило его. И все же надеялся: станут расспрашивать о родственниках, которых, к счастью, было не так мало, и, не иначе, передадут Павлушу в одно из родственных нам семейств. И он не ошибся.

Но вот и я в родной семье. Мать, сестры, отец, младшие братья — все рады встрече.

Мать вводит меня в курс тех деталей их жизни, о чем я еще не знал. Оказывается, что сама она и старшая сестра Анна живут здесь под своей родной фамилией — Твардовских, а все остальные из детей, в том числе и Павел, называют себя Тарасовыми, как бы являясь детьми от второго брака с Демьяном Никитьевичем Тарасовым. Вот ведь сколь непростая ситуация: даже Вася, которому еще только восемь-девять лет, должен уснуть и не проговориться, не ошибиться, если его спросят, почему в семье две фамилии. Так что нашего Трифона Гордеевича как бы и в живых нету. «Только про Костю так ничего и не слышно! — говорит мать. — Невезучий он. Разве же не написал бы? Да видно... Да и куда же он напишет! Откуда ему знать, где мы?»

Отец берет меня к себе молотобойцем, о чем успел сразу же договориться с механиком, и мы теперь заняты оковкой деревянных двуколок-тележек для погрузки зерна в баржи. За одну тележку платят 30 рублей — цена отличная, и мы хорошо зарабатываем. И ни охов, ни вздохов, о хлебе никто и не толкует: мука продается свободно, на столе всегда свежий, домашней выпечки чудесный каравай. И я про себя дивлюсь и не могу понять: ведь в это же время в Зауралье люди умирали от истощения. Тут же, на вятской земле, никто не спросил у меня никаких документов — работой на здоровье. Получалось вроде бы все складно, но вопрос о том, что нас ждет впереди, оставался неразрешенным — жили одним днем, с затаенным чувством неуверенности в возможном благополучии. Отец, правда, держался спокойно и уверенно: «Раз я живу и работаю по найму у государства, то страшиться нет причин. Праведный суд не обвинит меня за то, что, выполняя родительский долг, я презрел несправедливость». Но ведь это только слова, а в жизни бывает совсем по-другому, и в этом мы уже не раз и не два убеждались.

И вот пришло-таки письмо на имя матери... от Кости. Адрес был написан его рукой, его колючим, размашистым почерком. Жив! Но та последняя секунда перед вскрытием конверта прошла в гробовой тишине: где он? что с ним? — у всех нас был только один вопрос. Писал он, что с великим трудом узнал, где мы есть, что скоро будет на Кубани, что много пришлось испытать и будем надеяться — доживем и до встречи, когда можно будет обо всем рассказать. Ниже было недвусмысленно сказано, что очень ослабел из-за плохого питания. Нам было все ясно: нужно срочно организовать посылку. Тут же отправили письмо, где была выражена наша любовь к нему и готовность всячески помогать, чем можем, и что будем ждать и надеяться на радостную встречу.

Это было весной 1934 года, как раз по истечении двух лет со дня, когда мы с братом Константином разошлись, находясь в пути. Позволю себе привести несколько строк из стихотворения Александра Трифоновича «Братья», помещенного 1933 годом. Любопытно, что автор в тот период переписки с Константином не имел и о судьбе его лишь догадывался.

Что ж ты, брат?

Как ты, брат?

Где ж ты, брат?

На каком Беломорском канале?

Моя жизнь в родной семье, как бы она ни была сытна в тот момент, все же тяготила меня: отец жил по чужим документам, у матери и сестры нет никаких, я тоже — на птичьих правах. «Что день грядущий мне готовит?» — вертелось в голове беспрестанно.

Около полугода проработал я с отцом в кузнице. Было уже лето. За этот период я сдружился с одним пареньком из учительской семьи Волькой Перельманом, который жил по соседству с нами. Узнав о том, что друг мой идет в район получать паспорт, решил и я пойти вместе с ним попытаться счастья.

С Волькой Перельманом пошли мы в Уржум каким-то, по старинному порядку, праздничным днем. Погода была редко хорошо: в меру тепло, но и не сухо — только радоваться, и по большаку, обсаженному бог весть когда березами, шло много народу в этом же направлении — на Уржум. Люди торопились на ярмарку, которая проводилась ежегодно в этот день на речке Белой, что протекает на подступах к городу. Ярмарка так и называлась — Белорецкая. Побывать на ярмарке, конечно, было интересно, но мы имели более важную задачу и потому прошли напрямик до города, в районное управление милиции.

Перельману не о чем было волноваться: местный житель, намерен уехать, для получения паспорта есть все основания, и отказа ему не могло быть. Мое же дело совсем другое. Правда, на руках у меня стандартная справка с места жительства, справка с места работы и просроченное и нигде не прописанное «Временное удостоверение», которое получил еще на Каширской ГРЭС.

Мы были обязаны предъявить наши документы начальнику милиции. Ждать долго не пришлось — получили разрешение войти к нему в кабинет.

Перельман передал в руки начальника свои справки. Стоим. Я волнуясь, но — креплюсь. Однако тревога моя оказалась излишней. Начальник начал как бы даже беседовать, спрашивать, куда парень надумал ехать, а когда услышал в ответ, что «окончательно еще не решил», то от души рассмеялся: «Вот это здорово!»

Начальник и мои справки и заявление в руках начальника.

— Это что же? — говорит мне. — Приезжий?

— Да, приезжий.

— Сезонный рабочий? Или как?

Отвечаю, что работал с отцом здесь, в Русском Туреке, но есть намерение побывать на родине.

— Так-так. А-а. «Свидетельства о рождении» разве нет? Гм... Ну что ж... — Вновь смотрит на мое просроченное «Временное удостоверение» и, качнув головой, как бы давая мне понять, что можно и отказать, но тут же бросив свой взгляд на меня: — Ладно! — говорит. — Придете в три часа.

Чтобы скоротать время, решили побывать на ярмарке, необычность которой была прежде всего в том, что проводилась она не в населенном пункте, а прямо на пойменном лугу возле речки.

Мысли мои целиком были заняты вопросом о паспорте. Я верил и не верил: «Неужто получу?» и тут же: «Вот-вот будет у меня эта книжница! Как это важно и дорого!»

На обратном пути в Турек несли меня ноги, не чувствуя усталости. Я спешил порадовать своих: трехгодичный паспорт был получен. На радостях возникла мысль и о поездке в Смоленск, чтобы повстречаться с братом Александром. Хотелось видеть его, понять его душу, истинное отношение к судьбе отчей семьи. Я еще не знал, как посмотрят мать и отец на мою затею, но с другом успел поделиться своей мечтой, всячески расхваливая свой древний город. И слова мои взбудоражили его, когда я примерно обрисовал панораму: стоит на Днепре, есть кремлевская стена, исторические памятники, да и климат что ни на есть умеренный, и яблоки дешевле картошки...

Вряд ли нужно пересказывать, как были рады мама, отец, сестры и младшие братья тому, что мне дали паспорт. Когда

я, придя домой, обнимая маму, сказал: «Можешь поздравить меня!» — то, не будучи набожной, она ответила: «Ну и слава же богу, сынок. И я, и все мы рады и желаем тебе счастья!»

О чем мы только не переговаривали в тот вечер! Был решен и вопрос о поездке в Смоленск. Все вместе обдумывали теперь, как рассказать и нужно ли рассказывать обо всем, что произошло в нашей жизни за эти четыре года. Ведь Александр совсем не знал, что на Урале нас давно нет, что Трифон Гордеевич — не Трифон Гордеевич... Получалось так, что говорить обо всем нельзя, что лучше умолчать пока о подробностях.

В Смоленске я не сразу стал искать встречи с братом — остановились у сестры нашей матери — у тети Анны Митрофановны.

Кстати, напомним, что Павлуша года два жил именно в этой семье. Так что Анне Митрофановне многое было известно о судьбе нашей семьи. А я хорошо знал ее, как человека очень доброго, всегда способного разделить чужое горе. Домиком ее стоял самым крайним на улице, совсем рядом со старым братским кладбищем, на кромке небольшого обрыва. Ее муж, Иван Борисович Вицкоп, был по национальности латыш. Живя в городе, он работал конюхом. Постоянно страдавший головными болями, ведущего положения в семье он не имел, и все заботы лежали на Анне Митрофановне. Росли у них три сына: два подростка — Коля и Боря и малыш лет трех — Володя. Жили они в постоянной нужде, и все это знали, но именно к ним, к этим бедным людям, мы могли всегда прийти, как к друзьям. Анна Митрофановна, к великому сожалению, недавно ушла из жизни.

Встретили нас в этой семье радушно, и два дня я провел у них, прежде чем встретиться с Александром.

Более четырех лет прошло, как я встречался с Александром, шел мне двадцатый год, выглядел не мальчишкой, а вроде бы уже, так сказать, молодым человеком: был сравнительно приодет — в костюме, с ухоженной прической, словом, обычного вида для людей моего возраста. Однако предстоящая встреча волновала меня.

Нашел я брата в самых задках улицы Краснознаменной в двухэтажном деревянном доме, на первом этаже, в его комнате. Захватил я его в ту минуту, когда он куда-то собирался, спешил, и встреча наша была непродолжительной. Договорились увидеться еще раз, кажется, на следующий день. Но то, что он обронил ко мне такие вопросы, как: «Кто ты?», «Откуда?» — понуждали меня вдуматься: как их понять? Не таят ли они тревогу брата? Не есть ли это нечто отдаленное меня от него?

Повторная встреча тоже не была долгой. Поинтересовался он, что я думаю делать, чем заниматься, где устраиваться, и когда услышал, что хочу остаться в Смоленске, то стал отговаривать.

— Смоленск для тебя, это, знаешь... — он не досказал, но, чуть помедлив, добавил: — Ты ничего хорошего здесь не найдешь. Неприятности же тебя будут поджидать на каждом шагу. Я — дело другое. Я должен жить там, где меня знают, — на слове «должен» он подчеркнуто сделал нажим и закончил следующими словами:

— А тебе, поверь, Иван, лучше не оставаться здесь!

Слова: «Я должен жить там, где меня знают!» — были для меня загадочны. С наивностью я воспринял их в том смысле, что личные его дела устроены благополучно, что ему нет нужды куда-то уезжать, искать иное место, так как его знают в Смоленске, чего нет у меня, и потому мне будет трудно.

Никогда: ни в тридцатые годы, ни прежде, ни позже, — брат не посвящал родственников в тайны своих тягот и душевных страданий. Таков был его характер: сочувствий не терпел и защиты не искал. С удивительным мужеством и спокойствием он нес груз испытаний. Но хотя бы одно слово об этом! Ни в письмах, ни при встречах, которых в течение жизни было не так уж и мало.

В 1934, 1935-м, да и не только в эти годы, он подвергался яростным нападкам за якобы проводимую в его творчестве неверную, не соответствующую действительности и задачам дня идеологию. Ярлык «кулацкий подголосок» приклеить было несложно: сын раскулаченного отца. О том же, что вечный труженик-отец был несправедливо и жестоко обижен невеждами, волей случая оказавшимися в положении власти имущих, никто не хотел подумывать.

А. И. Кондратович в книге «Александр Твардовский» на основании сохранившихся публикаций смоленских газет пи-

шет: «Нападки такого рода повторялись не раз и не два, но в 1934 году они приобрели уже характер угрожающий».

Таким образом, моя смоленская встреча с братом совпала с тем периодом, когда он носил в душе боль тяжких обвинений от людей, с которыми был рядом, то есть от смоленских же литераторов — В. Горбатенкова, И. Каца, Н. Рыленкова, Н. Павлова.

Свиданием с братом я остался недоволен. Мне казалось, что мой приезд и сама встреча пробудили в нем, не побоюсь сказать, чувства некоей вины, угрызения совести. Забыть о письме к нам в ссылку, о встрече с отцом у подъезда Дома Советов он не мог. Так я думал, и мне было жаль брата. Нравилось мне или нет, но я не мог не учитывать того факта, что был он искренним комсомольцем двадцатых годов. В теперешнем осмыслении мне представляется то, что революционное насилие, коснувшееся родителей, братьев и сестер, пусть ошибочно-несправедливое, как бы явилось пробным камнем для Александра, когда нужно было показать, чего ты действительно стоишь как комсомолец. Может, даже не кому-то показать, а прежде всего себе, своему внутреннему «Я». Видимо, и рассуждал он примерно так: «Каждый кулак — чей-то отец, а его дети — чьи-то братья и сестры... Чем же твои родные лучше других? Наберись мужества, скрепи сердце, не давай воли абстрактному гуманизму и тому подобным внеклассовым чувствам» (как говорил мне один литератор). Такова была логика: если уж идешь со всей душой за коллективизацию, значит, и за ликвидацию кулачества как класса, то просить исключения для своего отца не было моральных прав.

Есть основания верить, что в душе Александр скорбел и больно переживал допущенную местными властями несправедливость по отношению к нашей семье, но таких, как мы, среди раскулаченных было много. Четких критериев для отнесения того или иного хозяйства к числу кулацких не существовало. Если в двадцатые годы признавалось в качестве такого критерия использование наемного труда (хотя часто это был мнимый критерий, так как наемным трудом порой приходилось пользоваться по необходимости и беднякам, например: нет своей лошади или же мужских рабочих рук), то с началом коллективизации и он был отброшен.

В автобиографии Александр Трифонович писал: «В жизни нашей семьи бывали изредка просветы относительного достатка, но вообще жилось скудно и трудно...» Выходит, что он не забывал об этом, а стало быть, оставалось только одно: «Наберись мужества, скрепи сердце...». Видимо, так оно и было: лишь отрывочно осведомился он о положении нашей семьи и совсем не стал расспрашивать, каким образом она перебралась с Урала в Уржумский район Вятской (ныне Кировской) области.

Накануне отъезда, чтобы застать брата дома, я прямо с утра пошел к нему попрощаться. Застал его возле дровяника, где, видимо, вместо зарядки он возился, не то укладывая, не то поправляя поленицу. Заметил меня, взмахнув руками начал было говорить, что вот, мол, понимаешь, надо бы печное отопление. «Приходится и этим заниматься!» — и, вздохнув, продолжил: «Оно, знаешь, не во вред».

— А я, Шура, пришел... проститься. Уеду я! — что-то во мне дрогнуло, перехватило дыхание, и это он тут же заметил, приблизился и, положив руку на мое плечо, нежно и осторожно сказал:

— «Слушай, Ваня, мой совет — совет брата. Оставаться тебе в Смоленске или нет, волен и должен решать сам, ты не мальчик.

— Да-да. Я понимаю. Я решил: уеду непременно!

— Вот что, Ваня, — глянул на часы, — я сейчас же переоденусь, и мы пройдем вместе.

Прошли какие-то минуты, и он вышел. И казалось мне, что он преобразился: белоснежная холщовая рубашка дополнила и как бы осветила его прекрасный облик. И он, и я шли занятые своими мыслями, как бы соглашаясь, что вот-вот должны были расстаться.

Остановились у кромки городского сада Блонье. Тут он спросил: «Как у тебя с деньжонками?» Мне очень не хотелось признаться, что денег я почти не имел, и потому ответил, что еду, мол, пока лишь до Москвы. «Тогда, знаешь, не осуди, возьми-ка карманные!» — Дал мне двадцать рублей.

Не знаю, разные суждения бывают на этот счет, но в жизни я всегда чувствовал и придерживался того простого правила, что легче и отрадней дать, чем взять. Да что ж...

Брат сжал мою руку и, сдерживаемый какой-то тайной, молча глядел мне в глаза, затем обнял, прижимая к себе,

прошептал: «Все, Ваня, все!» Незримый путь образовывал угол: я на Ново-Рославльскую, он — своей дорогой.

Через два дня я оказался в Москве. Ходил пешком по городу куда глаза глядят, до полной усталости, что-то искал, хотя, честно говоря, я не знал и сам, что именно я могу найти. И вот, кажется, в районе Савеловского вокзала наткнулся глазами на вывеску — «Биржа труда». Слово это я слышал когда-то еще в Загорье от людей, бывавших на Донбассе, и помнил, что на бирже труда узнают о вакантных рабочих местах или даже получают направление на работу. Но я знал и то, что в Москве не всех прописывают. Все же решаюсь зайти. В огромном зале ряды столов и столиков, и за каждым столом сидит человек, представитель предприятия: завода, фабрики, стройки, прочих организаций. Возле столов группы интересующихся: спрашивают, читают объявления, показывают документы. Вслушиваюсь. Кому-то дают направление, кому-то отказывают. Но столов много, и я не тороплюсь отчаиваться, продвигаюсь, и на глаза мне попадает объявление: Московский учебный комбинат производит набор на краткосрочные курсы слесарей-водопроводчиков и отопленцев, берут и с иногородними паспортами.

Мне просто и неожиданно улыбнулась фортуна. Дали направление в учебный комбинат, и я вместе с небольшой группой поехал трамваем на место предстоящих занятий и работы. В тот же день мы были устроены в общежитие, а назавтра уже знакомимся с новым для нас делом. Учебный комбинат находился по улице Ново-алексеевской, совсем близко к Ярославскому шоссе. Недели две-три нас учили работать, соединять трубы, монтажу, ремонту, проверкам систем водопровода и отопления. Было там много молодежи, преимущественно ребят моего возраста.

И вдруг — новость: всех переводят на железнодорожный ремонтный завод в Люблино-Дачное, сокращенно называвшийся «Можерез». Водопровод и канализация, чему нас обучали, были оставлены, и нас распределили по разным цехам. Я оказался у сталеплавильных электропечей подручным сталевара. И все пошло складно: живем в общежитии, ходим на работу, предвидится нормальный заработок, осваиваем новую стихию.

Тогда же на радостях я написал Александру, что нахожусь рядом, в Люблино-Дачном, что работу нашел и чувствую себя хорошо. Ответ получил не из Смоленска, а из Москвы: брат был на Первом съезде советских писателей и жил в гостинице «Интернациональ» на улице Горького. «Можем встретиться», — писал Александр, и было указано в какие часы. Я очень обрадовался и сразу же поехал к нему.

В номере на первом этаже с ним было четыре человека, и я понял, что для интимной беседы условий нет, что тут же подтвердилось предложением Александра: «Есть у меня, Ваня, намерение просто пройтись, прогуляться. Как ты смотришь на это?»

— С удовольствием!

Оказавшись среди обычной суеты большого города, мы никакого чувства стесненности или неудобства не ощущали и могли беседовать.

— На съезд я приехал на положении гостя — делегатского билета у меня нет, — говорил брат, — но для меня сам этот факт не так уж и важен, важнее другое: я сам слышу, кто о чем говорит, и я рад этой возможности. Ты вряд ли можешь понять сложность стоящих передо мной задач. Двадцать четыре за плечами, труда положено много, но удовлетворенности нет, я как бы без собственного голоса. И не ощущать этого я не вправе. Вот, Ваня, как обстоит дело.

Где-то мы приостановились: время истекло, он как-то сразу заговорил о другом: «Смотри же... Начинать приводить себя в порядок! С одежкой... тоже важно — научись и галстук завязывать. Но не спеши жениться! Не заражайся моим примером! Мне, понимаешь ли, жена во многом помогла, но в жизни чаще бывает наоборот». Он улыбнулся и глядел на меня, как бы спрашивая, все ли я понял. Расстались в хорошем настроении.

Проработал я под Москвой до отпуска. Съездил к родителям в Русский Турек, проведаль. И все бы оно хорошо: «Молодость счастлива тем, что у нее есть будущность», — говаривал учитель нашей Ляховской школы, и это прочно удерживалось в моей памяти — не забыл эти правильные, отеческие слова. Но... куда же денешь то, что постоянно тревожило, не давало покоя: сидела во мне печаль, о которой не мог я никому рассказать, поделиться. И чтобы стало



читателю ясно, в чём она заключалась, привожу несколько строк из письма брата Александра к М. В. Исаковскому. Писал он из Смоленска в 1935 году 6 октября. Прочсть это письмо мне случилось без малого сорок лет спустя в журнале «Дружба народов» (№ 7, 1976).

«...Послезавтра мне идти в припункт, где еще придется испытать самое мучительное: каяться в том, что выбрал неудачных родителей, и доказывать, что я не против Советской власти. Но, знаешь, я как-то спокоен, все эти вещи в конце концов притупили чувствительность к такого рода испытаниям».

Не знаю, кому было труднее, Александр должен был «каяться» за неудачный выбор родителей, я — томиться неправдой, когда в анкетах отвечал на вопросы о социальном происхождении. Но он имел возможность хоть рассказать о своих чувствах Исаковскому, я же и этого был лишен.

Весной 1936 года, кажется, в конце марта, я затронул этот вопрос в письме к брату в том смысле, что, дескать, как же так, ты, Александр, вовсе не интересуешься судьбой родной семьи? А мать, мол, все смотрит в окно, грустит, шепчет свою песню «Перевозчик-водогребщик, перевези меня...».

Нет, я не думаю, что мое напоминание заставило его тут же попросить адрес. Наверняка он никогда не забывал о матери, да и обо всех родных, но... возможности его были очень малы, и с окаменелым сердцем шел он трудной дорогой своих планов. А кто же из нас мог тогда это понять?

Вот какое письмо было отправлено со станции Вятские Поляны М. В. Исаковскому, 14 апреля 1936 г. (журнал «Неман» № 2, 1977).

«Дорогой Миша! Сегодня я (с одним попутчиком) после долгой торговли еду на Уржум. Стараюсь не думать о трудностях дороги (120 км, грязь, пароход через неделю). Уже совсем было решил отправиться назад, но почта не принимает посылкой чемодан. Договорились с татаринком за 300 рублей (с двоих). А сразу у нас запросил 500!

Назад буду только с пароходом, то есть недельки через полторы. Помяни, Мишенька, мою грешную душу, ежели заляюсь или как иначе сгину где-нибудь. На свечи я тебе оставил, кажется.

Александр.

Р. С. Может случиться, что телеграфирую насчет денег. Переводи телеграфом: Русский Турек, Кировский край, до востребования, мне. А. Т.».

Вот тогда, побывав в Русском Туреке, в апреле 1936 года, Александр Трифонович и решил перевезти отцовскую семью в Смоленск.

В самых последних числах июня 1936 года я ехал ночным поездом из Москвы в Смоленск — прибыл часов в семь утра. На типично окраинной, поросшей зеленой травой улице Ново-Рославльской меня встретил Павлуша, а рядом уже

была та заветная мазаная избушка, сестры матери Анны Митрофановны, в которой поселилась семья. Мать, с прижатыми к груди ладонями, смотрит, что-то говорит и... встреча. Объятия, волнения, вздохи; и самые сердечные, трепетные слова материнской преданности и счастья: «Ваня! Сын мой! Дети! Милые мои! Будьте же вовек благословенны! Пойдем же, пойдемте в хату!»

Сидя на низеньком сапожничком табурете, я слушал рассказ мамы. Она рассказывала с желанием как бы вновь пережить ту счастливую минуту, когда после долгой, многолетней разлуки, неожиданно-негаданно вошел к ней ее любимый сын Шура.

— Нет, Ваня, вряд ли ты можешь представить, — продолжала она, — что я чувствовала. Кажется, одно такое мгновение в жизни стоит того, чтобы жить и быть матерью. Батяка в кузнице был с Павлом, рядом, вот-вот должны были подойти обедать, и, знаешь, такая грусть напала на меня, что отвести ее можно только слезой. Слеза, может, человеку и дана природой, чтобы заглушить горе. И только бы сказать: «Где ж ты задержался, «перевозчик» ты мой?», — а в дверь: тук-тук-тук! И не знаю, сказала «Да!» или нет, обернулась — входит... Шура. «Боже мой!» — вырвалось, думала: привиделось мне, а он, мой родной, бойко так — ко мне, освободил руки — чемодан был — и: «Мама! Родная! Нашел же я тебя!» — Обнимает, целует и опять: «Мама, милая, здравствуй!»

— Ну где же тут удержишься? Рада, а сердце почему-то никак не утихнет, и говорю ему, что, значит, мысли мои, мол, долетели до него...

Рассказ матери дополнялся и обрастал вставками подробностей, которые успевали делать сестры и младшие братья. Здесь же хотелось мне слышать и о встрече самого отца с Александром, поскольку все мы знали об их крайне трудной встрече в Смоленске летом тридцать первого года.

— Ваня, сынок мой! Разве ж могла я об этом забыть! Я сразу же дала понять Шуру, что благодаря нашему отцу, его мужеству и риску живы остались, слава богу. Да ведь, правда, он и сам уже не мог не понять этого, но ни слова не сказал, а когда отец шоркал у двери, встал... Тут дверь распахнулась... и не передать: сухонький наш старичок так и замер. И головою: то вверх, то вниз — растерялся и ни слова. Обнял Шура его: «Вот оно как бывает, папа! Не надо вспоминать».

В нашей беседе мать снова возвращалась к рассказам о пребывании Александра в Русском Туреке. Говорила, что все его интересовало. Вот он беседует с председателем колхоза, то идет к отцу в кузницу, где отец правил лемехи, бывал и у реки, о чем, кстати сказать, впоследствии было написано очень милое стихотворение:

Восстановленный хутор Загорье. Лето 1987 г.
Фото К. Ковальджи

Кружились белые березки,
Платки, гармонь и огоньки.
И пели девочки-подростки
На берегу своей реки.
И только я здесь был не дома,
Я песню узнавал едва,
Звучали как-то по-иному
Совсем знакомые слова.
Гармонь играла с перебором,
Ходил по кругу хоровод,
А по реке в огнях, как город,
Бежал красавец пароход.

Часов в десять утра кто-то из наших заметил и сказал: «Папка пришел!» (он, как всегда, работал, хотя было уже без малого шесть десятков за спиной).

На пороге появился Трифон Гордеевич, с котомкой, не ведая о том, что сын Иван здесь, возле «горемык». «Да неужто, Иван, ты?! Орел мой! Д-да-вай же... давай обнимемся! Сынок! Ваня!..» Как бы в смятении он начал говорить о том, что побывал в Починке, что дали ему паспорт, что он опять имеет свое имя и осталось только забыть все то, что пройдено.

Отец, видимо, много кое-чего мог бы рассказать, он только-только еще успел определить порядок своего рассказа, как подкатила легковая машина, взвизгнули тормоза, послышались обрывки чьих-то слов, и тут мы увидели в окно, как из распахнутой дверцы машины осторожно выбирается...

«Александр! Ой! Ваня, иди же навстречу!» — это сказала мать, и я махнул чуть ли не прыжком, а за мной и Павел, и дети хозяйки. С Александром был и М. В. Исаковский: «Ну, я как знал, вот и хорошо, что ты, Иван, здесь. Ну, здравствуйте, молодцы-братья, здравствуйте! Здравствуй, мама!»

Он отдает матери пакет, авоську, обнимает ее, и мы уже в хате, Александр уже видит и отца, здоровается с ним за руку и тут же оборачивается к Михаилу Васильевичу:

— Миша! Поспешай! Порядок требует держаться правил. Представляю: наш Трифон Гордеевич! Мария Митрофановна, мама, догадываешься... Брат Иван...

Александр проворно помогает матери накрывать стол. Вот уже и вино, и закуски, и все мы были за столом, да и рюмочки, кажется, были налиты, и в эту минуту, в полнейшей для всех неожиданности, как с неба — наш старший брат Константин. Привстали. Громыкнули стульями, скамьями, и все к нему. Каждый на свой лад выражает приветствия: трясут, обнимают, благодарят.

Александр, как сейчас вижу, сидя уже за столом, смотрел на старшего брата с какой-то затаенной грустью, может, седина на висках Константина напомнила ему что-то, может, даже тронула. Он немного откинулся, вздохнул, затем ожился и, обеда всех взглядом, сказал: «Надо, друзья мои, выпить. Такие встречи долгими не бывают и... не повторяются!»

Подобной встречи для нашей семьи уже никогда больше не случилось.

Как бы отразив в себе нелегкую биографию автора, судьба воспоминаний И. Т. Твардовского также оказалась трудной. Хотя первый их вариант был написан еще в 70-е годы, долгое время были возможны лишь выборочные публикации, почти не затрагивавшие ни драмы 1931 года, ни последующей судьбы «спецпереселенцев» Твардовских.

Публикуемая ныне часть воспоминаний И. Т. Твардовского не просто дополняет прежние: в ней — ядро мемуарной книги Ивана Твардовского, то, чем она в наибольшей степени важна и интересна.

Что касается комментария к новоопубликованному тексту, о чем попросила меня редакция (имея в виду в особенности те страницы, где речь идет об А. Т. Твардовском), то в качестве такого комментария я позволю себе привести в сокращенном виде свое давнее письмо к Ивану Трифоновичу, кстати, здесь им цитируемое. Оно написано по поводу первоначального варианта книги, в целом заметно улучшенного последующей доработкой, и читатель легко отметит соответствующие несовпадения. Однако, как мне кажется, (несмотря на мажорный финал и некоторые корректировки прежних оценок) основной мотив письма во многом остается в силе.

Дорогой Иван Трифонович!

Получил и прочел Вашу вещь. Впечатление очень сильное — и от вашего повествования, и от самой той жизненной истории, которая улеглась в эти страницы, от всего того, что пришлось Вам вынести в том возрасте, когда в нормальных-то обстоятельствах дитя человеческое видит мир с самой светлой его стороны. Но разговор о жизни оставим на будущее, а сейчас я собираюсь говорить только как критик и редактор.

Сначала еще кое-что об общем впечатлении. Оно очень определено: Вы находитесь на пути к созданию крупной, внутренне значительной вещи. В частной Вашей судьбе выступает нечто очень существенное из истории всей страны, всего народа. Получается это само собой, просто по той причине, что история так жестоко вломилась в Вашу жизнь, вызвав Вас на борьбу с собою, а также благодаря подробности, живости и искренности Вашего рассказа. К тому же ни о коллективизации с точки зрения ее жертв, ни о муках «раскулаченных», «спецпереселенцев» у нас ведь до сих пор ничего или почти ничего не писали. Вся эта область жизни закрыта, неведома, никем не освещена. О лагерях было, и даже немало, а об этом нет. Между тем, хотя «спецпереселенцы» — малая часть населения страны, в их судьбе — концентрированное выражение того, что так или иначе, пусть в совсем иных формах, отразилось на жизни всех. А то обстоятельство, что все это испытал и описывает брат

Твардовского (народного поэта и, по моему убеждению, центральной исторической фигуры последних десятилетий, брат человека, который, вставив, вобрав в себя и в свое творчество всю нашу советскую историю, возглавил затем общественное движение за то, чтобы двинуть ее иным, демократическим путем) неизбежно придает Вашему повествованию дополнительный эффект, даже если бы имя Александра Трифоновича здесь и не упоминалось.

Второе, что мне хочется сказать, относится к форме Ваших воспоминаний. При всей своей сдержанности, краткости, простоте (и во многом именно благодаря этим свойствам) она по-настоящему художественна. Это как раз та повествовательная манера, которую любил сам А. Т. — и как писатель, и как редактор: естественность, деловитость и точность слога при отсутствии каких-либо специальных «украшений».(...)

Теперь то, в чем я с Вами несогласен. Разговор это непростой, и в письме мне довольно трудно будет так разъяснить свою позицию, чтобы быть понятым вполне правильно. Но попытаюсь.

Дело касается Александра Трифоновича. Все, что Вы говорите о нем в этой части своих воспоминаний, проникнуто одним чувством — обидой. Да Вы и сами так пишете: «горькая обида». Она сквозит и в содержании, и в тоне тех, правда, немногочисленных страниц, на которых о нем заходит речь, вплоть до последней, где о таком факте, как возвращение родительской семьи из ссылки. Вы сообщаете кратко и сухо, одной фразой: «Как известно, той же весной, в 1936 году он (А. Т.) ездил в Русский Турек и тогда же вывез всю семью в Смоленск».

«Как известно» — кому? Насколько я помню, об этом нигде ничего не писалось. Между тем в этой связи возникает много вопросов. Во-первых, каким образом это было сделано? Сумел ли А. Т. получить официальное разрешение на возврат семьи? Если да, то как ему это удалось? Если нет, вопросов еще больше. Ведь это же не 1956 год, а всего лишь весна 1936-го. Еще к «кулакам» и к «раскулаченным» прежнее отношение — как к врагам народа. Да и Твардовский — далеко еще не тот «большой человек», каким станет в дальнейшем, в том числе и в сознании тех, от кого могло зависеть разрешение на возврат из ссылки. Весна 36-го, когда только-только (апрельский номер «Красной нови») появляется «Страна Муравия», когда далеко еще и до ордена Ленина (1939) и до первой Сталинской премии (1941), но зато совсем близка серия статей в смоленской печати (1934—1935 гг.), где, прямо указывая на его «кулацкое происхождение», его называют «кулацким подголоском» и проводником кулацкой идеологии. Во-вторых, как произошла сама встреча? Какие

были разговоры с отцом, с матерью, с братьями и сестрами? В-третьих, как семья была устроена в Смоленске?

Словом, все, что связано с возвращением семьи и с участием в этом Александра Трифоновича, изложено крайне скупое и невнятное. Вы пишете, что в начале 36-го года напомнили А. Т. о семье, и он попросил адрес, а затем вскоре съездил и привез. Получается вроде бы так: что если бы не это напоминание-упрек, он бы и забыл о существовании родительской семьи. Но тут явное противоречие с Вашим же собственным описанием событий: трудно поверить, чтобы человек, который не только прекратил переписку с родителями, но и требовал, чтобы Трифон Гордеевич и Павлуша вернулись в Лялю, мог так круто изменить свою позицию и поведение под влиянием одного только Вашего упрека.

Прошу, Иван Трифонович, понять меня правильно: я не беру под сомнение ни фактов, которые Вы излагаете, ни необходимость писать о них, но — истолкование этих фактов. И вот тут я позволю себе коснуться самого этого чувства, чувства обиды, которое и по сию пору отчасти разъединяет Вас с покойным братом и сказывается на том, как Вы говорите о нем в своих воспоминаниях. Нет, я не хочу уговаривать Вас за давностью лет простить покойному его вину перед Вами и перед родительской семьей: это Ваше дело, Ваше право — и никто тут не должен Вам что-либо советовать. Но я убежден, что обида в данном случае не совсем то чувство, которое отвечает сути дела. И вина тут особая, не объяснимая ни личной черствостью, ни страхом.

Насчет страха. Александр Трифонович не был героем, отлитым из бронзы, но еще меньше был трусом. Мужество автора «Теркина на том свете», впервые (1954 г.) и в одиночку поднявшегося «в атаку» на всю мертвую силу Реакции, а затем мужество редактора «Нового мира» говорит само за себя. Другое время, другой уровень душевной зрелости? Но есть печатно зафиксированные факты, которые свидетельствуют о том, что и в 30-е годы А. Т. не был запуганным человеком. На меня, например, произвело сильное впечатление его выступление в заключение состоявшегося в Смоленске «декадника» по обсуждению (или, лучше сказать, осуждению) его творчества (июль 1934 г.). Большая часть выступлений на этом «декаднике» была о том, что он кулацкий сын и кулацкий поэт, автор «контрреволюционных» стихов. По всем тогдашним нормам ему бы следовало либо кричать: «клевета! смотрите, какой я красный!», либо «признать ошибки» и заверять, что приложит все усилия, чтобы исправить, оправдать и т. п. Ни того, ни другого! Короткий, исполненный достоинства ответ: спасибо за внимание к моей работе и за высказанные критические замечания» («Большевистский молодец», 27 и 30 июля 1934 г., №№ 173, 177). Другой пример: август — сентябрь 1937 г., самый разгар террора. В Смоленске арестуют А. В. Македонова. А. Т. едет туда и выступает на собрании писателей в защиту этого «ныне разоблаченного врага народа» (И. Жига. Что было в Смоленском отделении Союза писателей. — «Литературная газета», 1937, 10 сентября, № 49), в результате сам оказывается на волосок от гибели. Вы знаете, так поступали тогда (да и сейчас) немногие.

Черствость? Даже если не касаться творчества — а оно все преисполнено сердечного тепла, сочувствия, понимания людского горя («Теркин», «Дом у дороги», «Две строчки», «Родина и чужбина» и мн. др.), — слишком велико число людей, которым он лично помог без всякой корысти для себя.

Поэтому я глубоко убежден, что источник поведения А. Т. по отношению к отцу и родительской семье в 1931—1936 гг. нужно искать не столько в его характере и личной нравственности как таковой, сколько на пересечении его личности и общей нашей истории. Это не вина в обычном смысле слова, а великая историческая (я бы даже сказал — всемирно-историческая) трагедия, обернувшаяся личной бедой и виной, — для него, как и для множества других людей его поколения.

Представьте себе комсомольца первых советских лет, тогдашнего, со всей искренностью увлеченного революционной, социалистической идеей. Он преисполнен энтузиазма, он безгранично верит в то, что революция и Советская власть творят великое и святое дело. На все на свете, в том числе и на себя, на свое будущее, на жизнь своих близких и т. д., такой «суровый атеист и член бюро» смотрел не иначе как сквозь призму понятий революционной, советской идеологии, ее глазами.

Конечно, А. Т. с его умом и зорким взглядом и тогда не был обычным комсомольцем (достаточно вспомнить трез-

вость «Дневника председателя колхоза», многое в обрисовке Моргунка и пр.), но все же по общему строю чувств он принадлежал именно к этому человеческому типу, был захвачен именно таким умонастроением. Дух времени — великая, почти всесильная вещь!

Как мог и должен был относиться такой комсомолец к коллективизации и «раскулачиванию»? Для него тут не было и вопроса: как к продолжению социалистической революции, ее тяжкому, но необходимому и, следовательно, справедливому этапу. Разве не писал Ленин, что кулаки — самые зверские, самые дикие, самые грубые эксплуататоры и разве эта характеристика не повторялась тогда в каждом номере газеты? ¹ Насилие над крестьянином, не желающим ни за что ни про что отдавать свое добро в колхоз? Насилие над детьми, которые только тем и виноваты, что родились в кулацкой хате? И на это был давно заготовлен ответ. Разве революция с первых своих дней не провозгласила правоту и необходимость революционного насилия? Все правильно. Хочешь, чтобы был социализм, — не отступай перед жестокостью борьбы. Тем более что социализм не за горами, до него каких-нибудь несколько лет, а с его приходом в насилие уже не будет нужды. Наберись мужества, скрепи сердце, не давай воли абстрактному гуманизму и тому подобным внеклассовым чувствам!

Революционное насилие коснулось твоих родителей, братьев и сестер? Что ж, вот тут-то и пришел час показать, чего ты действительно стоишь как комсомолец! Не кому-то показать — прежде всего себе самому. Легко быть принципиальным, когда речь идет о посторонних, нет, ты докажи, что в самом деле способен поставить общественное выше личного. Вспомни Павлика Морозова! Вспомни, как в гражданскую войну брат порой стрелял в брата, сын в отца! Ведь не станешь же ты, всем сердцем одобряя коллективизацию (а значит, и ликвидацию кулачества как класса?), просить, чтобы для твоего отца было сделано исключение — только потому, что он твой отец. Каждый кулак — чей-то отец, а его дети — чьи-то братья и сестры... Чем же твои родные лучше других? Чем ты сам лучше других, чтобы иметь моральное право просить сделать для них (то есть для тебя) исключение из общей классовой политики партии?

Вот такая логика. Вряд ли я сколько-нибудь сильно ее огрубляю, хотя, конечно, тут могли идти в ход и какие-нибудь иные доводы (капиталистическое окружение, угроза войны и т. п.). И что же мог такой «суровый атеист» возразить самому себе на подобные речи? Да ничего, потому что в противном случае возражать пришлось бы не только себе, не только своим товарищам, даже не только Сталину (что тоже не пустяк), но, по тогдашним его понятиям, и революции, марксизму, своим идеалам и верованиям, то есть самому главному, самому святому, что вдохновляло молодых людей этого поколения и наполняло смыслом их жизнь.

Что же остается? Одна-единственная зацепка: отец не был «настоящим» кулаком, его раскулачили и выслали несправедливо. Вот та единственная соломинка, за которую только и могло хватиться сыновнее чувство тогдашнего идейного комсомольца, имевшего несчастье оказаться сыном репрессированных родителей. Но какой же слабый это был аргумент! Ведь таких, как Трифон Гордеевич, среди «раскулаченных» было решительное большинство. И многие из них были подвергнуты этой участи даже с меньшими основаниями, чем он. У него хоть была новая хата, о которой Вы вскользь упоминаете, и жеребец, слепивший глаза соседям, — у многих других не было и этого. А никаких четких критериев для отнесения того или иного хозяйства к числу кулацких не существовало — ни социальных, ни имущественных. Если в 20-е годы еще как будто признавалось в качестве такого критерия использование наемного труда, то с началом коллективизации и он был отброшен. Чтобы легче было зачислить в кулаки кого угодно, появились нарочито расплывчатые категории: «кулацко-зажиточники» (так что уже и простой зажиточности оказывалось достаточно), «твердозаданцы» (раз однажды получил твердое задание, значит, на тебе уже клеймо), «лишечные», «под-

¹ Эта оценка — из листовки «Товарищи-рабочие! идем в последний решительный бой!» (август 1918 г., опубликована посмертно, в 1925 г.) — несет на себе печать момента, когда, как писал эсер В. И. Ленин, «волна кулацких восстаний перекидывается по России». Характерно, что именно это высказывание, а не гораздо более поздние, периода нэпа, ленинские рекомендации об отношении к зажиточной части деревни были взяты на вооружение политикой «ликвидации кулачества как класса» (Ред.)

кулачники» (а это уже и вовсе могли быть бедняки, но чем-то не угодившие властям). И всех их валили в эту яму.

Как при таких условиях наш идейный молодой человек мог найти для себя гражданскую позицию, которая давала бы ему уверенность в собственной правоте и позволяла твердо сказать: моих родителей раскулачили несправедливо? Такой позиции не существовало. Вернее, она существовала, но какая? Она заключалась в том, чтобы признать, что вся вообще «ликвидация кулачества как класса» есть не что иное, как сплошная несправедливость. В самом деле, разве «справедливо» было разорить, бросить в дикие леса и снега, на голод, непосильный труд, на смерть сотни тысяч семейств, с детьми, женщинами, стариками, на том лишь основании, что они принадлежали к некоей социальной группе? Если посмотреть на дело с нормальной человеческой точки зрения, то это было преступлением против человечности. Более того, даже с точки зрения классовой борьбы: почему, спрашивается, не были выселены ни помещики, ни царские чиновники, ни фабриканты, ни купцы, ни новая городская буржуазия — изпманы, а вот «кулаки», то есть все-таки крестьяне, трудящиеся должны были испить чашу сию? Те самые «кулаки», которых до этого Советская власть не просто терпела, но поощряла как «культурных хозяев» (даже узаконив тот же наемный труд), то есть, по существу, выпрашивала своими руками, — с тем, чтобы потом взять и «ликвидировать»!

Трифон Гордеевич был лишь одним из миллионов жертв этой грандиозной несправедливости. Но мог ли тогдашний А. Т. посмотреть на дело таким образом? Эта позиция диаметрально противоречила всему его тогдашнему мировоззрению и была для него абсолютно закрыта. Однако тем самым сводились почти на нет его внутренние возможности, не изменяя самому себе, осудить «раскулачивание» родительской семьи и бороться за ее возвращение. Последовать своему сыновнему чувству значило для него подвергнуть пересмотру все духовные основы своего существования, разойтись со своими сверстниками и т. д. Историческое время для такого пересмотра тогда еще не пришло. Должны были пройти годы, колхозный строй (и вообще тот тип социализма, который тогда только складывался в нашей стране) должен был на деле выявить свои перспективы и тупики, возможности и невозможности. Еще и сегодня подобный пересмотр, если производить его всерьез, с бесстрашной последовательностью, не уклоняясь ни от каких вопросов, — ох как непросто! Пример тому, между прочим, и Ваши собственные воспоминания, в которых кое-где проскальзывает та нотка, что, мол, в отличие от некоторых других «спецпереселенцев», Вас эта участь постигла незаслуженно. Слово бы в целом справедливость «ликвидации» Вы под сомнение не ставите. То есть и сегодня, через десятки лет, столько претерпев, человек Вашего (да и моего) поколения все еще не вполне освободился из-под власти тогдашних представлений.

Александр Трифонович периода описываемых Вами событий — это человек, оказавшийся перед острейшей идеологической и моральной дилеммой, человек, терзаемый жестоким внутренним конфликтом. Нет, он не забыл ни родителей своих, ни братьев — иначе не написал бы в 33-м году:

Что ж ты, брат?
Как ты, брат?
Где ж ты, брат?
На каком Беломорском канале?

не говоря уже о позднейших своих вещах. Но что же было ему делать? Как думать и как поступать, если ему надо было найти решение задачи, разрешить которую могло лишь время? Будь на его месте кто-то более «легкий» и менее глубокий, все было бы, конечно, гораздо проще. Не было бы ни письма с попыткой объяснить «раскулаченным» родителям свое понимание ликвидации кулачества как класса, ни требования, чтобы Трифон Гордеевич и Павлуша вернулись в место ссылки, но зато не было бы и мучительной, прошедшей затем через всю его жизнь памяти — мысли — темы.

Он был недремлющим недугом,
Что столько лет горел во мне —

это сказано о «друге детства» и 1937 году, но с еще большим основанием может быть отнесено к родительской теме и 1930 году — цикл «Памяти матери», поэма «По праву памяти» и неосуществленный, но десятилетиями вынашиваемый замысел автобиографического романа не оставляют на сей

счет никаких сомнений. Можно догадываться, что во многом именно через тяжкое, мучительное переосмысление судьбы родительской семьи и подобных ей крестьянских судеб Александр Трифонович и приходил к своим главным итогам — переосмыслению всей советской истории, всего гигантского комплекса тем: народ — революция — социализм — XX век.

Поэтому все, что Вы описываете как проявление его личной черствости и основание Вашей обиды, говорит, мне кажется, о другом, хотя и не менее тяжком: об исторической трагедии, подвергшей жестокому испытанию крупную человеческую личность. А последний, лишь вскользь затронутый Вами момент, относящийся к возвращению семьи, приоткрывает, думается, то, что станет условием и источником победы Александра Трифоновича в этом испытании: живое нравственное чувство, которое в конечном итоге всегда (и чем дальше, тем больше) оказывалось в нем сильнее самых авторитетных идеологических истин.

Вот так, дорогой Иван Трифонович, рисуется мне вся эта — далеко не семейная в своем существе — драма. (...)

(.....)

Придет время — я думаю, оно не за горами, — когда еще при Вашей жизни эти воспоминания будут у нас изданы...

Ваш Ю. Буртин

11.11.1980.

Два слова в постскрипtum.

1. Теперь, когда публикация воспоминаний состоялась, и мы можем одним взглядом окинуть молодые годы обоих братьев Твардовских — Александра и Ивана, нельзя не увидеть в их судьбах, таких разных, некоего единства, также далеко выходящего за семейные рамки. Это как бы двойной символический образ времени, наших 30-х годов, их «верха» и «низа», лица и изнанки, света и тени, образ молодости нашего общества, пламенной и жестокой. Образ, исторически весьма содержательный, поскольку именно в 30-х годах — все начала того, с чем в трансформированном виде мы имеем дело сегодня — и в системе общественных отношений, и в самих себе.

2. Мимо этих воспоминаний не сможет пройти ни биограф Твардовского, ни исследователь его творчества. Прежде всего, конечно, раннего, включая «Страну Муравию», где в диалоге:

— Бреду оттуда...
— Что ж там? Как?
— Да так. Хороший край.
В лесу, в снегу стоит барак,
Ложись и помирай,—

и во всей сюжетной ситуации восьмой главы определенным образом преломилась встреча с отцом, бежавшим из ссылки. Но и перспективу дальнейшего развития творчества Твардовского, глубину выразившегося в нем многоэтапного внутреннего самоизменения нельзя правильно понять без достаточного понимания исходной точки этого процесса, его стартовых 30-х годов.

3. В свою очередь, к восприятию публикуемых воспоминаний, в том числе к тому, чтобы прочесть их не просто как горестную личную или семейную историю, читатель уже подготовлен сегодня и самим Твардовским, в особенности его поэмой «По праву памяти», наконец-то увидевшей свет после 18-летнего запрета («Знамя» № 2, 1987 год, «Новый мир» № 3, 1987 год). Произведением, где трагическая коллизия эпохи — тема «всеобщего отца», вставшего между отцом и сыном, кажется, впервые в нашей литературе получила столь концентрированное и сильное художественное выражение.

Рассеялся «чад полуночных собраний», развеялся морок миномоноперерекаемых истин, именем которых ломались судьбы, раздвигались семьи, коржились и плющились человеческие души. Наступило время, когда и на прошлое и на свой сегодняшний день мы можем и во имя будущего обязаны посмотреть безо всяких шор, открыто и прямо.

Юрий БУРТИН*



Н. ДОБРОВОЛЬСКИЙ. Иркутск. Переправа через Ангару. 1886 г.

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ИРКУТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

Триста лет от роду Иркутску. Много ли?
Я думаю, много. Вниз по течению Ангары поднялись Братск,
Ангарск, Усть-Илимск, норовят перебежать дорогу,
хващаясь индустриальной мощью и шумной комсомольской славой,
но силенок не хватает пока соперничать с губернской столицей
в главном — в духовном обустройстве бытия.
Духовность — истинный, неразменный знак зрелости Иркутска,
хоть и противоречив его день нынешний.
Перестраиваются заповедные улицы,
истлевают в подвалах богатейшие фонды
Научной библиотеки университета,
не унялась еще тревога за Байкал...
Но и расцветают юные скверы,
реставрируются памятники и церкви,
в театрах Иркутска идут знаменитые пьесы,
исполненные света и печали спектакли по А. Вампилову,
обихаживаются музеи, и самый почтенный из них — Художественный:
пусть читатель «Юности» оценит избранные работы из
его фондов на страницах журнала.

Борис Черных.



Бог Саваоф
с характерным
лицом иркутского купца.
Резьба по дереву. XVIII век.



М. ПЕСКОВ.
Портрет П. П. Стукачева с сыном Владимиром,
будущим основателем Художественного музея.
1854 г.

С. ЩЕДРИН.
Вид Неаполя.
1820 г.





М. МАРИЕСКИ.
 Большой канал
 в Венеции.
 Начало XVIII века. Италия.



Ш. К. ДЕФЕН.
 Портрет императора
 Рудольфа II.
 XVII век. Франция.



Н. АНДРЕЕВ.
Якутские дети.
1920 г.



А. САВРАСОВ.
Сокольники.
1882 г.



Дмитрий
ПАВЛЫЧКО

Анна Ярославна

Проснулась Анна¹ и несмело
Окно раскрыла на февраль.
Как плоть младенца, розовела
Туманом вымытая даль.
Пылая, из лесной пещеры
Вставало солнце. День — как дым.
Взгляд воина или пантеры
Мелькнул за деревом седым.
Она не ощутила страха:
Ведь Франция — ее земля.
Вокруг — прислуга, свита, стража,
Полки супруга-короля,
Охоты, платья, развлечения,
Молитвы, кружева интриг
И драгоценные мгновенья,
Часы и ночи возле книг.
Здесь — Франция, ее держава,
Ее твердыня и хвала...
Чего же вдруг слеза сбежала
И ленты в косах обожгла?
Чего предвестьем укоризны
Тоска давила грудь в тиши?
Держава есть — а нет отчизны,
Корона есть — а нет души!
Но был же сон! И отозвалась
Душа, светясь, как небосклон.
Стояла Анна и боится,
Что, как туман, растает сон.
Отец ей снился. Тихий. Мудрый.
Ей снилась младшая сестра
И Киев, ангел златокудрый
С крылами синими Днепра.

☆☆☆

Устав с дороги, я заснул блаженно,
А тучи шли, и падал я сквозь них
На горы, на стога родного сена,
Где спал давно в объятьях молодых.
Забегал на рассвете дождь по крышам
И разбудил меня. И в полусне
Игру железной рамы я услышал
И звоны капель, гаснущих в окне.
В той музыке печальной, как спасенье,
Донесся голос милой: «Ты не спишь?»
И сон, забытый на карпатском сене,
Сверкнув, как солнце, осветил Париж.

Перевел с украинского
А. РАТНЕР

¹ Анна Ярославна, дочь Ярослава Мудрого, жена Генриха I, королева Франции.



Инна
ЛИСНЯНСКАЯ

Бутылка с запиской

Не взыщите, бутылка с запиской,
Люди добрые, к вам — не из моря,
А из жизни, до боли вам близкой,
Из оттаявшего подзаборья.

Не ищите меня среди равных
Иль меж тех, кто вам вовсе не ровня.
Есть на то две причины забавных:
Всех виновнее я и греховней.

Надышалась я дымом событий,
Я возникла из книжек сожженных.
Не ищите меня, не ищите
Среди оправданных иль непрощенных.

Я ни в чьей не нуждаюсь защите
И ни в чьей не нуждаюсь подмоге —
Не ищите меня, не ищите,
На себя же наткнетесь в итоге.

1976

☆☆☆

Что делать? — спросила у Жизни, — сказала: умри!
Что делать? — спросила у Смерти, — сказала: живи!

Чтоб что-нибудь делать, в духовке сушу сухари,
А дождь за окном, как мерцающий трепет в крови.

То ангел меня посещает, а то — сатана.
И каждый выходит из зеркала против окна.

И только себя я не вижу в стекле никогда.
А время течет, как течет дождевая вода.

Я ангелу плачусь, но тут же приходит другой,
Меж нами я воздух крещу обожженной рукой.

Мне кажется, ночь — это уголь сгоревшей зари,
А это сгорели в духовке мои сухари.

1981

Дочери

Казалось бы, и нечего сказать
Пред очевидностью простого факта,
Что я, твоя нелепейшая мать,
Скиснулась то ли так, то ль от инфаркта.

— Не надо плакать! — Вот что я скажу:
Не я в гробу нарядная лежу
В платочке с розочками рококо,
А лишь пустая глина, но когда-то
Ее сосочек, до крови намятый,
Вливал в тебя скупое молоко.

Все мерки жизни и координаты
Смерть изменяет быстро и легко:
Теперь ты от меня настолько близко,
Насколько от тебя я далеко.

Теперь с пути мне сбиться нету риска,
Теперь в той самой я непустоте,
Какую жизнь считала пустотою.
Не те здесь массы, скорости не те
И даже сон не тот, что в простоте
Жизнь относил к вечному покою.

Теперь отпала надобность в очках,
Отсюда вижу все твои веснушки —

Темней на скулах, золотей в зрачках,
И вся ты — свет от пят и до макушки.

Не надо плакать! Холмик на опушке
Кладбищенской не есть последний дом,
Где забываются последним сном,—
То наших встреч таинственных площадка,
И нежным незабудкам благодать.

Загадка — жизнь, а смерть — ее разгадка.
О, как мне эти слезы видеть сладко!
Поплачь еще, хоть я плохая мать
По всем параметрам миропорядка.

Нет, слуха твоего не оскорблю
Тем оправданьем, что с пути я сбилась,—
Все это ложь. Я так тебя люблю,
Как дочерям заласканным не снилось.
1983

Моим судьям

Как странно думать, что на людной площади,
В родильных и смирительных домах,
В смирительных, куда меня вы прочите,
Одно и то же время на часах.

И я твержу вам, точно заведенная:
Кто прав всегда, тот никогда не прав,
И мечется душа уединенная,
Грядущее в защитники избрав.

В испарине мой лоб, и щеки впалые,
И на погибель мне и возглас мой:
Ах, судьи мои злые, дети малые,
Задумайтесь над собственной судьбой!

Рот закушу до самой черной алости,
Мое молчание — моя броня.
Не мучайте меня,— умру от жалости,
Мне жалко вас, не мучайте меня.
1981

☆☆☆

Возьми меня, Господи, вместо него,
А его на земле оставь!
Я легкомысленное существо,
И ты меня в ад отправь.

Пусть он еще поживет на земле,
Пусть попытает судьбу,
Мне легче купаться в кипящей смоле,
Чем выть на его гробу!

Молю тебя, Господи, слезно молю:
Останови мою кровь,
Хотя бы за то, что его люблю
Сильней, чем твою любовь.
1978

☆☆☆

Там цвели вдоль моря олеандры,
Розовая тень ушла в песок,
Ударяли голосом Кассандры
Волны в парашет, наискосок.
Не она ли грозно прорицала,
Что взойдет кровавая звезда
И на Север тронутся с вокзала
Зарешеченные поезда,
Что в одном из них уйдет в потемки,
В шахту, в мерзлоту, за Енисей
Инженер по нефтеперегонке —
Дядя твой курчавый Елисей,
И что брат от брата отречется:
С проработки твой отец вернется,
Повернет в двух скважинах ключи,—
И альбом семейный захлебнется
Керосином в кафельной печи,
Что бутылку из-под керосина
Бабушка к груди своей прижмет,
Как бы убаюкивая сына,
И протяжно-влажно запоет...
1975

☆☆☆

Два брачных бражника, чьи крылья — нервный шелк,
И первый выстрел почки,
И строчка дятлова, и соловьиный щелк,
И дождика звоночки,—

Весна блаженствует: приспели времена
Раскрепощенья духа,
И речь открытая на улице слышна,
Да я уже старуха.

К беззвучным выкрикам, к житию с зажатым ртом
Я привыкала долго,
Беда под силу мне, а радость не в подъем
И уязвимей шелка.

И вдруг кошунственный я задаю вопрос
В час крайнего смятенья:
Голгофу вытерпел, но как Он перенес
Блаженство воскресенья?
1987

Младшему современнику

Мы знали, как в тюрьмах тесно,
Как пусто внутри деревень,
А было ли нам известно,
Каков наш грядущий день?

Откладывать в долгий ящик
Привыкли свою судьбу,
Но вот твой день настоящий,
Тащи его на горбу!

Грядущее — это только
Уступка былой судьбе,
А времени ровно столько,
Сколько сейчас тебе.
1986

☆☆☆

А за городом пахнут липы
Лунатическим сном эпохи.
Что за прелесть — дверные скрипы!
Что за жалость — ночные вздохи!
Вновь пред слабостью оробею,
Это с самого детства длится —
Только тот, кто меня слабее,
Может мною распорядиться.
1977



Анастасия
ХАРИТОНОВА

Дебют в
ЮНОСТИ

Перед разлукой

От сырости в саду чернели лавки.
Боярышник дышал нашатырем.
С природой были мы на очной ставке
И в свой черед у ног ее умрем.
Ты разминал сердито папиросу
И знал, что я хочу лишь одного:
Простаясь, мечтать без просыпу, без спросу
И жадно ждать приезда твоего.
Ты жил в Москве каких-то двое суток,
Улаживая сотни мелких дел.

И радости смиренный первопут,ок,
 Нетронутый, передо мной блестел.
 И, нежность вымывая по крупнице,
 Как золото из северных кровей,
 Душа боялась, дрогнув, оступиться.
 О как бы надо оступиться ей!..

Волчица

Однажды по дороге мгlistой,
 По колкому сухому льду
 От серой стаи мускулистой
 Я тоже умирать уйду.
 Мне замерзнуть, седой волчице,
 На берегу чужой реки.
 Мне кровью черною давиться
 Так, чтоб не видели щенки.
 Но за ветлой, за голой ивой,
 Где месяца тускнеет край,
 Быть может, ветер лишь тоскливый,
 А может быть, и волчий рай...

В разрушенном лесу

Тут рощи обрушенный купол
 Желтеет в осколках росы,
 И ливень с пристрастьем ощущал
 Чернушкам собачьи носы.
 В оческах седой паутины
 Спросонья трепещется луч.
 И деревом тянет с плотины.
 И грязь, как почтовый сургуч.
 От корня вся в перхоти пепла
 На рыжей лужайке трава.
 Тоска родилась и окрепла.
 Любовь родилась, — и мертва.
 Ты шутишь неловко и больно,
 И это мне горько вдвойне.
 Но я повторяю невольно
 Поклон твой, заметный едва.

☆☆☆

За нагим-то горе не погонитца,
 Да никто к нагому не привяжетца,
 А нагому, босому шумит разбой...

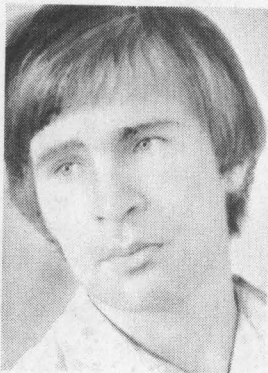
А нагому, босому шумит разбой,
 И все ветры, несущие крик и стон,
 Прошумят ему, и заплачет он,
 Как то водится, над собой:
 «Ты, осенний лес, пропылал ты зря
 И до грозной уснешь трубы.
 А судьбина... Нет у тебя судьбы,
 Как лица у яростной нет толпы,
 Вопиющей: «Долой царя!..»
 И кого, скажи, ненавидел ты,
 И любил ли в жизни кого-нибудь?
 Где бродил, босой? Иль забыл свой путь,
 Или конь затоптал следы?
 Был отмерен срок, и скончался век.
 Так признайся же, не скорбя:
 Не прошедший по миру человек —
 Ты — прошедший дождь, ты — прошедший снег,
 И не вспомнит никто тебя».

☆☆☆

Ты строишь храм движения. И вот,
 Пройдя зовущих жестов галерею,
 Зеркальных мановений вижу свод,
 Легчайший свод над головой моею.
 К тебе склонюсь — ко мне склонись ты,
 К тебе тянусь — ты тянешься навстречу,
 Меня окликнешь — я тебе отвечу,
 Незримый дом твоя из пустоты.
 Моей душе пространство это впору.
 Здесь эхом обозначена стена,
 И свет едва намечен здесь окном.
 Все явлено в значении двойном.
 И нежность расставаем так полна,
 Что, кажется, она сродни укору.

☆☆☆

Отставший брошен и забыт,
 Ведь жизнь, как зверь, не любит слабых,
 Хмелен и мой непрочный быт,
 Порастрясенный на ухабах.
 И все в нем связано с тобой
 Тугими нитями соблазна,
 И ночь толкает на разбой,
 И тишь, как дебри, непролазна.
 Побронзовевших листьев чад
 Клубится в парковой разлуке,
 И кровью темною сверчат
 Бессонницы в усталом ухе.
 Рассудок на советы скуп.
 В душе родится страх и ропот.
 И жалость в терпкой жажде губ
 На нет свела весь прежний опыт.



Евгений
ЧЕПУРНЫХ

☆☆☆

Человек, гуляющий по крышам,
 Не боишься, что ли, высоты?
 Для чего забрался ты всех выше?
 Люди не гуляют, как коты.

Человек, гуляющий по крышам,
 Вдруг остановился на краю.
 Он меня, наверное, услышал.
 Посмотрел он в сторону мою.

Ни в словах, ни видом не запальчив,
 Посмеялся, снова поглядел
 И сказал серьезно: «Да, мой мальчик.
 Люди не коты...»
 И полетел.

Медленно над миром он кружился,
 Угловат, спокоен и бескрыл.
 Главное, что я не удивился.
 Я ведь так ему и говорил.

☆☆☆

Дождю капать и капать.
 Фокусник, слезы мои,
 Дай поносить твою шляпу,
 Если там нету змеи.
 Буду я в шляпе той шляться
 На протяжении дня.
 Будет она подниматься
 Над головой у меня.
 И шевелиться, и мяться
 Будет,
 Бочениться властью,
 Будет немного бояться,
 Как бы с меня не упасть.
 Дождю капать и капать.
 Есть вдохновенью предел.
 Добрая, странная шляпа...
 Поздно тебя я надел.

г. Куйбышев.

Александр КУПРИН

ШЕСТОЕ ЧУВСТВО



Начало этого повествования относится к первым весенним дням 1918 года (...).

Собралась у меня наша привычная преферансная публика: отец Евдоким, настоятель кладбищенской церкви, сосед мой, отставной хриплый полковник, инженер-электрик, маленький, толстенький, похожий на степенного попугайчика в белом фуляровом галстуке, и я. Жена принесла нам солидное угощение: чай из сушеной морковной ботвы (отвар весьма вкусный и полезный), пайковые леденцы, песочное пирожное из овсяной муки. Она же умело разбавила заветные 25 граммов аптекарского ректифицированного спирта — стоимость двенадцатикратного цейсовского бинокля.

Мы с удовольствием подкрепились, попили чайку, закусили, похвалили золотые хозяйкины ручки. Потом кто-то сказал:

— Зачем же нам терять золотое время?

Другой поддержал:

— И, правда, не заняться ли делом?

А я закончил:

— Чтоб укрепить наш альянс, сыграем, братья, в преферанс.

Пулька наша была старинная, ладная, давно сыгравшаяся. Нам уже не надо было ни о чем договариваться. Все знали, что играем по четверти копейки, с четырьмя разбойниками на каждого и с розыгрышем распасовок. За долгое время практики мы уже безошибочно привыкли к своеобразным жестам и к любимым поговорочкам партнеров.

А. Куприн.
Снимок начала 20-х годов.

Отец Евдоким купил на шесть без козыря. Я нарочно протянул руку, делая вид, что хочу придвинуть ему прикупку, и заранее знал, что он загородит ладью карты и скажет:

— Нет, уж, пожалуйста, не беспокойтесь. Я уж сам в моем курятнике похозяйничаю...

Затем он осторожно и медленно вскрыл одну за другой обе карты, заслоняя их от партнеров широким рукавом рясы.

Лицо его стало совсем кислым и разочарованным. Он покачал головою, вздохнул и сказал уныло:

— Готов Тартаков! Вынужден играть семь пик. Зарвался!

— С присидцем, отец Евдоким? — лукаво спросил полковник.

— Какой тут присидец? Дай Бог свое отыграть. Молча зашлепали толстыми грязными картами.

Свежих уже нигде нельзя было найти с тех пор, когда современный нам Калиостро, он же талантливый актер и он же неожиданный и внезапный анархист Мамонт Дальский, одним росчерком пера реквизирует все карточные запасы с клеймом Воспитательного Дома: «Пеликан, кормящий своих детей собственным мясом».

Вскоре батюшка очутился в коробке. Предстояло ему: или бить тузом козырную даму, или прорезать маленькой. Все зависело от того, на чьей руке король. Положение было тяжелое и рискованное. Отец Евдоким уже постучал нервно ногтями по краешку стола. Партнеры ожидали, что он сейчас вытащит одно из своих любимых присловий, скажет: «Стала она призадумывать себя» или крикнет и воскликнет, точно в ужасе:

— Тут-то Менделеева и передернуло!

Он поглядел пронзительным взором на своих контрпартнеров, инженера и полковника, но лица их были холодны и замкнуты. Счастье мое, что я, как сдававший, в игре не участвовал; я бы никак не устоял перед этим пытливым взглядом.

— Да-а-а, — протянул отец Евдоким. — Да-с. Тут-то Менделеева и...

И вдруг священник мгновенно умолк и стал бледнеть, не отводя глаз от двери в переднюю. Мы все невольно повернули головы в этом же направлении. Там стояла перепуганная и тоже бледная Катерина Матвеевна, наша кухарка и наш давний друг, родом из Гдовского уезда, похожая обычно на солидную каменную бабу, но теперь совсем растерявшаяся. За ее спиной тускло поблескивали лезвия примкнутых штыков и смутно шевелились толпившиеся в передней люди. Катерине Матвеевне казалось, что она что-то говорит, губы ее двигались, но из них не выходило ни одного звука.

Это пришли ко мне с обыском: четыре распоясанных, растянутых солдата {...} под командою стройного белесого маленького латышонка, туго и ловко одетого в походные желтые ремни новенького хаки. Шестым был долговязый комиссар в поношенном черном пиджаке; правой руки у него не хватало по локоть.

Два солдата остались на кухне, все остальные вошли в комнату. Однорукий протянул перед собой грязный почтовый листок и сказал:

— По мандату от Совета рабочих и солдатских депутатов мы должны произвести в этой квартире обыск. Прошу кого-нибудь из хозяев следовать за мною.

Я встал, но жена сказала мне движением ресниц — сядь. Я все сделаю сама.

Я послушался. В некоторых серьезных случаях женскому темному инстинкту нужно повиноваться без рассуждений. Она отлично знала, что в ту злую пору во мне еще не улеглась, не угасла склонность к сарказ-

му и вредная несдержанность на слово. Кроме того, у нее в разных таинственных уголках и ящичках комодов, буфетов и шифоньерок были тщательно схоронены крошечные пакетики с белой мукой, разного сорта крупами, сахаром, шоколадом, спиртом, табаком и другими вещами, на случай изнурения или болезни. Эти скудные припасы вскоре действительно понадобились нам, когда дочка наша и я заболели жестокой дизентерией после употребления в пищу жмыхов.

Конечно, беглый и невнимательный взгляд не мог бы сразу наткнуться на эти сокровища, если бы его не натолкнула какая-нибудь причина или примета. Потому-то обыскиваемому надо иметь при обыске свою душу в спокойных, холодных и уверенных руках. Но я бы, например, сопутствуя обыску, я бы, пожалуй, смог заставить себя молчать, не поднимать опущенных век и уж никак не косить глаза на питательное «табу». Но не думать о предметах и мысленно не видеть их — это было бы выше моих психических сил. А ведь давно известно, что такое душевное напряжение непременно, как гипноз, передается мозгу мало-мальски опытного сыщика... и тут конец.

А ну-ка, закажите себе в течение двадцати минут не думать о белом медведе!

Однорукий комиссар и нарядный латыш пошли за женою. Она была восхитительно хладнокровна. В дверях столовой комиссар сказал ей любезно:

— Мы, собственно, интересуемся английской корреспонденцией вашего мужа. Поэтому, во избежание лишней возни и потери времени, покажите нам место, где находятся все его рукописи и документы. Домашних ваших пустяков мы трогать не будем.

«Хороши пустяки, — подумал я. — А заряженный на все восемь гнезд револьвер «веладог», который засунут в узкое пространство между ванной и стеной? А наган, лежащий под плинтусом на террасе? Слава Богу, что жена отвела меня от этой игры в обыск».

Мы четверо остались на тех же местах. Над нами стояли сонные, грязные, вонючие, поминутно чешущиеся за пазухой и зевающие солдаты. Я предложил закончить пулю. Но мои добрые друзья зашипели на меня:

— Какая уж тут пуля! Вы лучше спрячьте поскорее карты, пока не поздно. Сами знаете, как на это теперь смотрят... Да и вообще тут для нас в чужом пиру похмелье. Ну, мы понимаем, вы писатель, вы там могли что-нибудь такое написать. А за что же настало арестовали?

Вообще, они явно впадали в панику. Отец Евдоким сказал:

— Моя матушка точно предвидела. «Не ходи да не ходи. Что тебе по ночам шататься?» Да и мне, признаться, не особенно хотелось идти. Нет! Понесла-таки нелегкая.

И, заметно, они на меня глядели враждебно.

К счастью, обыск продолжался недолго. Минут через двадцать однорукий с латышом, вслед за женою, вошли в гостиную. Партнеры мои были немедленно и очень вежливо отпущены по домам. Должен все-таки сказать, что, по торопливости, ни один из них не попрощался с хозяевами дома.

Большевики оказались людьми гораздо более светскими. Однорукий попросил позволения сесть, для составления протокола, а латыш, щелкнув каблук-ами, спросил:

— Не разрешите ли покурить?

Они опустошили весь мой огромный письменный ясеневый стол снаружи и внутри, а также американский классер со множеством полок, и все их содержимое вывалили горой на стол под большую лампу с широким золотистым абажуром. Там было несметное количество писем, деловые бумаги, контракты с изда-

телями, десяток записных книжек, множество фотографических карточек, а больше всего черновиков, начатых и недоконченных повестей, беглых заметок, шуточных стихов и тому подобного мусора. Были и письма иностранцев, но они касались исключительно моих сочинений и никакой политикой не пахли.

Однорукий начал было составлять подробную опись всем этим забранным предметам, но потом махнул рукой и спросил:

— Нет ли у вас каких-нибудь весов?

Весы нашлись, кухонные медные, с плоской круглой тарелкой. Их принесли. Комиссар быстро взвесил весь реквизит и дал нам расписку в том, что принял вещей на девять фунтов. Весь бумажный скарб был затем упакован и запечатан.

— А теперь, — сказал однорукий, — вы уж нас извините, товарищ дама, но по распоряжению революционного трибунала мы обязаны доставить вашего супруга в местный Совдеп до дальнейших указаний.

— Можно ли мужу взять с собою некоторые необходимые вещи? — спросила хозяйка.

— Нет, зачем же? Если хотите, товарищ, возьмите с собою запас папирос. Больше вам ничего не понадобится. И дело ваше, по-видимому, совсем пустяшное... Какое-нибудь простое недоразумение... Сегодня же ночью, а самое крайнее, завтра поутру, вы будете свободны. Пойдемте, товарищ.

Мы вышли из дома и пошли по Елизаветинской улице: впереди два солдата, позади другие два с бравым маленьким латышом, посредине — я с комиссаром.

Время перевалилось за полночь. Большие чистые звезды дрожали и переливались в черном низком небе. Ноги наши упруго и мягко ступали по слегка влажной дорожке. Смолисто и волнуяще пахли развертывающиеся почки берез. Из палисадников доносился легкий радостный аромат зацветающей сирени. В такую пору — думалось мне — глухарь только что перестал играть свои страстные любовные песни, а тетерев на рассвете вот-вот начнет токовать. Господи! Как невыразимо прекрасны Твои ночи!

С жалостью и горькой злобой мелькнуло чувство утерянной свободы, и я, неожиданно для себя самого, громко спросил однорукого:

— Хорошо. А все-таки за что же меня арестовали?

— Не знаю, — сказал он грубо, точно тявкнул. — Да если бы и знал, то не уполномочен вас осведомлять.

Черт его возьми! На улице он растерял все свое джентльменство.

По Соборной улице и проспекту Павла I мы дошли до Совдепа. Помещался он в старинном просторном деревянном чудесном особняке, где раньше жилали из поколения в поколение гг. командиры синих кирасир. Теперь гордый полковой штандарт был сорван с вышки...

Я бывал в этом прелестном домике в начальные годы войны, вплоть до 17-го, когда в нем проживал, в качестве гатчинского коменданта, старый, но крепкий кирасирский генерал Дрозд-Бонячевский, который несколько свысока дарил меня своей благосклонной дружбой. Как все русские добрые генералы, он был не без странностей. Говорил он в растяжку, хриповатым баском и величественно, не договаривал последних слогов: замеча-а-а... прекра-а-а, превосход-о-о...

Чудаковат он был. Приезжая к нам домой инспектировать наш солдатский госпиталь, он неизменно интересовался тем, что читают солдаты. Одобрял «Новое Время» и «Колокол». Не терпел «Речи» и «Биржовки». «Слишком либерал-а-а... И надеюсь также, что сочинений Куприна вы им читать не даете.

Сам я этого писателя очень уважаю-а-а, но согласитесь с тем, что для рядовых солдат чересчур, скажем, преждевре-е-е...».

У него была еще одна генеральская слабость: живопись акварелью. В свободные минуты он собственноручно раскрашивал комнатные стенные шпалеры, изображая на них — где дорогу в хвойном лесу, где березовую беседку. Чисто по-детски радовался он всякой похвале и печалился только о том, что ему не давались человеческие лица.

Идя теперь, вслед за одноруким, по комнатам особняка, я узнавал сквозь мутный свет керосиновой лампы милые, незатейливые картинки Дрозда-Бонячевского и с печальным умилением думал:

— Где же ты теперь, милый Дрозд, со своими теплыми странностями, человек, не причинивший никому огорчения в течение своей большой жизни?

Меня привели в самый верхний этаж, в бельведер с просторным балконом. Пахло затхлостью неотвояемого помещения.

Я взялся за ручку, чтобы открыть дверь, но комиссар быстро отвел мою руку.

— Этого вы уж, пожалуйста, не делайте. Очень попрошу вас! А лучше ложитесь-ка спать. Поглядите-ка, кресла-то какие царские! Об окне же и думать оставьте. Если ночью высунетесь наружу, то часовой раздробит вам голову пулей. Да, впрочем, и я проведу всю ночь, не отходя от вас. Хороших снов!

Старинное прапрадедовское раздвижное кресло, из какой-то потрепанной, но нежной неизносимой кожи было широко и уютно. Мне не спалось. Каждый раз, когда я закуривал папиросу, то в красноватом освещении мне мерещился зорко следящий за мною глаз.

Сосед мой не храпел, не бредил, но каждый раз, когда я переменил положение тела, он почти беззвучно шевелился.

Должно быть, все-таки, что прерывисто, на секунды, я засыпал очень глубоко, потому, что порою, открыв глаза, я видел сначала серо-побледневший воздух за окном, потом удивительно чистое голубое небо, чуть тронутое по краям розовой тонкой окраской, потом заорали петухи, и я почувствовал солнечный восход.

— Хотите, я открою окно? — спросил однорукий, поднимаясь на своем кресле.

— Пожалуйста.

Какая радость вторгнулась к нам в мансарду, когда широко распахнулись большие полукруглые рамы, навстречу весне и солнцу. В первый раз мне тогда пришло в голову: почему это наш тихий исторический посад называется так непонятно, по-чухонски «Гатчина». По-настоящему ему бы надо было называться посадом «Сирень». Теперь, стоя на высокой вышке, я понял, что никогда еще и нигде, за все время моих блужданий по России, я не видал такого буйного, обильного, жадного, великолепного цветения сирени, как в Гатчине. В ней утопали все маленькие разноцветные деревянные дома и домишки Большой Гатчины и Малой, Большой Загвоздки, Малой, Зверинца и Приората и, в особенности, дворцового парка и его окрестностей.

У Государыни Марии Федоровны сирень была любимым цветком, и она разводила ее с необычайным вниманием, со щедростью и заботой. За нею же потянулась, из подражания двору, вся оседлая Гатчина.

Как радостно и странно было глядеть сверху на этот мощный волнистый сиреневый прибой, набегающий на городишко жеманно-лиловыми, красно-фиолетовыми волнами и белыми грядами, рассыпавшимися, как густое белое овечье руно...

Однорукий комиссар поднялся снизу и сказал:

— Однако, собирайтесь. Сейчас поедете на автомобиле в Петроград, в революционный трибунал.

— Это где же находится? — спросил я.

— В бывшем дворце бывшего Николая Николаевича.

— Что же? Он и Николай Николаевичем перестал быть?

— Всех поскидали, — ответил однорукий мрачно. — Дальше и не то еще будет... Пойдемте. Автомобиль дожидается.

Мы уселись. Спереди шофер {...}. Позади я, со вчерашним латышом, который был свеж, чист и весь подтянут ремнями, как будто бы только сию минуту выскочил из специальной фабрики {...}. Однорукий исчез. У ворот Совдепа толпились жители. Я успел найти между ними женское лицо и поймать ласковую ободряющую улыбку.

Легкий, изящный «пежо», тоже мой хороший знакомый, принадлежавший Гатчинской авиационной школе, бойко покатился по проспекту Павла I, густо обсаженному с обеих сторон пахучими березами, мимо артиллерийских казарм и заставы, мимо Пулковской обсерватории, по широкому шоссе. За всю нашу довольно длинную дорогу никто из нас четверых не обмолвился ни словом. Я — почему же не сознаться? — немножко нервничал и беспрестанно курил и каждый раз, закуривая новую папиросу, предлагал, по курительной мasonicкой этике, другую моему латышу, и он принимал ее безмолвно и серьезно, точно мы с ним исполняли какую-то серьезную обязанность.

Так мы доехали до Нарвских ворот, завернули на Обводный канал, пересекли синюю Неву и, оставив за собою Петропавловский собор, остановились у малых ворот прекрасного дворца Великого Князя Николая Николаевича Старшего.

Латышонок быстро соскользнул с автомобиля, позвонил у железной решетчатой двери, скрылся на минутку за нею и вскорости выскочил обратно.

Он и тут не издал ни звука, а только поманил меня рукой.

Мы вошли в просторную, но не высокую комнату, весело освещенную двумя огромными полукруглыми окнами с цельными в высоту и ширину зеркальными богемскими стеклами. По всем сторонам этой комнаты тянулись низкие скамьи, обитые манчестером, рисунок которого я сначала принял за настоящий текинский ковер. Вероятно, в прежние времена здесь помещалась не парадная, а просто деловая приемная.

К этой приемной прилежала другая полутемная комната высотой не больше среднего человеческого роста, освещенная крошечной электрической лампой. В этот-то просторный и низкий чулан и завел меня щеголеватый латыш. Немного освоившись с утлым светом, я увидел в глубине помещения простые деревянные нары, а ближе к выходу стоял небольшой солдат в серой шинели и с ружьем.

Латыш сказал ему:

— Вот, товарищ, сдаю вам арестованного. Примите и следите за ним. Теперь он находится на вашей полной ответственности. — А мне он сказал: — До приятного свидания. — И вышел, оставив меня наедине с солдатом.

Я успел хорошо разглядеть солдата. Он был маленький, но крепкий и ладно сделанный парнишка. В своей серой, не по росту большой шинели, он был похож на мило-неуклюжего медведя-овсянника.

Минут пять мы с ним помолчали. Потом он заговорил. В тоне его было грубое участие:

— Что, брат? Засыпался?

Я вежливо помылчал.

— Да говори уж. Чего там скисняться? На чем вяпался-то? Небось, налетчик? Или шпикулянт?

У меня давно уже в голове родились мысли о том, что мой арест связан с каким-нибудь из моих антибольшевистских фельетонов.

Я сказал:

— По правде, и сам не знаю. Сам я газетчик, в газетах печатаю. Вот и думаю, что написал что-нибудь против начальства, а оно меня и засадило.

Солдат укоризненно покачал головой, вытер большим пальцем под носом и сказал, причмокнув:

— Э, папаша, начальство обижать — это, брат, не ладно. Начальство, голубчик, надо всегда уважать. Это ты, братец, напрасно сунулся.

Солдат замолчал и на минуту прислушался.

— Держись! — сказал он. — Это наш комендант идет.

Комендант трибунала, матрос Крандиенко, так крепко врезался в мою память, что и теперь, через двенадцать лет, мне очень легко вызвать его сумбурный образ: лихо загнутая матросская шапка — чертовой кожи, ослепительная — белая — рубаша, вышитая малорусским красным узором, запрягана в необычайной гоголевской ширины шаровары, ниспадающие до сапожных лаковых носков, на груди на солидной золотой цепочке массивные золотые часы «с двуглавым орлом, личный Государев подарок, — говорил Крандиенко, — в память тех дней, когда я плавал на «Штандарте»...» (Да, вероятно, врал?).

Странна была наша встреча.

Я сидел на табуретке, он вошел, сел на угол стола и заболтал ногою.

— Ага, пожаловали в нашу гостиницу, — заговорил он с ярким малорусским акцентом. — Добре, добре. Тут у нас на нарах иногда ночует развеселая компания. Но как только надумаете бунт или побег — расстреляю к чертовой матери! Кстати, — продолжал он, — звонила по телефону ваша супруга. Спрашивала, какие вещи вам требуется привезти?

Я начал перечислять:

— Папиросы, спички, четыре свечки, мыло, одеколон, десять бумаги, перья и чернила и т.д., и т.д., и т.д. ...

— А еще что?

— Красного вина, хотя бы удельного.

— Сколько? Полбутылки? Бутылку?

— Ну, бутылки две, самое большее три... Ну, еще ночное белье и постельное.

— Так и передадим. А ананасов и рябчиков не желаете ли?

Я понял, что он издевается надо мной, и замолчал. Он посидел еще немного, рассеянно посвистал «виють витры», поболтал ногою и ушел. Потянулось скучное время дурацкого безделья. Солдат дремал, кивая носом, прислонившись к стене и опершись на ружье. Где-то близко за стеною наяривал без отдыха голосистый гнусавый фонограф.

— Кто это играет на граммофоне? — спросил я.

— А, тут наша матросня. Делать им нечего, так они целый день заводят эту машину да подсолнухи лузгают.

И опять зеленая скука. Опять дурацкие нудные мысли. И вдруг снова приходит комендант Крандиенко, на этот раз с открытым и оживленным лицом.

— Можете выйти из этой буцыгарни и можете ходить, где вам угодно, по всему дворцу. Так приказал председатель трибунала. Да, и правда, здесь для вас темно и еще вошей можете набраться. Идите, ну. Спать будете на коврах, я и подушку вам устрою. С семьей вам не воспрещено видиться. А теперь прощу со мной уместе пообидать.

Еда у него была простая, но вкусная, сытная. Во время обеда привели ему каких-то мокрых грязных мужиков.

— Скобари? — закричал он на них.

— Точно так... Скопские мы...

— Сейчас же расстреляю к чертовой матери! Денисенко! Вестовой! Веди эту шпану на кухню и накорми,

а потом — в темную. У меня так, — обернулся он ко мне: — первым делом забочусь об арестованных, потом о служащих, а потом только и сам поем. Мое правило.

К вечеру, когда мы с Крандиенко пили чай, приехала моя жена.

— Ты жив?! — вскричала она, ощупывая мое лицо и вдруг накинута на коменданта.

— Что это за безобразие у вас творится? Я спрашиваю, как чувствует себя мой муж? А какой-то глупый осел бухнул мне в телефон: «Расстрелян к чертовой матери».

Крандиенко улыбнулся светло и широко, от уха до уха...

— Не сэрчайтэ, товарищ Куприна. Це я пошутковал трошки.

Посаженный в революционный трибунал, помещавшийся в бывшем дворце В. Кн. Николаевича Старшего, я мог бы свободно и беспрепятственно осмотреть все его роскошные помещения. Но никогда еще не чувствовал я себя ловко и уверенно, посещая чужие дома, покинутые их настоящими владельцами, хотя бы и много лет тому назад. Мне всегда в эти минуты приходило в голову тревожное ожидание: а вдруг придет сейчас истинный хозяин или его суровый призрак и скажет:

— А ну-ка, милостивый государь и наглый незнакомец. Не угодно ли вам будет немедленно убраться отсюда вон?

Вообразал я также, для параллели, что вот прихожу я в свой собственный одноэтажный домик, находя его настезь растворенным. И вдруг с неприятным изумлением натыкаюсь на неведомого мне посетителя, который, без всякого позволения, бродит по моим комнатам и беспечно заглядывает в мой кабинет и мою спальню, в мои альбомы и рукописи... И не от этой ли стыдливой неловкости стоит в музеях, церквях и старых замках такая тяжелая тишина, чуть тревожимая осторожным шепотом.

Потому-то я и отказался учтиво от развязных хозяйских приглашений моего сторожа Крандиенки посетить вместе с ним верхние роскошные этажи.

Зато я охотно воспользовался его разрешением работать за огромным письменным столом, посреди упраздненной приемной, окруженной широкими скамьями из поддельных текинских ковров.

— Почему знать, — думал я, — сколько еще дней, а то и недель придется просидеть под этим, навязанным мне, кровом?

И если удастся свободно поработать здесь, на новом месте, то уж лучше, по старой писательской примете, начать сейчас же, чтобы потом не подпасть злым духам медлительности, лени и скуки.

Разложив на зеленом столе свои письменные принадлежности, я обмакнул перо ном. 86 в чернила и на белом, приветливо свежем листе вывел большими буквами:

«Однорукий комендант».

Крандиенко заглядывал мне через плечо, нагибая боком голову и кося глазом, как ворона на кость. Вдруг он сказал:

— Та я же-ж не однорукий, а зовсім с двумя руками.

— Это не про вас, — ответил я. — Про вас будет потом, лет так через пять-шесть. А теперь очередь другого коменданта. Тут от вас, в двух шагах — Петропавловский собор. И в нем царская усыпальница. Так вот, в ограде этой усыпальницы похоронен сто лет назад герой многих славных войн, впоследствии комендант Петропавловской крепости, Иван Никитич Скобелев. Был он в бесчисленных сражениях весь изувечен. Левую руку ему начисто отрубили, а на правой осталось всего два с половиной пальца. Оттуда

и прозвание: «однорукий». И завещал он перед смертью, чтобы положили его за оградой усыпальницы, головою как раз к ногам великого императора Петра Великого, перед памятью которого он всю жизнь преклонялся.

Крандиенко выпустил изо рта огромный клуб дыма и воскликнул уверенно:

— О, це я знаю. Той Скобелев, що воевал с турком.

— Нет, больше с французами. С турками дрался уже его внук, Михаил Дмитриевич Скобелев, знаменитый «Белый генерал». О всех трех Скобелевых, о внуке, отце и деде, на днях очень много и очень хорошо мне рассказывал личный ординарец Скобелева-третьего, почтенный и милый старик. Так вот, пока мне здесь делать нечего и пока память еще свежа, я и хотел записать его слова.

Крандиенке стало скучно.

— Ну, да, конечно, — сказал он, едва удерживая зевоту. — А все-таки написали бы вы лучше за нашу великую революцию и за нашу героическую «Аврору».

— Не беспокойтесь, — сказал я, — история вас не забудет. А издали все-таки виднее.

Вечером он весьма заботливо постелил для меня постель на широкой ковровой скамье и сел у меня в ногах. Мы курили в темноте, а он рассказывал мне эпизоды из своей прежней жизни. «Вам, как писателю, это пригодится».

Рассказывал о том, как был актером в «малоросической» драме. Упоминал небрежно имена Занковецкой, Саксаганского, Садовского, Кропивницкого и Старицкого. Он даже напевал вполголоса куплеты из «Наталки-Полтавки»:

**«Ей, Наталко, не дровичся,
Ей, Наталко, не дровичся,
Забудь Петра ланця
Пройдоху поганця,
Схаменися,
Схаменися...»**

Пел он также какие-то отрывки из оперы «Запорожец за Дунаем» и пробовал декламировать монологи из пьесы «Глытай, абож павук». Но все это выходило у него плоховато. Ролей своих он окончательно не помнил или страшно перевирал их, а в пении так фальшивил, что, думаю, его не приняли бы ни в одну, даже самую захудалую театральную антрепризу. Ведь украинцы, как и итальянцы, рождаются на свет с верным слухом и с голосами, поставленными самим Господом Богом. Вернее всего было предположить, что Крандиенко перевидал в своей жизни все пьесы скудного и незатейливого малорусского репертуара и играл раза два-три в любительских спектаклях, все остальное выдумал из хвостовства.

Гораздо ярче и правдоподобнее вышел у него рассказ о хохляцкой свадьбе. Самое лестное, по его словам, но зато и самое ответственное положение в свадебном ритуале выпадало на долю сватавьев с невестинной стороны. Пока, обвязанные рушниками, они носили над невестою венец вокруг аналоя; пока на свадебном пиру они, не уставая, пели старые хвалебные песни и говорили самые восторженные речи в честь новобрачной — они бывали настоящими королями пира. Их благодарили, всячески ублажали, минутно целовали и обнимали, обливая водкой, дарили им платки, шарфы, вышивки для рубашек, полотенца и рукавицы.

Потом молодых уводили в каморку, и тогда веселье на час ослабевало, становилось напряженным, натянутым. Всего неувереннее чувствовали себя невестины сватавья. Через час в каморку заходили две почтенные старые свахи и вскоре возвращались назад, держа торжественно в руках вещественные доказа-

тельства. Обыкновенно в этом случае гульба вспыхивала в удвоенных размерах. Сватавьев опять принимались целовать, обливая водкой. Снова им дарились отличные домотканые изделия. Гуляли весь этот день, а случалось, и на другой, и на третий. Всем свадебным поездом ходили по деревне, нося на высоком шесте красную рубашку, кричали горько, целовались с прохожими, опять пили и пели:

**Ой, упала,
Ой, упала,
Звезда с неба красна,
Звезда с неба кра-а-сна.**

Но случались изредка маленькие недоразумения, вследствие которых пирувание сразу расстраивалось, молодой мрачно и молчаливо сидел в углу, отец невесты трепал волосы и жене, и дочери. На шест надевался дырявый глиняный горшок и воздвигался над крышей. Бывало, что невестины ворота мазались дегтем. Но сватавьев в этих случаях неизбежно били (отняв у них предварительно все роскошные подарки), и били так крепко, «що треба бувало швидче утикати до дому».

Потом Крандиенко стал болтать что-то невнятное о своем друге Деревенко, о яхте «Штандарт», о своих часах с орлом, об Ораниенбауме, и о том, как Государь однажды нашлапал маленького наследника за то, что тот, не слушаясь увещаний дядьки и вопреки запрещению доктора, лазил по деревьям. А мальчик держался молодцом: закусил нижнюю губу и ни пик-ник. Потом подошел к матросу и сказал, протягивая ручонку: «Прости меня, Деревенко».

Потом проскользнуло точно в глухом тумане имя Великого Князя Михаила Александровича, и больше я уже ничего не слышал, потому что бухнулся в глубокий сон, как камень в воду.

Проснулся я, как мне показалось, через секунду. В матросской комнате уже наяривал крикливый гнусавый граммофон. Весенний радостный свет лился в громадные зеркальные окна, такой чистоты, что их как будто совсем и не было. Выпуклая, многоводная синяя Нева несла тяжелые волны, дрожа от напряжения своей могучей силы. Надо мною стоял Крандиенко.

— Вставайте, товарищ. Пора умываться и чай пить. Пришло распоряжение отправить вас после обеда к следователю.

Сам не знаю, почему, может быть, как темный отголосок вчерашней ночной болтовни коменданта, у меня вдруг всплыло в уме имя Великого Князя Михаила Александровича и моя недавняя статья в его защиту от большевистских утеснений, напечатанная в одной из тогдашних бесчисленных летучих газет, не то в «Эхо», не то в «Эпохе». Статья совсем невинная, в ней положительно не к чему было придраться. Правда, я вспомнил одну забытую мною мелочь, на которую я раньше почти не обратил внимания: в конце этой статейки была сноска, в которой оба редактора — Муйжель и Василевский (Небукава) — заявляли, что они печатают этот фельетон своего постоянного сотрудника, оставляя, однако, его содержание на ответственности автора. Не эта ли глупая и трусливая приписка обратила на себя внимание новорожденной, а потому неопытной <...> советской цензуры?

За чаем Крандиенко вел себя как-то странно и загадочно. Он все постукивал ногтями по столу и потом мычал многозначительно:

— Да... Н-н-да... Такая-то штука... Н-н-нда... Такого-то рода вещь... Дас...

— Что это вас так тревожит, господин комендант? — спросил я.

— Нехорошее ваше положение. Можно прямо сказать — пиковое положение. Н-н-да.

Я промолчал.

— Читали вы сегодняшнюю газету?

— Нет еще. Не успел.

— Так вот, нате, читайте своими глазами: вчера был убит вашими контрреволюционерами, проклятыми белогвардейцами, наш славный товарищ Володарский. Комиссар по делам печати. Понимаете ли? — И он произнес с глубоким нажимом: — Пе-ча-ти!.. А эта история вам не жук начихал. Н-да-с. В плохой переплет вы попали, товарищ. Не хотел бы я быть на вашем месте.

Я улыбнулся, но сам почувствовал, что улыбка у меня вышла криворотой.

— А что? Расстреляют?

— И очень просто. К чертовой матери. Не буду скрывать, товарищ: мне вас очень жалко, вы человек симпатичный. Но помочь вам, согласитесь, я ничем не могу. А потому примите мой дружеский совет. На допросе говорите следователям одну истинную правду, как попу на духу. Ничего не скрывайте и ничего не выдумывайте. Тогда, наверно, вам дадут снисхождение.

— Да за мной нет никакой вины!

Он махнул рукой.

— Э! Все так говорят... Пойду-ка я до ветра.

Еще сидя в трибунале и потом, уже на свободе, дома, я много раз задумывался над сумбурною личностью Крандиенки и долго не мог понять ее, пока не решил, что мой пестрый комендант просто-напросто крикливая разновидность столь распространенной в России породы дураков. Человек он был очень неглупый, по-хохлацки хитрый, наблюдательный и не лишенный юмора, пожалуй, даже добросердечный, но в то же время бестолково упоенный безграничностью своей власти, слепо верящий в высоту своего положения и весь проникнутый насквозь ярой служебной ревностью. Его свирепые окрики, его страшные угрозы, его наборная ругань, его хвастливый цинизм — все это были лишь наезженные, <...> приемы, грубая самовлюбленная актерская игра.

Переведенный впоследствии, после закрытия трибунала, в одну из главных петербургских тюрем в качестве коменданта, он нередко, по моим запискам, давал свидание своим заключенным с их родными, разрешал «передачу». О нем в Питере и его окрестностях составлялась репутация «зверя». Но очень могло быть, что она сложилась благодаря привычным громовым угрозам Крандиенки «расстрелять к чертовой матери в течение четырех секунд!». Но возможно и то, что, незаметно для самого себя, крикливый комендант под конец так глубоко выигрался, вжился в свою роль, что этот театр и взаправду сделался его настоящей жизнью. В начале нашего знакомства с ним я предполагал было, что задача Крандиенки заключалась в том, чтобы под маскою доброго общения, маленьких услуг и бесцеремонного свободного разговора выудить и выдоить из меня какие-нибудь веские сведения, но вскоре бросил эту мысль как вздорную. <...>

Тяжело влачились эти четыре, пять часов. Я — человек храбрости средней. В чем меня будут обвинять — я почти совсем не знал. А тут еще бурливый Крандиенко с его расстрелом к чертовой матери и Володарский, которого убили так не вовремя.

Расстрелять, думаю я, конечно, не расстреляют, в крайнем случае запрячут куда-нибудь на год, на два... Но дурацкие разговоры со следователем!..

Пробовал я писать — ничего не выходило. Курил до горечи во рту. Ходил взад и вперед по большой светлой комнате, которая казалась невыразимо скучной. Крандиенко не появлялся, точно был сердит на меня. За стеною, не умолкая, надрывался, хрипел, сипел и гнусил проклятый граммофон. От обеда я отказался.

Наконец в исходе четвертого часа (считал по дальним часам Петропавловской крепости) быстро вошел Крандиенко и сухо сказал:

— Пожалуйста к следователю на допрос.

И тотчас же крикнул в матросскую комнату:

— Эй! Кто очередной? Веди арестованного к следователю! Живо!

Повел меня наверх необычный матрос. Был он высок ростом и массивно широк как в плечах, так и от груди к спине. Вероятно, он обладал исключительной физической силой. Но ничего типически матросского в нем как будто не замечалось. Не было ловкой, чуть медвежьей морской выправки. Голова его, немного склоненная набок, была как бы немного приплюснута, точно неудачно выпеченный ржаной каравай.

— Ну, что же? Пойдемте, — сказал он лениво.

Мы стали подниматься по задней, черной лестнице. Она была железная, узорчатая и винтообразная, со многими площадками. Над каждой площадкой гордо красовалась мощная рогастая голова зубра, а снизу висела золоченая дощечка с надписью, когда и где был убит зверь.

— Что за прекрасное животное! — обратился я к матросу.

— Очень, — ответил он небрежно. — К сожалению, вырождаются. Нуждаются в искусственной прикормке и в человеческой помощи. Дурацкая барская затея. Скоро их не будет ни одного.

Он поправил на боку деревянный кобур маузера. (К чему ему было брать оружие? Он свободно мог бы прихлопнуть меня ударом кулака.)

Мы пришли в небольшой скромный кабинет, выходящий окнами на Неву. Следователь показал мне на место против себя. Матрос сел сбоку в кресло.

Странный был следователь. Точно из сказок Гофмана. Казалось, что лицо его было грубо вырезано из мореного дуба и вставлено в темно-серый костюм. Неподвижные глаза глядели, но в них не было никакого выражения. Он был похож на мертвеца, поздно вынутого из могилы, или на тех спокойных католических великомучеников, деревянные изображения которых так часто встречаются в каплицах Юго-Западного края, поставленных на перекрестках дорог. В голосе его не было никакого тембра. Фамилия его была Самойлов. Говорили, что он из румын, из той страны, где до сих пор водятся загадочные вурдалаки.

Он пошевелил бумагами, порылся в них и разглядел один газетный лист.

— Вот эта статья, — спросил он бесцветным голосом, — озаглавленная «Михаил Александрович», не вами ли она написана?

— Мной.

— Единолично или в сотрудничестве с другими лицами?

— Одним мною.

— Что же вы хотели этой статьей сказать?

— Да ведь в статье все сказано. Вы ее, конечно, прочитали?

— Прочитал или не прочитал — это другой вопрос. Мы желали бы только знать, какие мысли или идеи хотели вы внушить широкой публике посредством вашей статьи?

— Совсем я ничего не хотел. Мне просто стало стыдно за представителей нового режима. Зачем они подвергают Великого Князя таким незаслуженным

оскорблениям, унижениям и стеснениям? Он простой и добрый человек. Он совсем не властолюбив. Наоборот — у него отвращение к власти. Он родился в высокой царской семье, но душою и всеми помыслами он истинный прирожденный демократ. Он бесконечно щедр. Он не может видеть нужды, чтобы не помочь ей немедленно. Наездники Дикой дивизии обожали его, называя «наш джигит Мишя». Он женился без разрешения престола, на женщине, которую полюбил, и был за это долго в опале. Когда отрекшийся Государь оставил власть в его руки, он первый сказал: я последую воле народа. Он редкий, почти единственный человек в мире по чистоте и красоте души и т.д. и т.д. Я процитировал ему всю статью мою наизусть и закончил словами: вот и все.

Настала тишина. Он долго, очень долго глядел на меня своими неглядящими глазами. Лицо его не изменилось. У меня было такое же тревожное и брезгливое чувство, которое невольно испытываешь, оставшись один на один с тихим сумасшедшим.

Вдруг он очнулся.

— Итак, — равнодушно сказал он. — Из ваших слов я могу вывести только одно заключение: что вы не только ненавидите, но и презираете установленную пролетарскую народно-рабочую власть и ждете взамен ее Великого Князя Михаила Александровича, как бы архистратига Михаила, стоящего с огненным мечом. Не так ли?

Мне хотелось сказать ему: «балбес», но я ответил уныло:

— Да какая же здесь связь?

И опять мы скучно замолчали. Я обернулся на матроса, моего проводника. Он сидел с кислым, но смешливым лицом, щурясь, курил папиросу. Я вспомнил, что забыл свой табак внизу, и попросил: одолжите покурить.

Он охотно и предупредительно дал мне папиросу и зажег спичку. И еще прибавил другую папиросу про запас.

Мы опять довольно долго говорили со следователем, но у нас по-прежнему ничего не выходило. Я очень был обрадован, когда он наконец сказал:

— Можете идти. Все равно: все ваши уловки, обходы и разные хитрости вам не помогут. Правосудие все равно доберется до ваших гнусных замыслов.

Мы медленно спустились вдвоем по узкой железной лестнице, часто останавливались на площадках. Слабо светили перегоревшие электрические лампочки. Зубры выставляли вперед свои грозные крутые рога.

— Что? Не особенно понравился вам следователь? — спросил вдруг матрос.

— А вам? — спросил я.

— Да, конечно, ишак карабахский, «трепло», как говорит наша матросня. Да ничего, придут и настоящие работники. К нам все придут.

— Вряд ли.

— А не придут — сами их нарожаем, новых. Какие чудеса делал Петр.

— Во имя Родины, — возразил я. Беседа с ним начала меня интересовать. Он говорил вовсе не так, как говорил бы рядовой матрос. Я с удивлением ловил в его спокойной речи и стройность оборотов, и привычную вежливость, и верный выбор необходимых слов.

— Да. Я отлично помню, — сказал он. — «А о Петре ведайте, что ему жизнь не дорога: жила бы только Россия. Ее слава и благоденствие». Может быть, я путаю немного текст. Во всяком случае, слова прекрасные и сказаны твердо, навеки. Но посудите сами, какую же непомерную тягу взвалил он на себя, чтобы чуть-чуть сдвинуть инертную, сонную Россию с мертвой точки. И притом один. Совсем один. Но ведь, поймите, товарищ, Петры Великие не повторя-

ются, а вся сила русского Петра заключалась в том, что он был большевик, как были большевиками Иван Грозный, и Павел Первый, и Марат, и Наполеон, и Степан Разин. Большевик — это не партия и не политическое убеждение. Это — вера и метод. От нас, большевиков, теперь, — если ответить присосавшуюся к нам жадную сволочь, — триста тысяч человек, а скоро нас будет миллион. Петрова гигантская задача будет для нас детской игрой. Киндершпиль. Мы революционируем весь земной шар, создадим во всем единую коллективную власть, но власть не ради власти, а ради высокого счастья всех будущих человеческих поколений. При таком задании кто же будет плакать о разбитых горшках!

— Знаю, знаю, — возразил я нетерпеливо. — Старая шарманка. Коммуны, фаланстерия, одинаковая пища, одинаковое платье, а чтобы отличать женщин от мужчин, клейма М. и Ж. на спинах. Общие спальни. Надзор за человеческим приплодом. Все творчество в пении «Интернационала». Рай под заряженными ружьями. Господи, как надоели эти жалкие фантазии. Сто первый опыт производится над живым человеческим мясом. Да вы, прежде чем лезть устраивать всемирное счастье, восстановили бы свою собственную Родину, вдребезги растоптанную проклятой войной. И какое в самом деле глупое безумие было вызвать революцию во время войны. Какое преступление перед Родиной.

— Не сердитесь, — спокойно сказал матрос. — Вот вы все родина и родина. А скажите мне, что такое родина? Я этого совсем не понимаю.

— Да вы где сами-то родились?

В его голосе послышалась улыбка, когда он ответил:

— В России. По рождению чистокровный и чистопородный русак. Вот, ваша фамилия мне давно известна, позвольте же представиться и мне: Георгий Семенов-Ольшанский.

Я поглядел удивленно и недоверчиво на грязного матроса с фамилией, известной всей России. Но он продолжал с мягкой улыбкой:

— Нет, не думайте, что это псевдоним. Это моя самая настоящая, самая законная фамилия. И все-таки нет у меня никакого чувства родины. Говорят, она тянет к себе какой-то неземной силой. Нет. Приходилось побывать мне за границей, почти повсюду, и никогда я тяги этой не испытывал. И, пересекая пограничную черту, все равно в Эйдукуне, Вержболове или Границе, никаких теплых слез на глазах я не чувствовал. Но вам я не могу не верить и без всякой шутки прошу вас: объясните мне, что такое Родина?

— Родина? Она вот что... — сказал я и на минуту задумался. — Родина — это первая испытанная ласка, первая сознательная мысль, осенившая голову, это запах воздуха деревьев, цветов и полей, первые игры, песни и танцы. Родина — это прелесть и тайна родного языка. Это последовательные впечатления бытия: детства, отрочества, юности, молодости и зрелости. Родина — как мать. Почему, смертельно раненый солдат, умирая, шепчет слово «мама», то самое имя, которое он произнес впервые в жизни. А почему так радостно и гордо делается на душе, когда наблюдаешь, понимаешь и чувствуешь, как твоя Родина постепенно здоровеет, богатеет и становится мощной. Нет. Я все-таки говорю не то, что нужно. Чувство Родины — оно необъяснимое. Оно — шестое чувство. Детские хрестоматии учили нас, что человек обладает пятью чувствами.

— Зрением, слухом, обонянием, осязанием и вкусом, — подсказал матрос.

— Так. Ну, а вот родина — это шестое чувство, и природа его так же необъяснима, как и природа первых пяти.

Матрос сказал искренно и с оттенком печали:

— Но вот, нет и нет у меня этого чувства. Вероятно, я уж так и появился на свет уродом, как бывают слепые и немые от рождения.

— А может быть, у вас просто притупилось это чувство от частых размышлений об «Интернационале».

— Может быть, — сказал он серьезно.

— А вот мы уже и пришли. Не хотите ли зайти к нам в дежурную. Граммофон послушайте.

— Ну, нет, эту машину я терпеть не могу и уже наслушался ее досыта. А вот не найдется ли у вас какой-нибудь книжки? Предчувствую, что долго не засну в эту ночь. Растревожил меня ваш следователь.

— Пожалуйста. У нас есть маленькая библиотечка. Книжки очень хорошие: Маркс, Энгельс, Каутский...

— О, нет, спасибо. Эти сочинения не по мне. Слишком умно. Мне что-нибудь попроще.

— Так не могу же я вам предложить такую вещь, как Робинзон, например.

— Ах, голубчик, эту-то самую книжицу мне и надо. Какая прелесть. Я ее, пожалуй, лет уж десять не перечитывал.

Он уныло покачал своей сплюснутой головой.

— Что ж! Ваше дело. А то, право, взяли бы хоть Либкнехта. Он полегче будет. Ужасно мне обидно, товарищ К., что вы от нашего лагеря сторонитесь. Мимо какого великого дела проходите. Работали бы с нами заодно. И честь вам бы была и слава.

— Что поделаешь! Не могу. Этой самой родиной болен. Не по пути нам.

— Та-ак. Ну, входите в нашу хату. Милости просим.

Матросы сидели вокруг ревущего граммофона, курили и грызли подсолнухи. На мой полупоклон они кивнули головами и больше уже не обращали на меня внимания.

Из учтивости прослушал я со скукой несколько пластинок и хотел уже уходить, как поставили новый номер и из широкоразвернутой медной трубы полился стройный, тягучий, нежно-носовой, давно знакомый мне, но позабытый многоголосый мотив. Чем дальше развертывалась несложная, но захватывающая милая мелодия, тем ближе и слаще и знакомее она для меня становилась. Но вспомнить, где я ее слышал, мне все еще не удавалось.

Наконец, граммофон закозлил, заикал и остановился. Матросы стали догадываться:

— Может быть, это варган, — говорил один, — я вот такой однажды в трактире слышал.

— А может, эхто вовсе волюнка.

— Не похоже. Эхто, должно быть, не играют, а поют. Какие-нибудь старожены поют...

Я вдруг вспомнил и сказал:

— Не играют и не поют. А это дудят владимирские рожечники. Поглядите — на пластинке, наверное, есть надпись.

Оказалось, что я не ошибся. Надпись там гласила «Владимирские рожечники». Никто из всей компании во Владимирской губернии не бывал и рожечников не слышал, и мне пришлось о них рассказывать.

Я тогда, лет двадцать тому назад, обмерял лесные площадки в некоторых волостях Меленковского уезда Владимирской губернии. Народ во всей губернии здоровый, крепкий и состоятельный. Большинство о крепостном праве и не слышали, происходили от государственных крестьян. Мужики редко дома бывали. Работали по городам, больше плотниками и мукомолами, а также сады арендовали. Деревни их были богатые. Рогатого скота множество, да не только ярославского, но и холмогорского, и даже симментальского. Выпасы огромнейшие. Заливные и поймен-

ные луга. И сено у них было замечательнейшее. Про свое сено меленковские так хвастались: «Кабы наше сено, да с сахаром, так и попададь бы ела».

Каждая деревня сколько скота-то выгоняла? Голов триста, четыреста, а то и пятьсот! Деревни огромные были, многолюдные. Довольно того сказать, что наемный пастух от общества, в среднем, по более пятисот целковых за лето получал. Жалование прямо министерское! Расходы у него были только на собаку, да на подпaska, да на коровьи лекарства. Харчил же он дарма: в каждой избе по очереди.

Летние дни ужас какие долгие. Волки летом телят не режут, боятся людей потому, что на полях круглый день работа; к ночи же скот в хлева загоняют. Что им, пастухам, целый день от скуки делать? Вот и плетут они лапти. Где березового лыка надерут грубого, а где попадетса и липовое; оно куда мягче и на ходу ногу веселит. На разные способы ухитрились ковырять кочедыком, но хитрее плетения не было, чем мордовское. Недаром даже такая поговорка составила про людей, которые сами себе на уме: «прост-то ты, милый, прост, а только простота твоя, как мордовский лапоть, о восьми концах».

А еще пастухи, от нечего делать, собирали на дорогах всякие разные ходячие напевы для своих дудок. Ох, на проезжей дороге чего только не наслушаешься! Идет солдат отставной на родину — поет. Ямщик продольный катит — поет. Цыганский табор тащится — и там песня. Ребята деревенские вернутся к осени из Москвы или Питера — опять новые песни. Прежде ведь вся Русь бродила и пела... А у пастухов уши-то привычные, захватистые. Всю жизнь пасут они на широких просторах. Им не в труд, а в удовольствие новый напев поймать. Были и такие молодцы, что сочиняли песни от себя, да еще умудрялись играть их на два, а то иногда и на три голоса: инструменты у них были — самый тонкий и чистый свирель; погуще и попечальнее жалейка, потом еще дудка, а самый главный рожок: из коровьего пустого рога его мастерили, и бывали они разной величины и разных ладов. Иной уж надо было называть не рожком, а рогом.

На обширных смежных пастбищах, случалось, встречались пастух с пастухом и давай играть друг перед другом на разные голоса. Коровы обступят их, смотрят черными мокрыми глазами, а потом давай разбредаться мало-помалу вширь, пока пастух не выпалит из пастушеского кнута и не закричит звонко: аря! аррря! А собаки давай коров за ноги кусать, только никогда чужую не тронет, а непременно свою норовит погугать. Так и сведут свой скот опять в кучу.

Начинали пастухи свою работу после Юрьева дня, в конце апреля, а кончали осенью после Покрова. Тогда и расчет получали: от полтинника до рубля за голову. Куда они потом девались, в каких щелях зимовали, кажется, никто не знал.

Но был у них один почтенный старый обычай: окончив пастьбу, надо было прежде, чем разбрестись по домам, обязательно завернуть в богатое и большое село Меленковского уезда — Сербово в положенный пастушеский день, в который искони веков, год за годом, происходили состязания между искусниками играть на рожках и жалейках.

Я и сам видел этот праздник. Очень занятно!

Воскресенье. Ясный холодноватый денек, небо тоже холодное, синее, без единого облачка. В полях тихо и пусто, все выкошено, сжато, свезено в амбары. Белье паутинки, «бабье лето», плывут в воздухе. Боком-боком бежит и крутится «перекати-поле». Тишина...

Послал Бог урожай. Сладко отдыхает мужик, отирая вспотевшее почерное лицо. Благодать!...

По всем дорогам, ведущим в Сербово, тянутся пастухи так разряженные, что их и не узнаешь. Белый армяк надет только на одно, на левое плечо, а с правой стороны волочится рукавом до земли. Шляпы новые, поярковые гречушником, поля повязаны яркими лентами. Идут, длинными коровьими бичами щелкают, как из ружей палят.

Так и сходятся они не спеша в селе Сербове у знаменитого каменного колодца, выкопанного, говорят, за тысячу лет до нас, в ту пору, когда русские христианством еще не просветились, а были язычниками... Эна, с каких годов повелись пастушеские дни!

Сойдутся они и рассядутся; кто по краям колодца, кто на старой каменной замшелой скамье, кто просто на гладко убитой земле. А тут их обступят кругом сельчане, впереди старики.

Раньше, говорят, на пастуший день издали приезжали любители рожечной музыки. Не только из Владимирской губернии, но, сказывают, из Сергиева Посада, из Хотькова и даже из Костромских краев.

Ну, сначала, конечно, тары-бары, степенные хозяйственные разговоры, про скот, про рожь, про овсы, про озими... Потом уж, как-то сама собой появлялась и водочка и бублички на заедку. Мужик после урожая щедрый бывает. Впрочем, пьют в этот день не безобразно, а с толком, умеренно, чтобы не испортить праздника. По-настоящему-то пастухи выпьют завтра, на росстанях, и пойдут по домам, покачиваясь.

А тут, глядишь, два подпaska заиграли. Один на свирели, другой на жалейке, и так ловко друг к дружке приладились, что радостно слушать, до чего у них чисто и нежно выходит. А затем уж и большаки вступят. Потом и у стариков ноздрю разьест. Играют и поодиночке, и вдвоем, и втроем, и вчетвером. А старинные песни ведут все полным хором. Например: «Долина, моя долинушка, раздолье широ-о-о-о-кое». Старинчатая, славная песенка... Тут уж мужики и бабы начинали оделять рожечников небольшими подарками: кому кумача кусок, кому трубку для махорки или кисет, кому варежки вязанные, кому онучи теплые... А день уже спадает, спадает...

Дни теперь укоротились, зато ночи длинной становятся. Солнышко село за село. Закат малиновый, небо в зелень ударило и на нем звездочка серебряная задрожала. Пахнет по всем улицам молоком парным; коровий навоз гвоздичкой отдает. Дымом и варевом тянет изо всех труб. Ужинать пора. Дети уже по домам разбежались. Зовут рожечников ко столу. «Милости просим нашего хлеба-соли откушать...»

— Вот и все,— заключил я.— Простите, что не больно ладно рассказал. И доброй ночи вам. Позвольте-ка мне моего Робинзона.

Я ушел в свою большую комнату. Я уже предвидел, что мне очень долго не заснуть; сел у окна и растворил его широкие рамы и залюбовался на потухавший вечер. Прямо передо мною, на той стороне Невы, возвышался красный дом английского посольства, освещенный ярко уже не видимым для меня вечерним заходящим солнцем. Казалось, что весь он был построен из тонкого полупрозрачного сердолика и освещен изнутри, как в праздник, тысячами огней. И тут же я заметил удивительную волшебную особенность зеркальных стекол огромного окна: когда я медленно поворачивал правую раму, то передо мною так же медленно проплывал, отражаясь в стекле, левый берег Невы, а когда левую — то правый. Прошел мимо меня, отраженный в чистом зеркале буровато-зеленый Литейный мост и деревянный Дворцовый и высокорослый Троицкий, и прекрасные линии Николаевского. Между мостами проходила вся прелесть и все изящество Петербурга, этого красивейшего из мировых городов: роstralные колонны Биржи, Академические Сфинксы, купол св. Исаакья

Далматского, Петропавловский шпиль и Адмиралтейская игла, и вздыбленный конь под Великим Всадником, и легкая красная громада Зимнего дворца, и спокойно-воздушный белый силуэт Смольного института...

Совсем близко и слева от меня простирался Летний сад с часовенкой впереди. Весь он был молодой, еще сквозной радостной зеленью. С его статуй уже были сняты зимние досчатые покровы, и они стыдливо белели сквозь нежный убор весенних еще клейких листьев.

И внутри зеркала Летний сад казался как будто бы глубже, четче и интимно-волшебнее, чем в действительности. Кабачки-поплавки тихо качались у причалов, и в них уже зажигались огни.

«Эх! Хорошо бы было поесть там раков!» Легонький невский пароходик пыхтел, собираясь отойти оттуда, и финский мальчуган-юнга кричал на всю Неву пронзительным и ужасно высоким голосом:

— Аттекари Отрови!!!

И я подумал с завистью: «Вот на Каменном

я бывал и на Стрелке тоже, а Аптекарского не удалось видеть. Ах, поехать бы туда сейчас в этот тихий чудесный вечер, который никогда не повторится».

Большая тень беззвучно стала сзади меня. Я обернулся назад. Это был тот самый странный матрос, который назвал себя Семеновым-Ольшанским.

— Простите, что потревожил вас,— сказал он мягким тоном, так идущим к этому тихому вечеру.— Прекрасную вы себе устроили панораму, Александр Иванович. А я вот все думал и передумывал о вашем чувстве к родине. Что оно такое, в самом деле: зоологическое ли влечение или, в самом деле, особое тонкое, шестое чувство, не всякому доступное и легко исчезающее? Нет, я еще продумаю этот вопрос.

— С Богом,— сказал я и пожал его руку. И до самой той поры, когда вышел на небо узкий серебряный челнок молодого месяца, влекшего за собою на невидимом буксире малую серебряную звездочку, мы сидели, глядя на богосную Неву и на засыпающий Петербург.

«Я ГОТОВ ПОЙТИ В МОСКВУ ПЕШКОМ...»

У Куприна мы знаем, кажется, все.

Собрания его сочинений переиздаются не менее часто, чем самых знаменитых классиков XIX века.

Но и этот, досконально изученный писатель представлен у нас не полностью.

Не переиздавались более семи десятилетий его великопленные литературные пародии — на Бунина, Горького, поэта Скитальца. Множество ярких очерков, статей, рецензий рассеяно по периодике, особенно предреволюционных и, конечно, эмигрантских лет. И самое главное: существует несколько художественных произведений Куприна, все еще ждущих своего часа.

Все они написаны в эмиграции и несут на себе отсвет определенной тенденции, для эмигрантской литературы вообще очень характерной. Это, к примеру, повесть «Купол св. Исаакия Далматского», посвященная мучительной «одиссее» Куприна, в ходе которой он оказался в занятой белыми Гатчине, далее — редактором газеты «Привнесский край» у генерала Юденича, а в итоге — за кордоном. Это рассказы «Извозчик Петр», «Принцесса дурнушка», «Лесенка голубая». Это и предлагаемое вниманию читателя «Шестое чувство», автобиографическое произведение, рассказывающее об обстоятельствах ареста писателя в июне 1918 года органами петроградской ЧК.

На событиях, предшествовавших и последовавших за этим арестом, давайте кратко остановимся.

Февральская революция 1917 года застала Куприна в Гельсингфорсе, откуда он немедленно выехал в Питер. В потрясенную страну перемен он увидел подтверждение своим мечтаньям о будущей, свободной и сильной России. С самых первых «дней свобод» Куприн становится темпераментным газетчиком-публицистом, а вскоре вместе с критиком П. Пильским берется редактировать эсеровскую газету «Свободная Россия». Одной из главных партий, претендующих на то, чтобы после февраля управлять страной, — социалистам-революционерам было лестно и выгодно заполучить золотое перо Куприна.

Впрочем, взгляды Куприна как раз и укладываются в рамки эсеровской программы. Это видно и в его злободневных откликах на события в стране — заметках «Пестрая книга», которые он регулярно публикует в газете, и в крупных очерках, вроде напечатанного в двух номерах восторженного панегирика А. Ф. Керенскому «Сердце народное», и в скрытой, и явной полемике с большевиками.

Куприн высоко ценит нравственный и духовный подвиг русского народа, его героическую историю и свободолюбивые традиции. Он исполнен глубокой веры в светлое будущее России: «Нет, не осуждена на бесславное разрушение страна, которая вынесла на своих плечах более того, что отмерено судьбою всем другим народам, вынесла татарское иго, московскую византийщину, пугачевщину, крепостное бесправие, ужасы аракчеевщины и николаевщины, тягости непрестанных и бесцельных войн, начатых по почину деспотических шулеров или по капризу славолубивых деспотов — вынесла это непосильное бремя и все-таки под налетом рабства сохранила живучесть, упорство и доброту души. Угнетаемый народ никогда не уставал протестовать. Лучшие, наиболее сильные люди из темной массы снизу шли в подвижники, шли в разбойничьи шайки. Гонимые старообрядцы сплотились в могучее, сильное, несокрушимое ядро. Два перста протопопа Аввакума, поднятые вверх из пламени костра,— вот он, дух русского бунта. В Сибирь сылало правительство и гнали помещики все страстное и живое из народа, не мирящееся с колодками закона и безумным произволом власти,— и вот вам теперешние сибиряки, сыновья и внуки ссыльнопоселенцев — этот суровый, кражистый, сильный, смелый, свободолюбивый народ, владеющий сказочно богатым краем.

А разве, спрессованная бессмысленным грузом самодержавия, не протесовала русская интеллигенция? Не та интеллигенция, какую ее себе представлял скверной памяти бывший околотовный надзиратель, который отечески распекал нашумевшего обывателя: «А еще интеллигентный человек, в крахмале и при цепочке, и брюки навыпуск!» А истинные печальники и великомученики страны, ее совесть, и мозг, и нервы? Вспомните декабристов, петрашевцев, народолюбцев, переберите в уме весь кровавый синодик наших современников, борцов, сознательно погибших на наших глазах за святое и сладкое слово — Свобода. Посмотрите: весь цвет и свет России, целые ряды ее молодых поколений, ее лучшие умы и чистейшие души прошли сквозь тяжкое горнило каторги, ссылки, жандармских застенков, одиночек — прошли и вышли оттуда, сохранив твердую веру в человечество и горячую любовь к человеку. Вспомните и нашу многострадальную литературу, этот термометр угнетенного общественного самосознания. Она задыхалась, принужденная к молчанию, надолго совсем замолкала, временами жалко мелела, но никогда и никто не мог поставить ее на колени и приказывать говорить холопским языком...»

Но страшная разруха, надвигающаяся на страну, ужасает Куприна. Это навязчивое слово встречало его повсюду: он наткнулся на него в газетах, манифестах и приказах, в вагонных разговорах и семейной болтовне. Разруха уже стучалась в калитку его зеленого гатчинского домика: деньги ничего не стоили, скромные драгоценности жены Елизаветы Морицовой — брошка, серьги, три кольца, брелок и цепочка — были в ломбарде. Хорошо еще, друзья не

забывали Куприна. Как-то в Гатчине появился незнакомец, гнавший перед собой истощавшую корову. На недоуменные вопросы он отвечал, что это знаменитый борец Иван Заикин купил для Куприных корову и послал ее через всю Россию...

Зловещие симптомы разрухи Куприн видит повсюду — и в бесконечных очередях за хлебом, и в разложении петроградского гарнизона, обратившего казармы «в ночлежку и в игорный вертеп», и в шумной деятельности анархиста Мамонта Дальского, артиста с большим драматическим дарованием и с «темпераментом Везувия», совратившего и поведшего за собой, за своими бредовыми идеями горсточку безусой зеленой молодежи, и в начавшемся неуклонном развале русской армии, которой Куприн по-прежнему горячо желает победы.

Не понимая, что народ устал от войны, не хочет и не может ее продолжать, он резко осуждает участвовавшие случаи дезертирства, братания с немцами, отказа воевать. Особенно болезненно воспринял Куприн весть о том, что в числе полков, расформированных приказом военного министра за массовую неявку личного состава, оказался и 46-й Днепровский, в котором он начинал свою офицерскую службу.

С самого начала германской войны Куприн следил за судьбой 46-го пехотного полка и радовался его успехам: «Он участвовал в быстром натиске на Львов и Перемышль и в том легендарном безоружном, но безропотном отступлении, которое было вызвано предательством, продажностью, интригами и постыдным равнодушием власти. И вот теперь этот же полк выступил на позиции всего лишь в половинном составе. Где же причина такому позору? Живая страна может пережить все: чуму, голод, землетрясение, опустошительную войну, кровавую революцию, — и все-таки остаться живой. Но разложилась армия — умерла страна».

Куприн полемизирует с теми, кто желает поражения России в войне, не жалея крепких слов и именую своих противников «истерическими болтунами, трибунными паяцами, честолюбивыми мизантропами, сумасшедшими алхимиками». За военным крахом ему видится только полное разрушение, развал, пыль, мусор, обломки, щебень, а в итоге пустое дикое место, не поддающееся ни лопате, ни сохе. Идеи большевизма как таковые привлекают, даже восхищают Куприна. Но кажутся ему несвоевременными, утопическими. «Пусть учение Ленина в своей идеологии высоко, — писал он. — Но оно отворяет широко двери русскому бунту — бессмысленному и беспощадному».

С этих позиций Куприн воспринял Октябрь.

После переезда Советского правительства во главе с Лениным в Москву жизнь в Питере стала заметно мельче, провинциальней. Огромный имперский город, в который два столетия весь народ вкладывал разум, талант и силу, неуклонно терял значение духовного центра. Жизнь непрерывной струйкой вытекала из него. В Москву выехали Маяковский, Бунин, А. Толстой, на юге России оказались Аверченко, Волошин, Вертинский, Плевицкая, Тэффи, в Финляндии — Репин, Леонид Андреев, в Швеции — Рахманинов, в Америке — Анна Павлова...

Классовый сдвиг, вызванный Октябрем, непримиримым расколом прошла по телу России, разорвав, разъяв ее на куски. В Питере множились заговоры, гремели револьверы террористов, без устали работала ЧК. Против большевиков выступили прежде всего правые эсеры, с которыми недавно еще сотрудничал Куприн. Считая себя преемниками народо-вольцев, они объявили представителям новой власти террор. Правыми эсерами были и Сергеев, застреливший 20 июня 1918 года в Петрограде комиссара по делам печати Володарского, и Канегисер, убивший 30 августа руководителя питерской чрезвычайки Урицкого, и Каплан, в тот же день ранившая в Москве Ленина.

Председатель петроградского Совдепа Г. Е. Зиновьев, в свою очередь, осуществлял крайне суровую даже для тех тяжелых условий политику репрессий. Производились широкие аресты среди дворянства, чиновников (саботировавших работу), офицерства, промышленников, инакомыслящих ученых, духовенства. Закрывались оппозиционные буржуазные газеты, которые появлялись на короткое время вновь под разными названиями — «Эра», «Эхо», «Петроградский листок», «Молва», «Вечернее слово». Замирала театральная жизнь. Погасли нарядные витрины магазинов и ресторанные вывески.

С особой, обостренной болезненностью восприняла суровые революционные события русская интеллигенция. Колесбалас Горький; в редактируемой им газете «Новая

жизнь» велась резкая полемика с большевиками. В литературной среде тем, кто сотрудничал с новой властью, не подавали руки, от них отворачивались на улице. Поэтесса Зинаида Гиппиус, непримиримая к новым порядкам, мрачно острела: «Говорят, к Блоку в квартиру вселили красногвардейцев. Хорошо бы — двенадцать!..»

Зима 1918 года принесла голод, холод, сыпняк. Петроградские квартиры, лишенные электричества и воды, походили более на пещеры («Пещера» — так и назвал свой рассказ об одной из таких квартир Е. Замятин). В бывшей столице теперь оставалось менее половины населения. Но еще хуже было в маленькой Гатчине, наводненной беженцами, солдатами, рабочими, мобилизованными на строительство оборонительных сооружений.

С болью и грустью наблюдал Куприн, как замирала в Гатчине жизнь, как пустели улицы, как приходили в упадок дворцы, несмотря на старания назначенного большевиками комиссаром музея И. П. Кабина. Куприн ревниво относился ко всему, что было связано с любимым городом, даже если речь шла о великом князе Михаиле Александровиче, морганатическая жена которого Брасова проживала в Гатчине. О личности великого князя он много слышал от француженки Барле, которая обучала языку его дочь Ксению и детей Михаила Александровича.

Относясь с явной, откровенной антипатией к фамилии Романовых, считая, что они «мстительны, властолюбивы, неблагородны, двуличны, жестоки, трусливы и вероломны», Куприн выделял Михаила Александровича, видя в нем человека простецкого и честного, восхищаясь его твердым отказом принять российский престол после отречения Николая II. «Я последую воле народа...» И когда он услышал, что революционные власти арестовали Михаила Александровича, то выступил в его защиту на страницах газеты «Молва».

Статья «Михаил Александрович» для той поры выглядела настолько странно, дон-кихотски нелепо, что редакторы «Молвы» Муйжель и Василевский-Небука сочли необходимым сопроводить ее припиской: «Помещая эту статью А. И. Куприна, редакция оставляет ее на ответственности высокоталантливого автора». Ответом был арест Куприна органами ВЧК. Заключение оказалось недолгим. Уже 4 июля 1918 года в редактируемой Амфитеатровым газете «Вольность» появилась заметка «Освобождение Куприна». В июле того же года в Петрограде был расстрелян великий князь Михаил Александрович.

Первым печатным выступлением Куприна после заключения был очерк памяти комиссара по делам печати М. М. Володарского «У могилы». «Володарский, — отмечал Куприн, — ведя войну с оппозиционной печатью, выступал ее публичным обвинителем, не ища личных выгод и не имея в виду личных целей. Он весь был во власти горевшей в нем идеи. Он знал, что противник искуснее его в бою и вооружен лучше. Но он твердо верил в то, что на его стороне — огромная и святая правда». О мучивших его вопросах Куприн, как всегда, высказывается искренне и прямодушно. «Большевизм, — пишет он, — в обнаженной своей основе представляет бескорыстное, чистое, великое и неизбежное для человечества учение. Он вовсе не помрачается оттого, что его мысли перешли в дело не вовремя...»

В эту пору Куприн делает заметные шаги к сотрудничеству с новой властью: он участвует в созданном Горьким издательстве «Всемирная литература» и разрабатывает программу издания народной газеты для крестьянства «Земля». С этой целью он выезжает в Москву и 26 декабря 1918 года добивается приема у В. И. Ленина.

При всех несомненных достоинствах план газеты «Земля» страдал распылчатостью позиций автора, пытавшегося встать «над схваткой», и выглядел во многом наивным в условиях разгоравшейся гражданской войны. Тем не менее рассматривавший этот вопрос председатель Моссовета Л. Б. Каменев не нашел нужной меры и такта в разговоре с Куприным. В присутствии Демьяна Бедного он в грубой форме раскритиковал план газеты «Земля» и предложил Куприну подвал в журнале «Красный пахарь». Куприн послал Каменеву письменный отказ. На книге, подаренной художнику Н. М. Гермашову, у которого он остановился, писатель сделал надпись, где день визита в Моссовет назвал «самым тяжелым днем своей жизни». Вдобавок были арестованы деньги, предназначенные для издания «Земли». Приходилось возвращаться домой ни с чем...

Судьба Куприна была решена, когда в его Гатчину 16 октября 1919 года вошел головной Талабский полк белого

генерала Глазенапа. На допотопном станке — «верблюде», как называл его Куприн, с помощью двух наборщиков он печатал яростную антибольшевистскую газету, в которой твердилось о близкой победе Юденича. В каждом номере появлялись пространные сочинения генерала Краснова, писавшего под псевдонимом Гр. Адъ (Град было имя его любимой лошади). «При, Невский край!...» — призывал генерал.

Война, которую белые вели против целого народа, была обреченной. 21 октября, получив подкрепления из Москвы, 7-я и 15-я армии красных перешли в широкое контрнаступление, угрожая заключить в мешок белые части в районе Гатчины. Начался неудержимый откат Юденича в сторону Ямбурга, а затем Нарвы. Сменяющими друг друга кадрами кинематографа стремительно промелькнули для Куприна: короткое сотрудничество в «Приневском крае», Старая Нарва, Ревель, Хельсинки, Париж...

В эмиграции Куприн написал несколько значительных вещей, прежде всего роман «Юнкера» и повесть «Жанета», десятка два рассказов. Однако силы и писательские, и человеческие в нем стали быстро убывать. Об этом, в частности, писал мне близко знавший его писатель Б. К. Зайцев 31 декабря 1961 года из Парижа: «Если бы Вы к нам приехали, я бы рассказал Вам забавное о Куприне в Югославии, где мы были в 28-м году, на съезде эмигрантских писателей и жили с ним рядом (комнаты рядом), в отличном отеле. Он с 7 часов утра требовал себе пива. Старушка горничная, хорватка-католичка, с ужасом рассказывала мне об этом — а притом от короля Александра ему присылали из дворца дорогие папиросы. Это ее поражало. Но все-таки был тогда уже его закат. Он был старенький, слабый, хмелел от одного глотка и т. п.». Встретивший его в 1934 году на парижской улице Бунин «внутренне ахнул»: «И следа не осталось от прежнего Куприна! Он шел мелкими, жалкими шажками, плелся такой худенький, слабенький, что казалось, первый порыв ветра сдует его с ног, не сразу узнал меня, потом обнял с такой трогательной нежностью, с такой грустной кропотливостью, что у меня слезы навернулись на глаза».

Но в этом изможденном, больном и, видимо, уже не способном к писательской работе человеке неистребимо жило «шестое чувство» — любовь к родной земле, к Родине. «Вот понятие — Родина, — размышлял он за рубежом. — Каким оно может быть зверино-узенским и до какой безмерной, всепоглощающей, самоотверженной широты может оно вырасти.

Я знал любовь к ней в самой примитивной форме — в образе ностальгии, болезни, от которой умирают дикари и чахнут обезьяны. С трехлетнего возраста и до двадцатилетнего — я москвич. Летом каждый год наша семья уезжала на дачу: в Петровский парк, в Химки, в Богородское, в Петровско-Разумовское, в Раменское, в Сокольники. И, живя в зелени, я так страстно тосковал по камням Москвы, что настоятельнейшей потребностью, — потребностью, которую безмолвно и чутко понимала моя покойная мать, — было для меня хоть раз в неделю побывать в городе, потолкаться по его жарким, пыльным улицам, понюхать его известку, горячий асфальт и малярную краску, послушать его железный и каменный грохот...

А теперь болезнь потеряла остроту и стала хронической. Живешь в прекрасной стране, среди умных и добрых людей, среди памятников величайшей культуры... Но все точно понарошку, точно разворачивается фильма кинематографа. И вся молчаливая, тупая скорбь в том, что уже не плачешь во сне и не видишь в мечте ни Знаменской площади, ни Арбата, ни Поварской, ни Москвы, ни России...

Это пронзительное признание (одно из многих у Куприна в эмиграции) и объясняет смысл рассказа «Шестое чувство». Не жалобой на пережитую несправедливость или запоздалым желанием свести счеты выглядит он, но одухотворенной мыслью о месте Родины в душе человека. И именно это, «шестое чувство» понудило писателя на склоне своих дней, 31 мая 1937 года, вернуться уже в новую, Советскую Россию.

В Париже, на Северном вокзале, перед тем как сесть в московский поезд, Куприн сказал:

— Я готов пойти в Москву пешком...

Олег МИХАЙЛОВ

Поэзия



Мария
СТЕПАНОВА

Дебют в
«ЮНОСТИ»

15 лет, ученица 9-го класса

☆☆☆

А полотеры, говорят,
Во сне катаются на швабрах.
Полы натерты блестя,
И свечи тают в канделябрах.

На Сенатской

...А может быть, мы будем все убиты
Там, на Сенатской, рано на заре.
С рассветом вновь порозовеют плиты,
С рассветом вновь построятся каре.

Вновь на гиганте проступают пятна,
Зеленые, как августовский лист...
Мы смотрим на Неву, и мне приятно,
Что белый снег пока от крови чист.

Ты ежишься. Для северного ветра
Что курточка, что ментик, что шинель.
Какой-то звук томительный. Наверно,
Там, в вышине, поет виолончель.

Нам надо постоять еще немного,
Чтобы потом окрасить кровью снег.
Но уж сквозит к небытию дорога,
И жизнь свой краткий ускоряет бег.

...И это совершится утром рано,
И вспоминать нас будут много лет.
Но кто потянет первым из кармана
Тяжелый старомодный пистолет?

☆☆☆

Круглый стол, четыре стула,
Две тарелки на стене...
В доме все давно уснуло,
И не спится только мне.

Раздвигает занавески
Неба летнего простор,
Стаи звезд в мерцанье резком
Ткут таинственный узор.

И разыскивать не скучно
В этой роскоши густой
Двух медведей неразлучных
В звездной роще золотой.



Александр
ЛАВРИН

☆☆☆

Нас развело, как стрелки на часах,—
Когда еще сойдемся, неизвестно!
Будильник сломан, и ночник погас,
И думать о бессмертии нечестно,

Поскольку скрыла эта темнота
Глаза, и лоб, и первые морщины,
И между нами — только пустота,
Расколота нитью паутины.

И день, и ночь — все выпало из рук,
Как только крикнул петел за рекою...
Пока мы спали, нас заткал паук!
Рассохлась мебель! Выцвели обои!

И странно мне: неужто я живу
Иль кем-то вписан в чудную картину?
С дивана встав, задену паутину
И серебро живое оборву.

☆☆☆

Одни грозят страданиями и пеклом,
Другие зондом тычут в небосвод...
Но если Иов посыпает пеплом
Свою главу, тот пепел не умрет.

Захлопнув Книгу, выдохнем: не с нами!
Утешимся, но темен небосвод:
Мы все горим — невидимое пламя
Бушует в нас, как в Риме дикий гот.

И потому печаль моя высоко
Витает в небе, но превыше тот,
Кто ока не потребовал за око,
Но выпил чашу, пролил смертный пот.

И знаю я: еще и до Гомера
Один исток, а в нем один исход —
Не пепел павший прорастет, а вера,
А вера в то, что пепел прорастет.

☆☆☆

Пролетели, как вешние воды,
Коммунальные годы мои,
Коммунальные годы свободы,
Несвободы и странной любви,
Нам завещанной старым поэтом,
Дерзким юношей с детским лицом,
Что скользит по Москве силуэтом
То Тверской, то Бульварным кольцом.
Я не видел его, но откуда
Эта глупая вера в судьбу,
В невозможное, дикое чудо,
В золотую на небе трубу?

Вывру с мясом замки и пружины.—
Заходите, владельцы судеб!

Мы поделим года и морщины,
Хлеб острога и лагерный хлеб.
Двери дома распахнуты ветром,
Столб грозы над Москвою стоит
И сто первым гудит километром,
Воркутою, Интою гудит.
Что мне дело — чужие обиды,
Что мне радости в счетах чужих,
Но зарницы высокой планиды
И в моих закромах, и в моих!

Рельс

В огороде ржавый рельс
Пролежал четыре года,
Молчаливый, как процесс
Постарения народа.
Хладнокровный, как металл,
Оставался он металлом —
О пожаре не вещал
И на бунт не призывал он.
Я поставил на попá
Этот старый рельс железный...
Нет, природа не глупа,
Есть и в ней процесс полезный!
Все, что брошено людьми —
С умыслом или случайно,—
Исчезает, черт возьми,
Словно в Азии Украина!

☆☆☆

За кирпичным заводом бараки,
Сколько помню, стоят и стоят —
Поножовщина, пьяные драки
Да орда прибалтийских ребят.
«Дай полтинник, чувак!»

И трясешься,
Шаришь в узком кармане рукой.
Дай полтинник всего — и спасешься,
Полетишь, как ракета, домой.
Вот оно, это таинство жизни,
Подарили тебе — и живи,
И слезами неожиданными брызни,
А на помощь людей не зови,
Не торгуйся — ведь ты не на рынке,
Да и щель от небес до земли
Нет, не шире, чем лезвие финки,
И закатом сверкает вдаль!
Так и было, поверьте, поверьте,
Только сам я поверить боюсь:
Неужели и вправду от смерти
Лишь полтинником я откуплюсь?

☆☆☆

На землю пикирует ангел небесный
В глубокой ночной тишине,
И только один октябренок безвестный
Полет его видит в окне.
Как будто бы звездочка, с неба сорвавшись,
С алмазным сияньем летит,
И падает, бедная, не удержавшись,
И вспыхивает, и горит.

☆☆☆

Сиротство памяти не нам —
Тому, кто впрямь осиротел:
Детей оставил по углам
И сам остался не у дел.
Кто сам с собою говорит —
И все одно, и все одно,
Кто ночью в зеркало глядит,
Как узник в узкое окно.
Пусть он не любит никого,
Не здоровается, приходя,
Но если память для него —
Как пуповина для дитя?
И если мир совсем иной,
Куда уходят налегке,
Ему горит за нашей тьмой,
Как снег на зимнем большаке?

☆☆☆

Что ты молчишь, моя провинция?
Просты грехи твои, просты:
Переборщила здесь милиция,
А там прохожего в кусты
Два хулигана затащили,
Избили, сдернули часы...
Так, значит, коромысло или
Закон нейтральной полосы?
Или возьмем себе больницу —
За десять верст, за тыщу лет
Ни добежать, ни дозвониться,
Но ходит в знахарях сосед.
На всяку щель найдется шпатель,
А, может быть, сочтется так:
Покроет матом председатель,
А ты — песочку в бензобак!
Да и наступит час расплаты,
И в Судный день ударит гром, —
Так вы ни в чем не виноваты
И перед Божеским судом:
Пускали пыль в глаза и пели,
И воду в ступе толочили.
Но вы любили и терпели,
И к мертвым на могилы шли.



Илья
ФОНЯКОВ

Военная баллада

(Рассказ фронтовика)

Снова мне видится, снова мне снится,
Снова мне чудится, будто в бреду,
Как отступать нам пришлось от границы
В черные дни, в сорок первом году.

Без командиров — лесами, борами,
Где там свои — впереди, позади?
— Эй ты, очкарик с тремя кубарями,
Карту умеешь читать? Выводи!

Шли врассыпную разбитые части,
Воздух в июле был жарок и сух.
— Братцы, так я ж по хозяйственной части!
— Брось!.. Нам других тут искать недосуг!

В грудь упирается ствол пистолета:
— Скромничать некогда, мы на войне!
Десять секунд у тебя для ответа:
Хочешь — командуй, не хочешь — к сосне!
Школьный учитель, бухгалтер ты или,
Может быть, врач или даже скрипач,
Даром вас, что ли, чему-то учили?
Вот тебе компас — веда и не плачь.

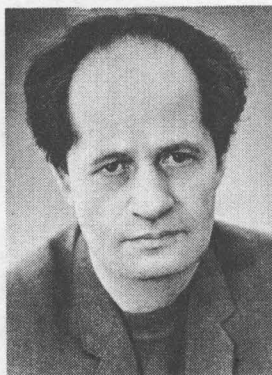
Будешь для нас ты и ротным, и взводным,
Выведи только по тропам лесным
К нашим окопам и кухням походным,
Пусть к трибуналам — да только б своим!

...Гатей глухих пулеметные ленты,
Стрелки трепещущее острие —
Так постигали мы, интеллигенты,
Высшее предназначенье свое.

Танцплощадка

Я был в том мире лишним и случайным,
Лишь малость потоптался на краю.
Не там я приобщался к вечным тайнам,
Не там судьбу отыскивал свою.
Но помню: круг бетонной танцплощадки
Прямым и жестким светом озарен.
Кленовых веток черные перчатки
Протянуты к нему со всех сторон.
Местечко здесь опасное отчасти:
Иной предпочитает сделать крюк.
Но девушки в бесстрашной жажде счастья,
Как мотыльки, летят на свет и звук.
Как мотыльки, а может быть, как птицы?
Я помню, словно было все вчера,
Серьезные, решительные лица.
Не до игры. Какая там игра!

г. Ленинград



Риталий
ЗАСЛАВСКИЙ

☆☆☆

Душой не покриви ни ради славы,
ни ради жалких конъюнктурных благ.
В конце концов с тобой леса, и травы,
и небеса, и птицы, и овраг.

Уж это при тебе до самой смерти —
никто не заслонит, не отберет,
оно твоё — при всякой круговерти,
оно твоё — среди любых забот.

Оно шумит, летает, оседает,
блестит, трепещет, бьется и горит,
и душу невозможным не сдает,
и ни за что на свете не корит...

С возвращеньем!

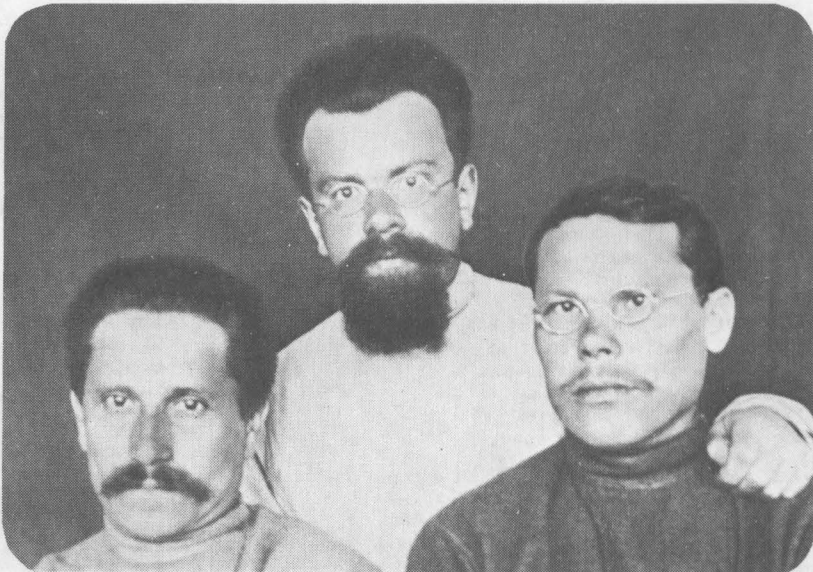
Возвращались. В снегу седины...
Без бумажника, без чемодана.
Кто пораньше — со страшной войны,
Кто попозже — из Магадана.
Мчатся рельсы, и выются шоссе...
Дорогое мое поколение!
Посидим. Помолчим. С возвращеньем!
Мы-то знаем: вернулись не все...

1955

☆☆☆

Когда от шума ты отвык
и сам смежаешь очи,
как странно странной птицы крик
услышать среди ночи.
Зачем кричать ей в эту тьму,
будить себя и бога?
Понять хочу — и не пойму, —
о чем ее тревога
О чем вещает голос тот
среди густого лета,
и ждет, а может, и не ждет
случайного ответа?

г. Киев



Владимир
АМЛИНСКИЙ

«НА ЗАБРОШЕННЫХ ГРОБНИЦАХ...»

Сначала — из «Чтеца-декламатора» моего детства.

Опять я склонился к зеленой сосне.
Вдруг серые волки подкрались ко мне:
Раскрыли клыкастые пасти —
Вот-вот растерзают на части!
Не мог шелохнуться от ужаса я...
Мамочка, мама, голубка моя!

Но Сталин узнал, что в лесу я стою,
Разведаль, услышал про гибель мою
И танк высылает за мною,
И мчусь я дорогой лесною.

.....
Мамочка, мама, голубка моя!
Настежь открылись ворота Кремля,
Кто-то выходит из этих ворот,
Кто-то меня осторожно берет,
И подымает, как папа меня,
И обнимает, как папа меня.
И сразу мне весело стало!
...А кто это был?
Угадала?

Да, мы угадали, узнали избавителя. Мы кричали самозабвенно, как только дети могут, действительно забыв обо всем на свете, объединенные порывом веры и восторга, единичного и всеобщего поклонения, какой-то особой, словно бы возвышающей нас зависимости и преданности... Да, эта зависимость и преданность в те годы, казалось, не унижала, а, наоборот, приподнимала, вела куда-то вверх, в небесную высь, и ломкими голосами мы снова и снова восклицали: «Да здравствует...!!!».

(Автор этих стихов, «Колыбельной», известный детский поэт Лев Квитко, был уничтожен в начале 50-х годов.)

Для одних отрезвление пришло рано, в конце 20-х годов, для других приходило трагически и беспощадно в 30-х и 40-х, для поколения, к которому принадлежу я, после знаменитого доклада на XX съезде в 1956 году, когда мы были студентами... Для поколения. Но для меня, пожалуй, несколько раньше. На то были свои семейные причины. И о них я еще скажу. Для других отрезвление пришло еще позже. Для иных — никогда.

Мое поколение помнит фильм «Падение Берлина», где его играл Геловани, там он выходил из самолета к народам, как Бог, благословляющий и карающий,

После Александровского централа,
на поселении в Усолье. 1912 год.
Справа — В. А. Анисимов.

такой близкий и узнаваемый, такой всемогущий и далекий.

Менялись времена, многое проступало, обозначалось, но не было сказано до конца. А он шагал из ленты в ленту все эти годы, десятилетия, иногда чуть более суровый, даже жестковатый, немножко даже жестокый (критика «культа личности» и т. д.), но все же почти не ошибающийся, со своей негаснущей трубкой, мудро вопрошающий, сурово приказывающий. Таким был его образ все эти годы, даже после XX съезда. Таким видели его в 70-е, 80-е и, забыв о многом, встречали аплодисментами часто как память о своей юности, нередко из протеста к тому, что происходило в повседневности...

Таким и остался он на кино- и телеэкране, только теряя природные свои черты, становясь все более рослым (когда-то его играл Геловани, потом Дикий, потом Закариадзе). В последней ленте Озерова о битве за Москву, совсем уже непохожий на него актер с непохожим на его реальным акцентом, с резкими движениями, непохожими на те, которые сохранили для нас скупые кадры кинохроники.

**Спасибо вам, что в годы испытаний
Вы помогли нам устоять в борьбе.
Мы так вам верили, товарищ Сталин,
Как, может быть, не верили себе...**

Да, в детстве моем его хриплый голос с неизжитым, несмотря на долгую жизнь в Москве, акцентом тихо, но внятно звучал сквозь шорохи эфира. Он величественно шутил: «Будет и на нашей улице праздник», — и простые, ясные, шутливые эти слова любимой им пословицы звучали как откровение.

Я изменил свое отношение к нему еще до 56-го, когда узнал о судьбе своего деда. Это был первый толчок, первый удар, первая трещина в очеловеченно-гранитном памятнике. Потом посадили трех моих товарищей по литкружку в Доме пионеров. Борису было восемнадцать, Владику — девятнадцать, Сусанне — семнадцать.

Мы, их друзья, написали ему письмо о чудовищной несправедливости. Но нам сказали их родители: «Не надо. Уже были письма, а ответа пока нет. Уже несколько раз писали ему. Ждем, что Сталин разберется».

Шел пятьдесят первый год. Разобрались в пятьдесят втором. Бориса и Владика расстреляли, Сусанне дали 25 лет (был тогда такой срок).

В материалах следствия фигурировал и мой разговор с Сусанной о Бухарине. Бухарин интересовал меня и тогда, каким-то чудом осталась его брошюра, подаренная деду. Мне повезло, возраст спас, шестнадцати еще не было, хотя и четырнадцатилетних брали, но судьба миновала...

Борис и Владик казались взрослыми, о многом думали, о многом говорили, об истории давней и недавней, говорили не совсем так, как это было принято, обсуждали судьбы людей, чьи портреты в книгах и учебниках были замараны. Вот в чем их вина. Очень любили литературу. Накануне тех зловещих дней они подарили мне на день рождения сборник вовсе тогда не модного Афанасия Фета.

Когда пришли за Сусанной, она сказала: «А как же, у меня завтра контрольная! Ведь скоро выпускные экзамены».

Они были молодые люди, в сущности, еще дети. Но для тех, кто фабриковал их дело, они не имели возраста, не имели родителей, не имели судьбы, не имели будущего, было только «предудуманное преступное» прошлое, а в настоящем — ожидание конца и невозможность защитить себя, что-то объяснить. Никогда это не уходило из моей памяти. Даже для тех суровых времен приговор, вынесенный студенту-первокурснику Московского пединститута, студенту 2-го курса мединститута в Рязани, десятикласснице и их товарищам, «агентам трех иностранных разведок», поражал своей абсурдной жестокостью... Но он был вынесен и приведен в исполнение.

Сусанна, пройдя через одиночки Лефортово, оказалась в лагере в Потьме. Первая весточка от нее кружным путем пришла ко мне в 53-м году, через несколько месяцев после смерти Сталина. В 55-м ее освободили, амнистировав, но не реабилитировав.

В 56-м, в институте, затаив дыхание, мы слушали текст доклада Хрущева... Рядом со мной сидел Боря Андроникашвили, сын расстрелянного писателя Бориса Пильняка.

...Прошло чуть более десяти лет. Тема была исчерпана

и закрыта, все сказано. Все точки поставлены. У человека, олицетворившего культ, были и недостатки, и неприятные стороны, но... В целом он был велик... В целом... Счет с прошлым был закрыт.

Но он существовал и множился, мешая настоящему, офальшивливая будущее, потому что недосказанная правда, полуправда становится уродливым соединением, компромиссом с ложью, более ханжеским, а потому более оскорбительным, чем сама ложь.

После публикации моей повести «Оправдан будет каждый час...» (повесть об отце и его времени) я получил очень много писем от потомков тех людей, чья жизнь, как принято у нас говорить, оборвалась в 37-м году (иногда раньше, иногда позже). Авторы этих писем, сыновья и дочери ученых, общественных деятелей, прошли через детприемники, через ссылку. На всей их юности да и на части взрослой жизни стояло клеймо — сын или дочь врага народа.

Он сказал: «Дети за отцов не отвечают». Фраза благородная и оттого особенно страшная своим нечеловеческим лицемерием, своим цинизмом.

Он был мастером фраз. «Нам при жизни памятников не надо». Таков был смысл его сентенции по поводу пьесы «Батум» Булгакова. Это когда вся страна уже была в памятниках... «Кадры решают все», — говорил он, истребляя ленинскую гвардию, кадры инженеров и художников, военных и хозяйственников.

Главная его черта — бережное отношение к кадрам, забота о детях, о каждом человеке в нашей многонациональной стране.

Иногда он говорил о себе в третьем лице: «Я хотел бы заверить вас, товарищи, что вы можете смело положиться на товарища Сталина. Можете рассчитывать на то, что товарищ Сталин сумеет выполнить свой долг перед народом». Это из его выступления в Большом театре на собрании избирателей Сталинского избирательного округа Москвы накануне выборов.

И еще он сказал под гром оваций: «Никогда в мире еще не бывало таких действительно свободных демократических выборов, никогда. История не знает другого такого примера».

А был год тридцать седьмой.

В его начале свершился февральско-мартовский Пленум ЦК, решивший судьбу Бухарина, Рыкова и еще многих, многих людей, имевших прямое отношение к так называемому «право-троцкистскому блоку», косвенное, в подавляющем большинстве — никакое.

На каждом предвыборном выступлении каждого из руководителей — кандидатов в депутаты — были грозные, пугающие, карательные ноты (с известной степенью дифференциации).

На торжественном в честь двадцатилетия Октября заседании все в том же Большом театре В. М. Молотов говорил о Бухарине, Рыкове и других: «Банда разведчиков, убийц и вредителей, с которыми надо поступать так, как поступают со злейшими врагами народа. Всей этой дрянью, сколько бы ни нанимали ее на службу иностранные разведки, мы, конечно, прижмем хвост... В этом мы видим одно из условий, от которых зависит спокойная работа и успех нашего соревнования с капитализмом на главных фронтах... В нашей стране создается невиданное раньше внутреннее моральное и политическое единство народа. Моральное и политическое единство социалистического общества». И он добавлял: «Морально-политическое единство народа в нашей стране имеет и свое живое воплощение... Это имя — символ морального и политического единства советского народа. Вы знаете, что это имя Сталин».

Живое воплощение было тут же, в президиуме, невозмутимое, как Будда.

В эту пору «невиданного ранее морального и политического единства» брали людей ежедневно, еженощно. Ежовский конвейер работал. Очищали Москву, другие города от «реставраторов капитализма» — старых деятелей революционного движения, беспартийных интеллигентов, рабочих — словом, охват был широк и всеобъемлющ.

Беспартийный кузнец-стахановец Горьковского автозавода Мокеев выдвигал в депутаты наркома внутренних дел, члена Политбюро Н. И. Ежова: «Всех революционных подвигов тов. Ежова невозможно перечислить. Самый замечательный подвиг Николая Ивановича — это разгром японо-немецких троцкистско-бухаринских шпионов, диверсантов, убийц, которые хотели потопить в крови советский народ... Их настиг меч революции, верный страж диктатуры рабочего класса НКВД, руководимый тов. Ежовым. Мы все как один в день

выборов 12 декабря вместе со своими семьями пойдем к избирательным урнам и будем голосовать за тов. Ежова!»

Моего деда взяли за шесть дней до выборов — 6 декабря тридцать седьмого. Дед Василий Анисимович Анисимов в начале века был депутатом II Государственной думы от Кузнецкого уезда Саратовской губернии. Он был делегатом V (Лондонского) съезда РСДРП... В 1907 году восемь депутатов Думы были приговорены к каторге с последующей пожизненной ссылкой. Каторжный срок дед отбывал в Петропавловке, в Петербургской пересыльной тюрьме, затем в Александровском центральном Иркутской губернии. Отсюда 8 мая 1910 года он написал письмо в Париж Ленину, с которым встречался в пору своей деятельности в Думе: «... Не хочется отставать от жизни, обидно выходить в тираж. Хотелось бы годы тюрьмы превратить в годы учения, проделывать ту теоретическую работу, которую не успели выполнить раньше. Хотелось бы выйти с лучшей подготовкой, с твердым мировоззрением... Нужно руководство, нужны книги... Если бы Вы время от времени писали нам об этом, для нас было бы большим благом».

Я писал о жизни, судьбе деда, о его конце. В романе «Нескучный сад» главку о деде сняли в последний момент. А в редких исторических публикациях о нем была двусмысленная, уклончиво-намекающая формулировка: «Жизнь оборвалась в тридцать девятом году». В одной из статей было написано вполне спокойно и умиротворенно: «Умер в тридцать девятом».

След исчезал, оборванный как бы капканом, у одних в тридцать седьмом, у других раньше, у третьих позже. Жизнь оборвалась, и все тут. Все они в конце концов обрываются.

Как он погиб, когда точно — я не знаю. И не узнаю уже, наверное, никогда. В справке о реабилитации, выданной матери, указан «1939 год». Срок приговора, вынесенный ему, — десять лет (без права переписки). Читай: расстрел.

На фотографии, выполненной в ссылке, его лицо с черными точками зрачков. Мне объясняли, что тогда не умели снимать глаз и ставили точку вместо зрачка. Но фотография прекрасная, твердая пластинка. Высокоблещущее лицо с широкими скулами, внимательно глядят глаза из-под пенсне с некоторым удивлением то ли перед таинством аппарата, то ли перед жизнью. Жизнь же Василия Анисимовича в отношении начале, в трудном, но понятном своем течении. Сейчас он в ссылке после ареста, после Петропавловки и Александровского централа. Здесь, в ссылке, относительная свобода после угрюмых, как бы чугунных одиночек. Здесь он встретится со своей будущей женой, изгнанной из Томского мединститута за революционные настроения и участие в маевке. В Усолье под Иркутском у него родится дочь. Он еще совсем не стар, почти молод, а сколько позади — и церковное училище, и институт...

Вперед неведомое, но ожидаемое, то, к чему готовился с юности, то, что для него свято, — преобразование жизни, преобразование страны, трудный поиск социальной справедливости, объединенности людей, а позади и горькие, и славы дни... Встречали его в Саратове, в Новокузнецке как духовного наставника, как народного вожака, воистину как защитника униженных и оскорбленных. Его несли на руках, а потом полицейские осведомители слали рапорты в III отделение: «Старик» выступил там-то» («Старик» — его партийная кличка), «Старик» встретился с тем-то». «Старик» родился в семье сельского священника, а семья была очень одаренная. Его брат стал крупным филологом, автором известного учебника русского языка и грамматики. Он взял другую фамилию: П. А. Афанасьев.

Вокруг «Старика» объединялись не только крестьяне, рабочие, студенты, но и священники, очень разные люди, пережившие в освобождение, в революцию.

И он готов был к будущим испытаниям и страданиям, хотя нельзя сказать, что все принимал без сомнений. Были у него и сомнения, и метания, особенно когда революция, о которой он мечтал, предстала более грозной, жестокой, опустошительной, чем ему виделось, чем он мог себе представить... Замыслы — одно, жизнь — другое. Некоторые товарищи пугали его не столько делами, сколько непрерываемой фразой, железной нетерпимостью, карающим пафосом. Впрочем, слова становились делами.

В революцию он был членом ВЦИКа, товарищем председателя Петроградского Совета. После революции еще один всплеск государственной и политической деятельности — участие в правительстве ДВР, он министр промышленности, борется против автономии, означаящей поглощение буферной ДВР Японией. Он отлично понимает, что будущее Даль-

него Востока и Сибири кровно, неразрывно связано с революционной Россией.

В тридцатые годы он отходит от политической деятельности. Теперь у него иные, более конкретные дела, более практические задачи.

Он возглавляет трест «Дальлес» — (весь лес Дальнего Востока и Сибири), руководит «Экспортлесом», работает зам. начальника экономического управления ВСНХ, читает лекции в Лесотехническом институте. Много душевных сил, внимания отдает Обществу политкаторжан и ссылнопоселенцев, уникальному объединению революционных деятелей России самых разных направлений... Там было много ярких, споривших друг с другом честных людей, преданных Отечеству...

В эти годы он и встречался с Н. И. Бухариным.

В 37—38-м Обществу было уничтожено.

Дед строил кооперативный Дом политкаторжан в Москве, в Машковом переулке, где я родился... Недолго суждено было прожить здесь и моему деду.

В декабре 37-го черный ворон, уже узнавший дорогу к этому дому, прилетел и за ним.

Мать рассказывала мне об этом впоследствии. Та декабрьская ночь стала первым кошмаром, трагическим и непонятным уроком в ее жизни. Опечатавали комнату, в которой стояла маленькая кроватка — я тогда болел. «Ребенка убирать!» — приказали они. Во время обиска с любопытством пришедшие смотрели на книги моего отца-биолога, особенно на одну — «Об уродствах». На обложке были изображены два сросшихся человека.

— Бывает и такое? — спросил один из них.

Мать молчала и смотрела на то, как они роются в книгах, и думала: «Неужели и такое бывает?..»

А в это время двое чекистов сопровождали деда в уборную.

— Я не убегу. Некуда да и незачем, — сказал он.

— Так положено, гражданин... Бывает, что и бегают, что и вешаются на гапстуках.

Это был новый круг, новый виток жизни, новый и после Петропавловки и Александровского централа.

Он ушел достойно, как и подобало мужественному человеку, немолодому и многое уже повидавшему. Достоинство — это единственное, что мог он пока сохранить. Все остальное — жена, дочь, внук, работа, свобода да и жизнь (как он догадывался) — отнималось навсегда.

Ушла машина привычным маршрутом, улетел черный ночной ворон.

А завтра в доме некоторые его товарищи говорили: «Может быть, у Василия что-то все-таки было? Не может быть, чтобы просто так». Другие твердо, как бы даже с ожесточением отвечали: «Ничего не было».

А ночью приезжали за теми, следующей — за другими.

Через год тем же крутым маршрутом пошла и бабушка. Пустел Дом политкаторжан, заселялся новыми людьми, а те, кто еще жил здесь, просыпались по ночам от звяканья лифтов и ждали ночного звонка.

И всю ночь напролет жду гостей дорогих, Шевеля кандалами цепочек дверных.

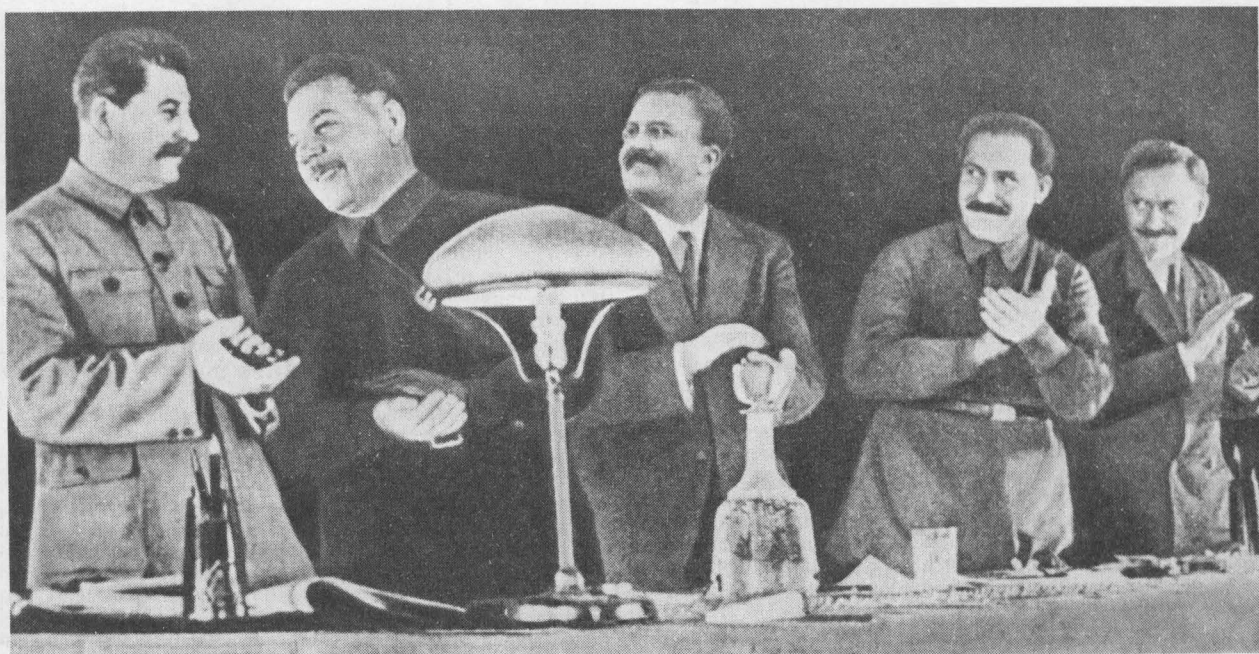
Уже был написан «Вертер», как сказано у поэта, уже снимался фильм «Великий гражданин»¹, а сам великий гражданин был застрелен по указанию самого великого гражданина. Уже написана была статья «Реставраторы капитализма и их защитники», уже взяты были ближайшие сподвижники Серго — Гвахария, директор Макеевского завода и другие. Уже «брали» в Наркомпросе у Крупской. Уже кончался год тридцать седьмой, юбилейный, двадцатый. Уже предопределена была судьба Бухарина.

В застенках погибали люди семнадцатого года. Но ошибется тот, кто скажет, что касалось это только партийных работников, людей, связанных с революцией. Нет, затронуло всех — врачей, интеллигентов, крестьян, атеистов, духовных лиц, руководителей промышленности, дипломатов и бывших изпманов. Тотальное уничтожение кадров Красной Армии напоминало сокрушительную агрессию врага.

Огонь пожирающий.

«Все люди спят, все звери спят, одни дьяки людей казнят». Это написал молодой Дмитрий Кедрин.

¹ В фильме «Великий гражданин» изображалась зиновьевско-бухаринская банда, физически устраивавшая партийного руководителя, великого гражданина (читай: Кирова).



Велик был огонь пожирающий, но и велика страна. Другую он пожрал бы, а у этой были огромные резервы — и физические, и нравственные. Сильна была идея, и слова, брошенные Александром Косаревым своим следователям, были правдивы: «Вы не Косарева губите, революцию губите».

Предстоит еще огромная работа — разобраться во всем, ничего не укрывая, не утаивая, в том, как это было, ибо последствия имели огромную силу, силу мощнейшего бумеранга, на долгие пространства лет брошенного вперед. Террор родил страх.

А страх приумножил то, что и мы сегодня пожинаем: неверие и недоверие, лицемерие и пассивность, трусость, желание и способность много раз менять свое мнение и свой взгляд, откровенное и скрытое приспособленчество, тупая нетерпимость и бессмысленный экстремизм. Все это отсюда, ибо инфекция, до конца не определенная, не изученная, не излеченная, все еще очень живуча и постоянно гниет в организме общества.

Трех наркомов, трех главных организаторов репрессий, «революционных подвигов», как сказал рабочий Мокеев, постигла одна и та же судьба. Нет, их жизнь не оборвалась, не было такой туманной формулировки. Все было сказано ясно и четко. Первым был расстрелян Ягода, через два года — Ежов, карлик на толстых подошвах, «любимый сталинский нарком», чья фамилия в определенные годы шла впереди других членов Политбюро. Есть фотография, где он с собачьей преданностью смотрит на Хозяина.

Но преданность понадобилась ненадолго, или точнее, ему отказали в праве на преданность. Он отработал свое, и с ним сделали то, что он делал с другими.

Затем на долгие годы его сменил Берия, человек в пенсне. Это имя стало символом жестокости, подлости, соединенной с чудовищной личной распушенностью, не стесненной даже показным пуританизмом предыдущих наркомов.

...Но людей уничтожали не только в тюрьмах и лагерях. Была еще и другая форма уничтожения, та глубокая психологическая, нравственная деформация, дух которой не изжит и сейчас.

Павлик Морозов, ставший героем; образ пионера-доносчика, которым воспитывали не одно поколение, — это не символ стойкости, классовой сознательности, а символ узаконенного и романтизированного предательства... Оно распространилось и ширилось. Трудящиеся в письмах и на митингах в 30-е, 40-е и позже единодушно клеймили всех и вся, левый зиновьевско-каменевский блок, блок правых уклонистов, инженеров-«вредителей», вейсманистов-морганистов, Зоценко и Ахматову, абстракционистов и т. д.

Уродовалось, ожесточалось человеческое сознание. Абстрактный, неклассовый гуманизм объявлялся чужеродным, вредным, мелкобуржуазным.

Не было добра и зла. Были классовое добро и классовое зло. И они могли меняться местами как угодно.

Были профессионалы, мастера обличений. сталинские марксисты типа академика Митина, были активисты-обличители из народа типа Лидии Тимашук, разоблачившей «врачей-убийц» в 1953 году.

В обличение вовлекались люди талантливые, и в иных ситуациях проявлявшие себя честно и храбро. К социальному психозу, к мании единогласного обличения примешивался страх за свою жизнь. Инквизиторские методы навязывались и тем, кто вовсе чужд был инквизиторской психологии.

Вот отрывок из статьи, написанной в дни процесса над Бухариным, Рыковым, над так называемыми право-троцкистскими уклонистами. Она называлась «Убийца с претензиями» и посвящена персонально Николаю Ивановичу Бухарину: «Другие убивали, вредительствовали, шпионили — он, следует понимать, по характеру натуры, по складу ума только мыслил, теоретизировал, «изучал» проблематику руководства. Но к прозаическим, грязным и кровавым делам прямого касательства не имел... Этакий гнусенький христосик в стане грешников. Этакая валдайская девственница в право-троцкистском публичном доме... Но кроме террора идеологического, кроме разговоров, измен, статеес и лозунгов, были террор и шпионаж вполне материальные. И к ним идеолог Бухарин имел прямое, конкретное отношение... Этот бандит ничем не лучше Шаранговича и Икрамова... Именно этого подсудимому Бухарину не хочется признавать. Но придется».

Автор статьи — блестящий, талантливый человек, классик советской журналистики, не боявшийся пуль и бомб в Испании, написавший мужественный «Испанский дневник», Михаил Кольцов...

В этой статье ярости и издевки, пожалуй, больше, чем полагалось для заказной обличительной заметки даже тех лет.

«Убийцу с претензиями», Николая Ивановича Бухарина, Кольцов наверняка знал и ценил. Это была статья об обреченном.

Но и автор тоже обречен. Вскоре арестуют и уничтожат его.

Надо знать о том, что было, ничего не упрощая, не спрямляя.

Ибо то, что не узнано, узнается, не договорено — скажется, только скажется по-другому, уже не желанием узнать эту самую историю в самых трагических ее поворотах, понять причины многих наших сегодняшних проблем и бед, а равнодушием, душевной пустотой, свободной от всего. Как

Сталин и его соратники: Ворошилов, Молотов, Каганович и Булганин в президиуме I Пленума Моссовета. Колонный зал Дома Союзов. 1935 год.

мы теперь отлично понимаем, равнодушие и непонимание прошлого не ограждают людей от конфликтов, а делают конфликты более болезненными, ведут к непониманию настоящего, к апатии и незаинтересованности в будущем.

Очищение общества — это в том числе и мужественный отказ от двусмысленности, от вялой недоговоренности, уклонения от ответа на все вопросы. Очищение — это жизнь. Замалчивание — это неуверенность, болезненность, слабость.

Та работа, которая предшествовала XX съезду и продолжалась после него, была остановлена как бы на полпути.

И вот результат. Культ личности, осужденный и заклеенный, вновь возродился в семидесятые годы. Возродился не в таких грозных, не в таких трагических, а часто даже в комических формах. Тем не менее он разлагал людей, мешал им работать, приучал к ханжеству, двосмыслию как форме существования. На фоне руководителя, навесившего на грудь все золотые медали, которые только были, получившего высшую литературную премию, на фоне новоявленного маршала, новоявленного вершителя судеб Второй мировой, как это утверждалось в произведениях документальных, художественных, в свою очередь, увенчанных высшими премиями, Старый Генералиссимус кое-кому показался истинным аскетом, «человеком в шинели», спавшим на походной койке, воплощением сурового, но справедливого порядка.

Портретики его на автомашинах были не только хвалой, одобрением и воспоминанием, но и вызовом.

Вызов не был понят. Новоявленный маршал со всеми регалиями воспринимался с какой-то еле скрываемой иронией при всех внешних почестях. Мы это хорошо помним и знаем. Почести стали обязательным, привычным ритуалом.

А появление на экране Генералиссимуса стало сопровождаться все более нарастающими аплодисментами. Тот, о злодеяниях которого еще недавно начали говорить открыто, вновь прочно утвердился в прежнем своем качестве. В книгах и на экране — мудрым, суровым хозяином, чьи преступления и ошибки ничтожны перед его заслугами. Забыли многие тысячи жизней, забыли старую истину, заключающуюся в том, что когда нацию насильственно лишают ее лучших людей — ученых, военачальников, инженеров, то теряется цвет нации, и дух ее вызывает опасение. Эту мысль высказал один из французских энциклопедистов. Он оперировал цифрой сто. Сколько погибло их у нас...

Наша страна, нация, государство, потеряв от рук своих же столько невосполнимых жизней, все же сохранила способность к очищению, обновлению. Сегодняшний этап нашей жизни — этому свидетельство. Обретя утерянное прошлое, мы обретаем утерянную веру. Но обновление — это осмысление прошлого до конца, изживание его в себе (я говорю не о славном — о страшном).

И сегодня трудно понять, как уживаются в наших энциклопедиях самого недавнего времени признание политической и государственной деятельности Вышинского и осуждение с пресловутыми формулировками Н. И. Бухарина (или полное отсутствие его: в Энциклопедическом словаре 1986 года есть только электросварщик, передовик производства Н. И. Бухарин).

В билетах госэкзамена по истории партии имя Бухарина возникает с прежними тяжкими формулировками. С тех пор, как писались эти строки, кое-что, конечно, изменилось, но о многом еще не сказано простая и внятная правда. Касается она не только Бухарина.

Не по учебникам мы знаем о «деяниях» главного обвинителя на трех процессах Андрея Януарьевича Вышинского. Мы знаем об этом по кровавым судбам не только отцов, но и детей, вычеркнутых из жизни за «преступления отцов».

Демагогические, немислимые по лживости и лицемерию обвинения с напором, с пафосом, с циническим неверием выдвигал интеллигентный по виду Вышинский. Нет, не видным юристом, не министром, международным деятелем останется он в памяти народной, а лже-обвинителем, профессионалом клеветы, лившим людям права на защиту. Их защита в глазах Сталина, Вышинского, Ягоды, Ежова, Берии могла состоять лишь в самооговоре и оговоре других. Но было много и тех, кто не предал себя, не пошел на самооговор. Их не «вывелили» на открытый процесс.

Прах Вышинского почтено покойся в Кремлевской стене.

Николай Иванович не заслужил даже последнего пристанища.

Только сейчас имя его стало появляться, все чаще возникать из небытия.

Недавно отмечался юбилей «Известий». Имя Бухарина неотрывно связано с этой газетой, главным редактором которой он был уже на излете своей политической карьеры.

16 января 1937 года в последний раз появилось имя Бухарина в «Известиях» как имя главного редактора.

Многое можно было бы сказать о Н. И. Бухарине. Но я пишу не исследование и не монографию, поэтому скажу то, что кажется мне наиболее важным.

Теперь широко известны слова Ленина из его завещания: «Бухарин не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также законно считается любимцем всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим сомнением могут быть отнесены к вполне марксистским, ибо в нем есть нечто схоластическое (он никогда не учился и, думаю, никогда не понимал вполне диалектики)».

Да, нечто схоластическое. Но при этом все-таки крупнейший теоретик партии.

А вот что говорил о нем Сталин: «Я знаю ошибки некоторых товарищей, например, в октябре 1917 года, в сравнении с которыми ошибка тов. Бухарина не стоит даже внимания... (...) И все же партия забыла об этих ошибках, как только эти товарищи признали свои ошибки. Но тов. Бухарин допустил в сравнении с этими товарищами незначительную ошибку. И он не нарушил ни одного постановления ЦК. Чем объяснить, что несмотря на это все еще продолжается разнужданная травля тов. Бухарина? Чего, собственно, хотят от Бухарина? ... Крови Бухарина требует? Не дадим вам его крови, так и знайте».

А 2 марта 1938 года «Правда» сообщала: «Перед военной коллегией Верховного суда СССР сегодня предстанет заговорщическая группа под названием «право-троцкистский блок». Далее в передовой «Троцкистско-бухаринским бандам нет пощады» говорилось: «Советский народ проклянет навеки этих извергов, навеки заклеит их отвратительные деяния. Они пролили кровь кристально чистого борца за коммунизм, пламенного народного трибуна С. М. Кирова... Это они злодейски оборвали жизнь гения нашего народа А. М. Горького... Они организовали злодейское убийство непоколебимых большевиков В. В. Куйбышева и В. Р. Менжинского... За все это злодеи должны держать ответ. Если враг не сдастся, его уничтожат, сказал величайший гуманист нашей эпохи А. М. Горький, павший жертвой подлых заговорщиков».

Через несколько дней генеральный прокурор А. Я. Вышинский допрашивал Бухарина.

Вышинский: Вы в Австрии жили?

Бухарин: Жил.

Вышинский: Долго?

Бухарин: 1912—1913 годы.

Вышинский: У вас связи с австрийской разведкой не было?

Бухарин: Не было.

Вышинский: В Америке жили?

Бухарин: Да.

Вышинский: Долго?

Бухарин: Месяцев семь.

Вышинский: В Америке с полицией связаны не были?

Бухарин: Никак абсолютно.

Вышинский: Из Америки в Россию вы ехали через...

Бухарин: Через Японию.

Вышинский: За эту неделю вас не завербовали?

Бухарин: Если вам угодно задавать такие вопросы...

Вышинский: Я имею право на основании Уголовного процессуального кодекса задавать такие вопросы.

Председательствующий Ульрих: Прокурор тем более имеет право задавать такой вопрос, потому что Вы, Бухарин, обвиняетесь в попытке убийства руководителей партии еще в 1918 году, в том, что Вы еще в 1918 году подняли руку на жизнь В. И. Ленина.

Но остановимся на этом. Прервем этот трагический, фарсовый допрос, столь типичный для Вышинского. Скажем о Бухарине.

Имя Николая Ивановича Бухарина, одного из ближайших сподвижников Ленина, главного редактора «Правды», одного из виднейших теоретиков революции, возглавлявшего Коминтерн с 1926 по 1929 год, члена Политбюро до 1929 года, действительного члена Академии наук, до самых недавних времен производилось со знаком отрицания. Впрочем, с

29-го года — да и раньше — и по 37-й (при его жизни) о Бухарине было сказано немало злой лжи... В конце 30-х, в 40-е, словом, до XX съезда партии с яростным отрицанием произносилось его имя как имя злейшего врага страны и партии.

Бухарин был уничтожен, разоблачен, вычеркнут из отечественной истории. Кое-какие сочувственные упоминания о нем появились после XX съезда. С теплотой, уважением писал о годах совместной борьбы, товарищества И. Эрэнбург в своих воспоминаниях.

В некоторых произведениях возникал «очеловеченный» Бухарин, «очеловеченный», но все же если не враг, то противник, мешающий поступательному движению вперед.

В шестидесятые годы, после XX съезда партии, некоторые исследователи и историки обратились к личности и теоретическому наследию Бухарина. Но двусмысленность по отношению к нему тех людей, кто имел право на решающие оценки роли личностей в истории, приостановила эти исследования.

Сейчас, когда сняты некоторые исторические табу на правду, пора сказать о Бухарине то, что он заслужил. Надо, чтобы о нем узнали не как о «лидере правого уклона», «оппозиционере», «неустойчивом человеке», «мягком воске», о теоретике, «находившемся под рабским влиянием Богданова» (теория исторического материализма Бухарина), «об экономисте, преувеличивавшем организационный момент переходного периода», о недооценке им генерального плана партии и о других его грехах, заблуждениях, ошибках подлинных и мнимых.

Надо, чтобы о нем узнали как о борце революции, одном из видных организаторов партии, о «ценнейшем и крупнейшем теоретике партии» (оценка при обычной ленинской сдержанности, даже и при оговорках вслед за этим весьма высокая).

Восстановление имени Бухарина, не только в публикациях, но и в истории государства, обращение к его многостороннему политическому, экономическому, литературному наследию — это долг не только исторической, но и нравственной справедливости.

Исполнив его, можно будет понять и заблуждения Бухарина. Они, как и многие другие ошибки его современников и сподвижников, станут предметом объективного исторического исследования. Но ошибки эти, реальные и мнимые, возведенные в степень преступления, сопутствовали его имени слишком долгие годы. Он шел иногда на компромиссы. в определенный период давал Сталину использовать свое имя и авторитет. Он разделял многие политические заблуждения своего времени.

Он и был сыном своего времени.

Но сегодня хочется сказать не об ошибках, а о лучшем в нем.

И тогда станет ясным, что он сыграл серьезную роль в теории переходного периода, что он один из первых, вслед за Лениным понял опасность колоссального административного аппарата, что еще в 20-е годы он утверждал, что рыночные отношения и при социализме в некоторых областях экономики более продуктивны, чем вмешательство государства, что коллективизация, в которой происходит «раскулачивание» и уничтожение середняка, таит в себе многие будущие беды нашего развития...

Бухарин не принадлежит архивам. Некоторые его мысли и соображения говорят об удивительной прозорливости, и трагично, что к ним не прислушались...

Вот как он писал о революционной законности: «Революционная законность должна заменить собою все остатки административного произвола, хотя бы даже и революционного...». «Крестьянин должен иметь перед собой советский порядок, советское право, советский закон, а не советский произвол, удерживаемый «бюро жалоб», неизвестно где обретающимся». Положение в деревне очерчивалось для него все определеннее, как опасное, может быть, даже трагическое. Притеснение середняка, который выдавался за кулака, подвергался гонениям, — он неоднократно писал об этом: «...Создается положение, при котором крестьянин боится поставить себе железную крышу, потому что опасается, что его объявят кулаком; если он покупает машину, то так, чтобы коммунисты этого не увидели. Высшая техника становится конспиративной».

То, что в последнее время особенно волновало Ленина, — возможность бюрократизации партии, отрыв ее от массы, — было и для Бухарина предметом тревожных размышлений. «Для всей нашей партии и для всей страны одной из главных

возможностей действительного перерождения являются остатки произвола для каких-нибудь привилегированных коммунистических групп. Когда для группы коммунистов закон не писан, когда коммунист может свою тещу, бабушку, дядюшку и т. д. тащить и «устраивать», когда никто не может его арестовать, преследовать, если он совершил какие-нибудь преступления, когда он разными каналами может еще уйти от революционной законности, это есть одно из крупнейших оснований для возможности нашего перерождения».

Кажется, что это сказано сегодня.

Его отношение ко многим чертам сталинского правления постепенно менялось. Тесная объединенность со Сталиным, казавшаяся ему необходимой в политической борьбе с Троцким, Зиновьевым и Каменевым, постепенно распадалась, сменяясь все нараставшим внутренним сопротивлением к выявляющейся достаточно быстро и определенно, неприемлемой для многих старых партийцев тенденции сталинского правления, отмечающей всех, кто хочет спорить, у кого есть иная точка зрения; жесткий, лишенный сантиментов и не щепетильный путь к единовластию.

Возможно, что недооценка генеральной линии объяснялась и неприятием той беспощадности, с которой Сталин проводил ее в жизнь, даже в тех нередких случаях, где эта беспощадность вовсе не требовалась, где она подменяла принципиальность и последовательность.

В пятую годовщину со дня смерти Ильича Бухарин опубликовал статью «Политическое завещание Ленина» (доклад на траурном заседании).

Сам заголовок был в то время неожидан и взрывоопасен. О политическом завещании Ленина не было принято говорить вслух...

На нем, известном дословно лишь сравнительно узкому партийному кругу, лежал как бы негласный запрет, ибо именно это завещание все еще оставалось моральной помехой на пути к полному диктату не только над поступками и словами, но и над мыслями. Сам Сталин высказался в 1927 году по этому поводу со всей определенностью: «Что касается опубликования «завещания», то съезд решил его не опубликовывать, так как оно было адресовано на имя съезда и не было предназначено для печати»... Здесь надо отдать должное сталинским качествам главаря, вожака, его простой, коварной, все подавляющей логике: «Ясно, что разговоры о том, что партия прячет эти документы, являются гнусной клеветой». (С той поры «эти документы» при жизни Сталина так и не были опубликованы.)

Вскользь добавив, что собирался уйти в отставку с поста Генсека, с чем партия решительно не согласилась, он заявил, по-своему перефразировав Ленина: «Да, я груб, товарищи, в отношении тех, которые грубо и вероломно разрушают и раскалывают партию. Я этого не скрывал и не скрываю». (Это был образчик сталинской гласности.)

Все же, несмотря на все эти повороты, было ясно, что сквозяз гром оваций, нарастающий хор восторгов — ленинские слова не забыты и не заглохли и все еще саднят Генсеку горло.

В своем докладе, осмысливающим содержание пяти последних ленинских статей, Бухарин видит именно их политическим завещанием уходящего из жизни вождя. В заглавии была некая метафора конкретного завещания Ленина, где рассматривались организационные, политические и духовные качества его соратников, потенциально возможных руководителей партии после него. Ленинской оценки Сталина и других Бухарин, естественно, не касался. Слова о целесообразности переместить Сталина с поста Генсека звучали бы прямым вызовом, на который Бухарин тогда не мог и не хотел идти.

Но Бухарину было важно обострить внимание не на личностных оценках, важнее для него, с детских лет уверовавшего, что не личность делает историю, были последние раздумья Ленина о будущем революции, страны, последние раздумья, в которых угадывались и предварительные итоги. Однако само изложение ленинских взглядов, комментируемое автором, звучало вовсе не юбилейным, пусть даже траурным панегириком, не славословием по поводу. Кое-где в тексте ощущался скрытый укор, который мог почувствовать любой опытный глаз, укор практике сталинского руководства, все чаще и свободнее уходящего от тактики ленинизма, а еще больше и дальше — от его этики.

Ленин звал к мирной, организационной работе, к внимательному, разумному отношению к интересам крестьян, к расширению рыночных отношений, к борьбе с новым

усиливающимся бюрократизмом. Ленин предостерегал от раскола с крестьянством, который означал бы гибель революции.

Основываясь на ленинских соображениях и замечаниях, Бухарин выступал в поддержку политики нэпа, о котором Сталин сказал: «...А когда он перестанет служить делу социализма, мы его отбросим к черту. Ленин говорил, что НЭП введен всерьез и надолго. Но он никогда не говорил, что НЭП введен навсегда».

За несколько дней до годовщины смерти Ленина Бухарин напечатал в «Правде» другую статью — «Ленин и задачи науки в социалистическом строительстве» (1929 г.). В ней говорилось о безответственности, формализме в составлении планов, основанных не на объективной статистике, а на приспособлении к этим, иногда недостаточно проверенным планам, на бюрократической канцелярской переписке, субъективизме в оценках и перспективах, политической самоуверенности, комчванстве... Неслыханная концентрация средств производства, финансов, транспорта может увеличить любую ошибку в гигантских размерах, обнаружить непоправимые провалы и просчеты.

Примечательна фраза Бухарина, как бы являющаяся ключом к его публицистике 29-го года: «Совесть не отменяется, как некоторые думают, в политике».

Не следует идеализировать никого из политических деятелей. И, конечно, у Бухарина были ошибки, просчеты, заблуждения. «Зарвался в левогулизм до чертиков» — характерный для рассерженного Ленина оборот. Ленин не раз критиковал Бухарина, как, впрочем, и многих других своих соратников. Он остро реагировал на ошибочную бухаринскую позицию в Брестском конфликте... Все это было, было.

Но последние годы своей жизни Ленин питал особое доверие и даже теплоту к Бухарину. Бухарин чаще других во время болезни бывал у него. В трагический день 21 января он плакал, не сдерживаясь. Читаем его глубоко личное признание из автобиографии: «Я имел счастье близко стоять к нему вообще, как к товарищу и человеку». О Бухарине нельзя было сказать словами Тихонова: «Гвозди б делать из этих людей: крепче б не было в мире гвоздей». Он был из другого материала...

В своей речи о правом уклоне в ВКП(б) в апреле 1929 года Сталин сказал: «Вредительство буржуазной интеллигенции есть одна из самых опасных форм сопротивления против развивающегося социализма».

Сталин говорил о буржуазной интеллигенции, но и новую интеллигенцию он не особенно-то жаловал. В «развивающемся социализме» он отвел ей сомнительное место «прослойки». Его дальнейшее доверие к людям типа Лысенко, военственным антиинтеллигентам, к мелким научным авантюристам типа Бошняна, Лепешинской, его подозрительность и недоверие к ученым со своим мнением, с ощущением неколебимого профессионализма и нравственной силы, не гнушейся ни под каким давлением и напором, оказались губительными для таких людей, как Чаянов, Флоренский...

Бухарин был интеллигентом, в этом было его несчастье. Он не вписывался в новую руководящую обойму.

Москвич из учительской семьи, к пяти годам он научился читать и писать. Его отец, как и отец Ленина, был математиком. Но сын Ивана Гавриловича — Николай рано определил свои интересы как гуманитарий, как любитель естественных наук (его коллекция бабочек уже в зрелые годы удостоилась похвалы Павлова); известен также его маленький зоосад на даче и даже в кремлевской квартире, вызывавший скрытое раздражение вождя, поглощенного идеей создания зарешеченных вольеров совсем другого назначения и масштаба... В них найдется место и для буржуазной, и для антибуржуазной «прослойки», так же как для представителей рабочего класса и трудового крестьянства.

Ко времени вступления в партию семнадцатилетний Бухарин знал иностранные языки, был разносторонне начитан. В 1907 году со своим другом (еще по гимназии) Ильей Эренбургом он принимал участие в стачке обойщиков. В этом же году он поступил на юридический факультет Московского университета. В 1910 году был отправлен в свою первую ссылку.

В 1907 году он стал организатором съезда социал-демократических и студенческих организаций. Отметим постоянную связь Бухарина с молодежным движением. В 20-е годы он был «прикрепленным от ЦК партии к комсомолу». На комсомольском съезде он говорил о борьбе с бюрократизмом, алкоголизмом, о работе среди неформальных, несоюзных объединений молодежи...

Но вернемся к концу двадцатых годов, к концу деятельности Н. И. Бухарина как одного из лидеров партии. Обстановка в деревне была тяжелой. Увеличивалась нехватка зерна, сокращались посевы. В 1929 году была введена карточная система. Однако Сталин планировал создание крупных колхозов. Процент коллективизированных дворов все возрастал. Первые колхозы, слабые, малопродуктивные, составляли малую долю от миллионов крестьянских дворов, но в них Сталин видел победный прообраз массовой коллективизации...

Сомнения Бухарина и его единомышленников уже не просто раздражали Сталина, они мешали ему. «Бухарин убеждает от чрезвычайных мер, как черт от ладана», — заметил Сталин.

Бухарин же видел в сталинской политике черты военно-феодаловой эксплуатации крестьянства.

...Не прошло и пяти лет со дня смерти Ленина. Временный союз Сталина и Бухарина, их противоречивое единодушие по многим вопросам было кратковременным. В конце 1928 года конфликт обострился после того, как близкие к Бухарину деятели Института красной профессуры Слепков, Астров, Марецкий (брат актрисы Веры Марецкой), Зайцев и другие были изгнаны из партийной печати. Бухарин еще оставался главным редактором «Правды», но кампания против него велась активно, его называли «капитулянтом», «противником колхозов», «врагом индустриализации». Шло наступление на «вотчины» Бухарина, Рыкова, Томского. На Пленуме ЦК в ноябре 1928-го доклад о промышленности делал Рыков и вызвал резко отрицательную реакцию большинства участников Пленума.

Осторожность, «либеральничанье» в подходе к темпам индустриализации, капиталовложениям в нее вызвали сопротивление людей, не только подпевавших Сталину, но и глубоко убежденных, что надо любой ценой и как можно скорее создавать промышленно развитую индустриальную базу с тем, чтобы догнать и перегнать передовые страны Европы. Орджоникидзе, Киров, Куйбышев выступали против позиций Бухарина, Рыкова, Томского. «Не дано нам историй тише идти», — говорил Куйбышев.

У них была своя правда, они были уверены в своей правоте. Они не знали, что через несколько лет понятие политической правоты, трезвости исчезнет, подмененное единственным критерием личной преданности вождю.

Орджоникидзе, резкий, вспыльчивый (известно, что Ленин остро критиковал его за рукоприкладство), не был, конечно, «рождественским дядюшкой», но и не был интриганом и палачом.

Орджоникидзе спорил с Бухариным, критиковал — без мысли убрать его из политической жизни, из жизни вообще. Старый партийный товарищ Сталина, Орджоникидзе в конце 20-х годов не мог предвидеть ни судьбу Бухарина, ни тем более свою.

В докладе «Политическое завещание Ленина» Бухарин защищал нэп, его экономические, политические принципы, еще недавно поддерживаемые и самим Сталиным. Вскоре эти позиции были определены, как ревизия важнейших принципов ленинизма, как ложное стремление показать Ленина «крестьянским философом».

Еще в том же 1929 году Бухарин, обращаясь к руководству партии, писал: «Серьезные больные вопросы не обсуждаются. Вся страна мучается над вопросом хлеба и снабжения, а конференции пролетарской господствующей партии молчат. Вся страна чувствует, что с крестьянством неладно. А конференции пролетарской партии, нашей партии, молчат. Вся страна видит и чувствует перемены в международном положении. А конференции пролетарской партии молчат. Зато град резолюций об уклонах (в одних и тех же словах). Зато миллионы слухов и слухов о правых — Рыкове, Томском, Бухарине и т. д. Это маленькая политика, а не политика, которая в эпоху трудностей говорит рабочему классу правду о положении, ставит ставку на массу, слышит и чувствует нужды массы, ведет свое дело, слившись с массами».

На апрельском Пленуме ЦК 1929 года Сталин выступил с резкой критикой правого уклона. Удар шел не только по сегодняшнему Бухарину, лидеру правых уклонистов, которые своей линией хотят «предать рабочий класс», но и по прошлому Бухарину. В разделе «Бухарин как теоретик» подчеркивались многолетней давности бухаринские споры с Лениным по вопросу о государстве... Проскользнул и весьма опасный намек: дескать, еще в 1918 году, в дни знаменитой дискуссии по поводу мирного договора, Бухарин тайно вступил в сговор с левыми эсерами, чтобы арестовать Ленина.

Партийная критика подменялась клеветническими злобными обвинениями.

Бухарин выступил с речью, где отрицал свое противоборство генеральной линии и объяснял свое понимание ее. Он полемизировал с проводимыми под лозунгом обострения классовой борьбы чрезвычайными мерами по отношению к крестьянству.

Апрельский Пленум освободил Бухарина от должности главного редактора «Правды», обвинил его, Рыкова и Томского во фракционной деятельности. Однако в составе ЦК были еще старые партийцы, не желавшие политического уничтожения Бухарина, Рыкова, Томского. Все трое не были выведены из состава Политбюро ЦК.

Но нападки в адрес Бухарина продолжались и усиливались. «Правда», редактором которой он еще недавно был, в августе 1929-го назвала его «лидером и вдохновителем уклонов». Будучи членом Политбюро, он занимал теперь пост всего лишь заведующего научно-техническим отделом ВСНХ.

7 ноября 1929 года Сталин объявил о «великом переломе», то есть о начале сплошной коллективизации.

На ноябрьском Пленуме ЦК Бухарин был выведен из Политбюро.

Молотов призывал к тому, чтобы коллективизация во многих районах страны завершилась в немыслимые сроки — к лету тридцатого года.

Пленум закончился поражением Бухарина. Но суровый приговор его фракционной деятельности еще не был тем последним приговором, это все-таки была партийная критика, а не обрекающие на гибель казенно-безжалостные формулировки.

В 1929 году, когда по Бухарину пришелся главный удар, в руководстве партии были люди, не согласные со Сталиным, но уже ощутившие в его тихом голосе, в его размеренной, замедленной речи, словно в морской раковине, приглушенный рев океана.

В этом реве угадывались все будущие овации, восторженный шум собраний, не вникающих в подробности внутрипартийной борьбы, знающих только, что он, Сталин, прав всегда и во всем, и потому все, что бы он ни сказал, надо немедленно принять не только как символ веры, но и как призыв к действию. Под восторженные крики «Ура!», под бурное, неостановимое «Да здравствует!» все, что бы он ни сказал сегодня о партийных уклонах, об экономических проблемах социализма, о знамени буржуазно-демократических свобод, выброшенных за борт, об историческом и диалектическом материализме, о биологии и языкознании, о сказке Горького «Девушка и смерть», о физкультуре и спорте — обо всем и навсегда.

И сам этот внятный, преодолевающий акцент голос звучал спокойно, с непреклонной силой, способный, казалось, разрушить любое сопротивление. В его публичных выступлениях не часто можно было услышать жестокие ноты, и миллионам он вовсе не казался жаждающим постоянного, неотвратимого наказания за несовершенные преступления.

Для людей, для масс в нем было обаяние, в его манере приводить пословицы, четко перечислять все по пунктам, в его выступлениях была простая и ясная логика, во всяком случае, слова звучали всегда весомо, даже если за ними ничего не стояло.

Он приветливо улыбался и обнимал юную Мамлакат, девочку-стахановку, установившую мировой рекорд по сбору хлопка.

И всюду, от Москвы до самых до окраин, во всех яслях и детских садах, в школах, пионерлагерях, в детприемниках — всюду и везде дети всей страны кричали: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Да, он был суров, но справедлив. Суровая справедливость — вот что было главное в нем.

Он осуществлял свою суровую справедливость чужими руками. А когда эти «руки» отрабатывали свое, он их отсекал. Вспомним судьбы всех главных сотрудников НКВД, органов Прокуратуры.

А со своими потенциальными противниками, оппонентами он был терпим, снисходителен до поры до времени как с заблудшими детьми и защищал их, как мог, от других кровожадных взрослых: «Чего, собственно, хотят от Бухарина? Крови Бухарина требуете? Не дадим вам его крови, так и знайте».



Кадры, как известно, решают все, и поэтому, как всегда, заботясь о кадрах, товарищ Сталин охранял Бухарина и других от тех, кто жаждал их крови.

XVI съезд ВКП(б) вошел в историю партии, по определению Сталина, как «съезд развернутого наступления социализма по всему фронту, ликвидации кулачества как класса и проведения в жизнь сплошной коллективизации».

Более 10 миллионов крестьянских семей были коллективизированы к марту 1930 года. Чистка «правых», сочувствующих кулачеству, усиливалась на местах давление и притеснение середняков и даже бедняков. Сожженные избы, теплушки, везущие раскулаченных, опухшие от голода дети... Известны случаи, когда изнуренные, потерявшие всякую надежду люди целыми семьями кончали с собой... Угарный газ в избах спасал от медленной голодной смерти.

Вот след сплошной сталинской коллективизации. Даже он сам был вынужден констатировать перегибы, злоупотребления в своей знаменитой статье «Головокружение от успехов». Всю вину он возложил на местное руководство. Это был знак временной передышки. Однако она была недолгой, и сопротивление крестьянства стало затихать лишь в условиях голода 1932—1933 годов.

Создавшееся положение настораживало, тревожило Кирова, Орджоникидзе, Куйбышева. Воздавая обязательную публичную хвалу вождю, они пытались в конкретных ситуациях умиротворить его, ограничить репрессии. Они призывали к большему реализму во второй пятилетке. Орджоникидзе взял под защиту кадры старой технической интеллигенции, которую истребляли во время процессов беспартийных «вредителей». Тема этой беспощадной борьбы со «спецами из бывших», инженерами-«убийцами» прозвучит в известном фильме «Встречный».

Старая большевистская гвардия, поддерживавшая Сталина, теперь начинала ему мешать. Уже на XVII съезде

Киров получил три голоса против, Сталин — в реальности — гораздо больше, несмотря на бурные овации, крики «ура» и прочее.

На это Сталин и его ближайшие соратники с помощью «карающего меча НКВД» ответили арестом 1108 из 1966 делегатов XVII съезда, «съезда победителей». Из 139 членов и кандидатов в члены ЦК, избранного XVII съездом, 110 были уничтожены.

Но перед этим было короткое время оттепели, относительного спокойствия.

Оно кончилось 1 декабря 1934 года убийством Кирова.

Скорбный Сталин, шедший за гробом, очевидно, хорошо знал, кем и почему, как был уничтожен его близкий соратник, «любимейший сын большевистской партии, бесстрашный борец за счастье трудящихся».

Именем Кирова были названы города, проспекты, библиотеки, корабли, театры, стадионы.

Именем Кирова началось массовое уничтожение большевиков и беспартийных, тысяч и тысяч ни в чем не повинных людей.

Убийство Кирова было увертюрой 1937 года.

Кратковременная передышка была у Бухарина.

Сдержанно раскаявшись в 1930 году, Бухарин три года работал в ВСНХ, затем в Наркомтяжпроме. В 1931 году возглавлял советскую делегацию на Международном конгрессе по истории науки и техники в Лондоне (в составе делегации был Н. И. Вавилов, с которым у Бухарина были добрые, дружественные отношения). На XVII съезде партии, в 1934 году, он был переведен из членов ЦК в кандидаты. Но его назначили затем главным редактором «Известий». В августе 1934 года он был одним из трех докладчиков на I учредительном съезде Союза советских писателей. Он входил в комиссию по составлению новой Советской Конституции. Считают, что он был ее главным реальным автором.

Возможно, он вкладывал в некоторые ее статьи совершенно иное содержание, чем председатель этой комиссии и творец первой Советской Конституции товарищ Сталин.

28 февраля 1937 года «Правда» поместила статью «О политической поэзии». Эта статья была запоздалым ответом на бухаринский доклад о поэзии на I съезде Союза писателей. Запоздалым, но весьма опасным не для самого Бухарина (его судьба к тому времени была уже предсказана), а для тех, кого он похвалил на съезде, в особенности же для тех, кто проявил знаки симпатии к нему в ту пору, когда никаких знаков уже давать было не положено.

Небольшая статья эта примечательна. Вот несколько цитат из нее: «На состоявшемся недавно в редакции газеты «Правда» совещании поэтов говорилось, что враждебные нашей партии, враждебные социализму люди стремились оторвать поэзию от актуальных вопросов социалистической действительности. Почин здесь принадлежит Бухарину, превозносившему в своем пресловутом докладе поэтов, чуждых советской действительности, и объявившему революционный подход устаревшим. Обращаясь к древности, Бухарин вытаскивал очень подходящее для его политических взглядов учение о «двойном, тайном смысле» поэтической речи... В этом тезисе Н. Бухарина лишь слегка замаскирована проповедь двурушничества в поэзии». (Автору статьи и его заказчикам претило не древнее, не чужестранное, а пушкинское, русское понятие «тайной свободы».)

Безымянный автор статьи обличает поэтических двурушников: «Недаром тот же Сельвинский заявляет, что для советского читателя:

**Все старое приятно и понятно.
Все новое обидно и темно.**

Когда читаешь эти строки «первоклассного мастера советской поэзии» (бухаринское определение, данное Сельвинскому. — В. А.), невольно задаешь себе вопрос: кто их написал — советский поэт или человек, чуждый советскому строю?»

Еще определенной и страшнее сказано о Павле Васильеве: «Теперь, когда выяснилось, что Васильев вполне определенно злодей и враг народа... «Соляной бунт» Васильева настоящая кулацкая поэма... «А стихи Пастернака, в которых так много «тайного смысла» и нарочитого тумана,

объявлялись «истинной поэзией». Впрочем, сквозь густой туман и юродство в стихах Пастернака иногда проглядывают совершенно ясные политические выпады, например:

**Нашу родину буря сожгла.
Узнаешь ли гнездо свое, птенчик?»**

Вот отрывок из стенограммы процесса 38-го года над Бухариным. Допрашивается также и Рыков. (Из этого отрывка будет ясно, почему такое недовольство вызывало поведение Бухарина на процессе, вспомните статью «Убийца с претензиями».)

Вышинский: Скажите, белорусская национал-троцкистская организация, являющаяся частью вашего право-троцкистского блока, руководимая обвиняемым Шаранговичем, вела шпионскую работу?

Рыков: Да.

Вышинский: Были связаны с польской разведкой?

Рыков: Да.

Вышинский: Вы знали об этом?

Рыков: Знал.

Вышинский: А Бухарин не знал?

Рыков: По-моему, знал и Бухарин.

Вышинский: Итак, обвиняемый Бухарин, об этом говорит не Шарангович, а ваш дружок Рыков.

Бухарин: Но тем не менее я не знал.

Вышинский: Вы теперь понимаете, почему я спрашиваю Вас относительно Австрии?

Бухарин: Связь с австрийской полицией заключалась в том, что я сидел в крепости в Австрии. Я сидел в шведской тюрьме, дважды сидел в российской тюрьме, в германской тюрьме...

Вышинский: То, что Вы сидели в тюрьме, не служит свидетельством того, что Вы не могли быть шпиоком.

В эти дни появились стихи «акына XX века» Джамбула. Они назывались: «Уничтожить!»

**Фашистских ублюдков, убийц и бандитов —
Скорей эту черную сволочь казнить
И чумные трупы, как падаля, зарыть!**

«Казнить!» — требовали ночные смены заводов Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, Горького и других. Бухарина обвиняли в борьбе против Республиканской Испании, в поддержке франкизма. Самого сурового наказания предателей требовали поэт-академик П. Г. Тычина, академики А. А. Богомолец, А. В. Палладин и другие.

В такой атмосфере проходил процесс.

Бухарину еще не было пятидесяти. На последней его фотографии — скрытая, непередаваемая тоска. И все-таки он позволяет себе сопротивляться. Он признает фантастические вещи, такие, как расчленение СССР, может быть, потому и признает, что фантастические. Но конкретные обвинения он упорно отводит. И в этом он, мягкий, интеллигентный, удивлявший своей чувствительностью, все-таки сильнее многих.

Речь государственного обвинителя, прокурора Союза ССР А. Я. Вышинского поразительна по своей аргументации: «Нет слов, чтобы обрисовать чудовищность совершенных подсудимыми преступлений. Да и нужны ли, спрашиваю, еще какие-нибудь слова? Нет, товарищи судьи, слова не нужны». Вот и все.

Как известно, Вышинский назвал Бухарина «проклятой помесью лисы и свиньи».

Американский исследователь С. Козн приводит в своей книге о Бухарине репортаж с этого процесса американского журналиста Харольда Денни: «Один Бухарин, который, прожизненное свое последнее слово, совершенно очевидно знал, что обречен на смерть, проявил мужество, гордость, почти что дерзость. Из пятидесяти четырех человек, представших перед судом на трех последних открытых процессах по делу о государственной измене, он первый не унизил себя в последние часы процесса. Он в последний раз вышел на мировую арену, на которой, бывало, играл большие роли и производил впечатление просто великого человека, не испытывающего никакого страха, а лишь пытающегося поведать миру свою версию событий».

Я читал материалы этого процесса, последнее слово Бухарина. Мое ощущение не совпадает с заметками американско-

го корреспондента... Одиннадцать месяцев тюрьмы, моральные и иные пытки, бесконечные думы о жене, годовалом сыне, о близких — все это давило, ломало, вынуждало уступать.

Из слов, произносимых многими подсудимыми, тоже растоптанными, истощенными, измученными, а кроме того, возможно, и верящими, что так надо партии, которой они служили с молодых ног, будто вынули душу. Клишированные мертвые самооговоры. Бухарин был тверже, и у него была концепция. В заключительном слове он сказал: «Я признаю себя ответственным и политически и юридически за пораженческую ориентацию, ибо она господствовала в правотроцкистском блоке, хотя я утверждаю:

1) лично я на этой позиции не стою...

2) гражданин прокурор утверждает, что я наравне с Рыковым был одним из крупнейших организаторов шпионажа. Какие доказательства?

Я категорически отрицаю свою причастность к убийству Кирова, Менжинского, Куйбышева, Горького и Максима Пешкова».

Запомнилась своей обнаженно-трагической сутью, столь непохожей на риторику страшных саморазоблачений, несусветных, вырванных немислимым давлением покаяний, простая и горькая фраза: «Если ты умрешь, ради чего ты умрешь». И еще: «Может быть, я говорю в последний раз...» Сколько мук он претерпел за 11 месяцев следствия и за годы изощренной, беспощадной травли...

Читая стенограмму, я вспоминал рассказ Катаева, устный рассказ, скорее наблюдение... Я очень любил «разговаривать» старика Катаева. Мне было интересно услышать о тех, о ком нельзя написать, и, конечно же, о Бухарине, к которому с ранней юности, с каких-то дальних рассказов деда, переданных матерью, у меня была тайная симпатия и интерес. Катаев рассказывал, что как-то он вошел в кабинет Бухарина в «Известиях», а в это время Бухарин, полулежа на редакторском столе, звонил Сталину и просил его за кого-то. «Коба, Кобочка», — взывал он к вождю. И неизвестно, что было там, на конце провода, какой крылатой фразой отвечал всеведущий вождь.

В то время уже стали известны кое-кому стихи Мандельштама — открытый вызов Сталину: «Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны...»

Бухарин помогал опальному и житейски не приспособленному Мандельштаму, помогал, догадываясь, какая судьба ждет этого поэта; думаю, что и поэт задумывался над будущим своего покровителя: слишком талантлив, нестандартен, самостоятелен и потому не вписывается...

Следует здесь вспомнить еще о двух поэтах, проявивших мужество верности и веры по отношению к Бухарину. Это Борис Пастернак и Павел Васильев. Пастернак в 36-м году, когда Вышинский на первом процессе Зиновьева, Каменева и 14 их подельцев объявил о начале следствия по делу Бухарина и других лиц, скомпрометированных показаниями подсудимых (впоследствии дело Бухарина и Рыкова было на время закрыто), послал ему записку. Пастернак писал, не колеблясь, не сомневаясь, что не верит. Павел Васильев тоже высказался в защиту Бухарина. Это и предопределило судьбу талантливейшего советского поэта, «подкулачника», «злодея»... Статья в «Правде» была серьезным предостережением Борису Пастернаку, как принято говорить, «сигналом».

Так завершилась жизнь и политическая карьера одного из ближайших ленинских соратников, которого Вышинский охарактеризует на процессе так: «Лицемерием и коварством этот человек превзошел самые коварные, чудовищные преступления, какие только знала человеческая история». Лишь ему одному предъявлялось самое страшное обвинение, в котором он выглядел как бы отцеубийцей, — план убийства Ленина.

А незадолго до этого он с молодой женой был в Париже. Поехал туда, чтобы приобрести уникальные архивные материалы разгромленной социал-демократической партии Германии. (Там был и архив Карла Маркса, который купить не удалось.)

Бухарин вернулся в Москву в конце апреля 36-го года. Восемнадцатого июня при весьма загадочных обстоятельствах умер Горький. В некрологе — сообщение о тяжелой многолетней болезни, затем врачи Плетнев и Левин на том же бухаринском процессе обвиняются в убийстве Горького. Недавно они подписывали официальное медицинское заклю-

чение о причинах смерти. Все это как-то не сходилось... Бухарин любил Горького, высоко ценил его. В одной из своих последних статей, посвященной памяти Горького, он назвал его певцом разума и великим гуманистом. Слово «гуманный» звучало не общо, не расхоже, в него вкладывал Бухарин конкретный и скрыто трагический смысл. Он догадывался, что и знаменитая фраза «Если враг не сдается, его уничтожают» стала не по воле Горького девизом все нарастающих массовых репрессий.

6 июля Бухарин напечатал свою последнюю статью «Маршруты истории. Мысли вслух». Под слоем обычного международного политического текста как бы дышал другой, вулканический, трагический слой. Обличалась не только «фашистская контрреволюция». Ощущалась другой смысл. В этой статье говорилось о том, что авторитарная власть основана на ненависти к массе, несмотря на все объяснения в любви к ней...

Простые люди достигают политической и культурной зрелости и перестают быть «орудиями с голосом», как называли в Риме рабов. Они становятся «сознательной массой сознательных личностей».

Бухарин вернулся из заграничной поездки весной.

19 августа начался процесс Зиновьева и Каменева. 21 августа Вышинский на зиновьевско-каменевском процессе объявил о начале следствия по делу Бухарина и других.

Томский покончил с собой. Остались Бухарин и Рыков (из наиболее крупных фигур). В сентябре по тактическим соображениям (возможно, под давлением противников крайних мер) Сталин дал временный отбой.

Однако это затишье не обещало спасения.

На процессе Пятакова, Сокольников, Радека в январе 37-го года снова возникли страшные обвинения в адрес Бухарина и Рыкова.

Началась травля Бухарина в печати. Бухарин объявил голодовку в знак протеста.

А 23 февраля 1937 года открылся один из самых трагических Пленумов ЦК партии. Среди других вопросов был один, очень много в жизни партии определявший: о Бухарине и Рыкове.

В руководстве партии еще были те, кто понимал, что нельзя допускать исключения Бухарина из партии и его ареста, что Сталину надо подавить не только Бухарина и Рыкова, ему надо подавить всякую возможность иного мнения вообще.

Опыт интриг и внутрипартийной борьбы, соединение одних, натравливание других, неожиданная доброжелательность и краткий свинцовый приговор вскоре после мимолетной ласки — опыт игры с людьми, хищный и древний, был им хорошо изучен, впитан, был его сильной стороной, делал его непредсказуемым.

За пять дней до Пленума Серго Орджоникидзе скоротечно скончался. Большая фотография в газетах: Серго на смертном одре, вокруг стоят скорбный Сталин, Молотов, Ежов, Ворошилов, Каганович, Микоян, Жданов. С опущенными в страшном недоумении руками, с опухшим лицом жена Зинаида Гавриловна. Из членов Политбюро — нет только Калинина, Андреева, Чубаря и Косиора. Двух последних нет на снимке, скоро не будет и в жизни.

Вдове адресовано письмо, опубликованное во многих газетах, полное соболезнований, подписанное руководителями партии и правительства. Здесь почему-то подписи Сталина нет. В газетах — медицинское заключение о смерти Серго и странная фраза, что банда шпионов и убийц, троцкистов-бухаринцев, своим предательством и изменой ускорила смерть Г. К. Орджоникидзе.

Нетрудно догадаться, кто ускорил его смерть и почему за пять дней до Пленума Серго Орджоникидзе покончил с собой.

«Правда» сообщала: «Пленум обсудил важные вопросы хозяйственного и партийного строительства, рассмотрел вопрос о подготовке партийных организаций к выборам в Верховный Совет по новой избирательной системе и соответствующей перестройке партийно-политической работы». Последним шло краткое сообщение: «Пленум рассмотрел вопрос об антипартийной деятельности Бухарина и Рыкова и постановил исключить их из рядов ВКП(б)».

Этот последний вопрос и был главным на Пленуме.

Пленум был закрытым, но кое-какие данные о нем есть в нашей и зарубежной печати. (На симпозиуме по вопросам истории партии в Академии общественных наук при ЦК КПСС были приведены отрывки из стенограммы Пленума.) Некоторые детали, кстати, совпадающие с этим, создающие

ощущение атмосферы на этом трагическом Пленуме, приво-
дил мне в своих рассказах покойный А. В. Снегов, бывший
до ареста крупным партийным работником (в частности,
в Закавказском крайкоме). Просидев 17 лет, он чудом вы-
жил, работал в Министерстве внутренних дел, занимался
реабилитационными делами, готовил, по его словам, матери-
алы к докладу Хрущева. О нем упоминает в своих воспомина-
ниях А. И. Микоян. В 60-м году я, молодой литератор,
ездил с ним в один из крупных сибирских лагерей.

Снегов приводил некоторые фразы, звучавшие на Плену-
ме. В частности, фразу Бухарина: «Я вам не Зиновьев и не
Каменев и лгать на себя не буду». И ответную реплику
Молотова: «Не будете признаваться, этим и докажете, что
вы фашистский наймит... Арестуем — сознаетесь». Бухарин
был в тяжком состоянии. Слова покаянные сменялись
выпадами против Ежова, делавшего основной доклад по
этому вопросу. Упоминал Снегов и реплику Ворошилова,
брошенную Бухарину: «Типун тебе на язык, падла!» И обра-
щение Бухарина к Пленуму с просьбой простить, его слова,
что голодовкой он ЦК не запугивает, просто это его ответ на
ложь и клевету.

В ответ на покаянные слова Бухарина Сталин бросил:
«Мало! Мало!»

Против крайних мер выступил Постышев (за что вскоре
заплатил жизнью). Была составлена комиссия из 36 человек.
Среди предложений было такое: «Немедленно исключить из
партии, предать суду, расстрелять». Но окончательная фор-
мулировка звучала так: «Бухарин заслуживает немедленного
исключения из кандидатов в члены ЦК, исключения из
партии, предания суду». Это решение было принято уча-
стниками Пленума, большинство из которых тоже «не мину-
ет чаши сия».

А вот приведенные газетой «Правда» в марте 1937 года
слова Сталина из его выступления на Пленуме: «Теперь,
я думаю, ясно для всех, что нынешние вредители и дивер-
санты, каким бы флагом они ни маскировались, троцкист-
ским или бухаринским, давно уже перестали быть политиче-
ским течением в рабочем движении, что они превратились
в беспринципную и безыдейную банду профессиональных
вредителей, диверсантов, шпионов, убийц. Понятно, что
этих господ придется громить и корчевать беспощадно, как
врагов рабочего класса и как изменников нашей Родины».

Понимая, что конец неизбежен, в паузе между работой
Пленума Бухарин составил письмо к будущему поколению
руководителей партии и попросил жену выучить его наизу-
сть.

Так кончилась жизнь Бухарина. Она оборвалась. Оборва-
лась во всем. Было зачеркнуто его имя, его идеи, его
экономические исследования, его литературные труды.
Была зачеркнута его судьба человека и революционера.

Но судьба больше, чем жизнь. Она вбирает в себя очень
многое. И сейчас, в год столетия со дня рождения Николая
Ивановича Бухарина, нам надлежит понять уроки его поли-
тической судьбы, дать ему в насыщенном пространстве исто-
рии революции то место, которое он заслужил.

Письмо Бухарина будущему поколению руководителей
партии, которое его жена пронесла в своей памяти сквозь
все жесточайшие испытания ее собственной жизни, сквозь
пересылки, тюрьмы, лагеря — сильнейший трагический до-
кумент. Но не только трагический. В нем вы чувствуете
с изумлением неистребимую веру — на пороге конца — в то
назначение, в то дело, которому этот человек отдал свою
жизнь.

Привожу отрывок из него. (Должен признаться, что,
когда я прочитал текст в доме у Анны Михайловны Лари-
ной, вдовы Николая Ивановича, я испытал больше чем
волнение, какой-то душевный трепет... Это было прикосно-
вление к истории и к человеческой судьбе.)

Оно начиналось с простой и потому особенно скорбной
фразы: «Ухожу из жизни. Опускаю голову не перед проле-
тарской секирой, должной быть беспощадной, но и цело-
мудренной. Чувствую свою беспомощность перед адской ма-
шиной, которая, пользуясь методами средневековья, обла-
дает исполненной силой, фабрикует организованную клевету,
действует смело и уверенно... В эти, быть может, последние
дни своей жизни я уверен, что фильтр истории рано или
поздно неизбежно смоем грязь с моей головы... Прошу
новое, молодое и честное поколение руководителей партии
зачитать мое письмо на Пленуме ЦК, оправдать и восстано-
вить меня в партии. Знайте, товарищи, что на том знамени,
которое вы понесете в победоносном шествии к коммунизму,
есть и моя капля крови».

Это написал один из основоположников Советского госу-
дарства, близкий соратник Ленина...

Бухарин был создателем Института красной профессуры,
одного из крупнейших центров марксистской мысли Совет-
ской России 20-х годов. Много талантливых людей — фило-
софов, историков, экономистов образовали эту «школу Буха-
рина». Здесь был ошутим живой дух споров, товари-
щеской полемики, бескорыстного интереса к культуре... Сам
стиль Института красной профессуры определялся во мно-
гом личностью Бухарина, человека открытого, искреннего,
увлекающегося, доброжелательного, который приходил
к своим ученикам в неизменной кожаной куртке, сапогах,
в рубаше без галстука. Многие, кто работал с ним, отмечали
его способность придавать самым официальным собраниям
раскрепощенность, даже веселье. Кто-то заметил, что он
вносил благотворное очарование в политику. Ленин говорил,
что Бухарин относится к тем счастливым натурам, которые
даже при наибольшем ожесточении борьбы меньше всего
способны заражать ядом свои нападки. Всех его ближайших
сотрудников по Институту репрессировали и уничтожили.
Выжил один только Астров.

В «Правде», да и в «Известиях», где он был главным
редактором, возникала атмосфера дружеского сотрудниче-
ства, доверия и уважения друг к другу.

Он был необыкновенно одаренным человеком.

Я видел сохранившиеся у Анны Михайловны картины
Н. И. Бухарина, очень живые, хорошие по вкусу пейзажи,
отличные, немножко в духе Домье карикатуры. Недаром сын
Николая Ивановича, Юрий Николаевич Ларин, — талант-
ливый и самобытный художник.

Бухарин писал, что одна жизнь не может быть поделена
между двумя такими требовательными богами, как иску-
ство и революция.

А свое понимание искусства Бухарин показал на I съезде
советских писателей в 34-м году, где он сделал доклад о поэ-
зии, не на прикладном, узкоклассовом (как это часто дела-
лось в ту пору) уровне, а на уровне всечеловеческой
и вместе с тем точно конкретизированной мысли. Он
сумел понять и поддержать такого на первый взгляд далеко-
го от сиюминутной актуальности поэта, как Пастернак. Он
уважительно, но и критически говорил о Демьяне Бедном,
заостряя мысль о том, что время примитивной агитки
кончилось. Емкие и точные характеристики даны им Тихоно-
ву, Сельвинскому, Луговскому (были ранее у Бухарина
и весьма спорные литературные оценки, в частности его
высказывания о Есенине и есенинщине в статье «Злые
заметки»).

Кое-кто понимал, что Бухарин в немилоисти, уже не член
Политбюро, а всего лишь кандидат в члены ЦК. Бухарин
поверженный, критикованный, битый, они «храбро» спорили
с ним, «клеили» ему ярлыки, чего не позволили бы себе
никогда по отношению к другому докладчику, представляв-
шему Центральный Комитет.

Другим докладчиком (кроме Горького) был Жданов.

Его доклад был ординарен, прямолинеен, четок, без вся-
ких нюансов и оттенков. Но все же это непохоже было на
его беспощадную проработку Ахматовой, Зощенко, Шоста-
ковича, Прокофьева — через двенадцать лет, уже после
войны.

Об истории французской революции написаны тома. О ее
десятилетиях мы знаем гораздо больше правды, чем о собствен-
ных. В томах истории нашей революции еще до сих пор
господствуют дух и формулировки «Краткого курса истории
ВКП(б)». Если сегодня говорится о «новом сознании», то
оно предполагает и новое осмысление. Жизнь и политиче-
ская судьба Бухарина только начало...

Правда нужна не тем немногим, кто еще помнит его, его
противников и единомышленников. Правда и достоверное
знание нужны прежде всего нам самим.

Не он из далекого небытия взыскует о справедливости,
а мы все, так долго державшие его в забвении, ощущаем
вину не только перед его памятью, но и перед памятью
многих других, а кроме всего прочего, перед собственной
историей.

Жизнь оборвалась в 37-м, 38-м, 39-м... А было и раньше —
в 20-х, и много позже — после войны. Да, оборвалась, да,
закончена, но не забыта, а значит, и продолжается в духов-
ной жизни нынешних и будущих поколений, в их осмыслении
прошлого, настоящего и будущего.

Надо открыть доступ к архивам, к стенограммам закрытых Пленумов, чтобы понять мужество одних, предательство других, страх третьих. В нашем сознании выработались стереотипы, их разрушить нелегко, да и литература, и кинематограф немало сделали, чтобы их закрепить.

В последние десятилетия из фильма в фильм, из книги в книгу величественно шагали Молотов и Жданов, олицетворявшие всю возможную государственную мудрость и нравственную высоту. А после насильственной смерти Бухарина, Рыкова и многих других — сколько раз их вновь и вновь ставили к стенке, пригвождали к позорному столбу.

Приговор казался пожизненным и посмертным, не подлежащим историческому и человеческому пересмотру.

Не выяснена до конца роль некоторых партийцев, почти открыто сопротивлявшихся сталинскому диктату, например, Рютина. Я получил полное боли и недоумения письмо внучки Рютина. Она рассказывала о тюрьмах, лагерях, через которые прошла вся семья, просила помочь восстановить доброе имя ее деда.

В 60-х годах говорилось о Пантеоне невинным жертвам, людям, отдавшим жизнь революции, стране, обществу.

Пантеон не был построен... Да, может, он и не нужен, Пантеон; что-то пышное, не сочетающееся со скорбным концом убиенных видится в этом слове.

Но коль скоро чувствуем мы возрождение своей подлинной исторической памяти, отстаиваем каждый дом, принадлежащий истории, кровно связанный с теми, кто на протяжении веков в меру своих сил творил ее, коль скоро следопыты ищут могилы неизвестных солдат Второй мировой, коль говорим, что никто не забыт и ничто не забыто, то не будем чувствовать себя мало-мальски совестливыми людьми, пока не встанут в стране строгие обелиски в память убитых не на войне.

Но обелиск — лишь внешнее проявление, лишь символическая дань памяти. У этих людей хотели отнять не только жизнь, но и нечто большее — голос; их труды, книги, проекты, идеи, замыслы, которые должны передаваться из поколения в поколение...

Их наследие — не реликвия, не музейная память... Их поиски, обретения, заблуждения необходимы нам сегодня, в момент, когда общество так стремится к духовному очищению и возрождению.

Варлам Шаламов написал, не надеясь, что его опубликуют:

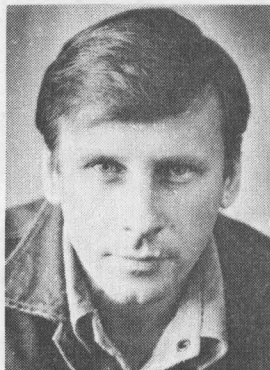
**На заброшенных гробницах
Высекаю письмена.
Запишу на память птицам
Даты, сроки, имена...**

Оказалось, все-таки, не птицам, а людям.

Р. С. Очерк писался, готовился к публикации, сдавался в печать, когда Бухарин и некоторые другие участники «правотроцкистского блока» еще не были реабилитированы. Почти пятьдесят лет прошло со времени их насильственной гибели, а имена все подвергались гонению.

Отмена приговора — это шаг к справедливости. Верится, что справедливость будет проявлена и к другим, чьи жизни были растоптаны, имена оклеветаны фальсификаторами и палачами, уверенными в вечной власти над судьбами живых и мертвых.

Поэзия



Вадим
ШУЛЯКОВСКИЙ

☆☆☆

В степи, побелевшей от пыли,
стоит обелиск на виду.
Бетонной звездой заменили
на нем жестяную звезду.

Но звездочка та жестяная
сквозь годы мерещится мне,
как раньше косынка льняная
светила отцу на войне...

☆☆☆

На небе всё, как на земле,
Но легче долгий путь.
Там пахнет пылью, как в селе
степном каком-нибудь.

Такой же свежий ветерок,
и яблони вдали...
Но хорошо, что я не бог,
а сын родной земли.

Что сгину я в степном краю,
хоть смерть и не легка.
И душу светлую пролью,
как крынку молока...

Разлив

Разлив июльский. Путь окольный.
Паром застрял невдалеке.
Переломилась колокольня
в разбухшей медленной реке.

Паромщик хмурый и твердый
уселся на помятый жбан...
По грудь залитые березы
выходят на передний план.

И пусть еще далека осень,
один, как будто на показ,
на склоне мужичонка косит,
из-под руки глядит на нас.

А в лодке ведра и корзины,
лопаты, доски, провода...
Глядят встревоженно осины,
как за мотором бьет вода.

Над ними дуб раскинул полость.
Стоит за сеткою стволов...
Все отдаленней, глуше голос
на воду таявляющих псов.

Лежит туман на водной глади.
То лист, то капля упадет.
И ночь молчит, на воду глядя,
на медленный круговорот.

В больнице

Тяжело одиноким в больнице!
А сосед мой блаженствует здесь.
Полный день он уколов боится,
нудно членичит у нянечек есть.

А когда опускается сумрак,
он глядит неотрывно в окно
на больничный глухой закоулочек,
на газон, порыжевший давно.

Улыбается каждой из сосен,
и березам, и птицам на них...
Лишь во сне он предельно серьезен,
да по праздникам с матерью тих.

И в лице появляется некий
грустный смысл, когда с прочими в ряд
у лифтерши на жесткой скамейке
они рядышком чинно сидят...



Лев
БЕРИНСКИЙ

Кенарь

Серов на открытках, Шагал и Миро.
И с розою ваза, понишкой мертво.

Квадратная клетка — квартира. И дом.
И хлебная корка в луче золотом.

По клетке выпшагивает, обмакнув
То черный, то синий, то красный свой клюв.

И рифмой чарует, исчадием роз:
Чивир-чивил-чивирам-чивирос.

Перевел с еврейского
А. ПАРЩИКОВ.

Мой старший брат

Старший мой брат, мир праху его,
был невинен душою и телом,
когда он влюбился в Полину,
в чуб, по моде, ее золотой,
и стал, как дитя, увиваться за ней...
Но Полина его не хотела.

И вот под вечер как-то, в начале апреля, весной,
провожая на танцы ее, в Дом офицеров,
мимо красных витрин и обсаженных птицами скверов,
он как вкопанный стал на мосту и нелепо, как стерх,
озираясь и ногу задрав, сиганул через верх.

Но пока он летел (а девушка что-то ему
вслед кричала, склоняясь, но за ветром не было слышно,
так, что вспять повернуть пришлось ему и опять,
как и прежде, ее догонять, потому что Полина
с диким воплем бежала уже по бульвару, а на углу
пропала в толпе; он искал ее в парке
и на дальнем ставке; и в полях, где уже колосилась
июльская рожь; и в ближних лесах, где верхушки дерев,

облетая, готовились к первому снегу), словом, пока он
до воды наконец долетел — наша речка замерзла,
и он ухнул только об лед, как бревно, но вскочил,
но, конечно, сломал себе ногу...

Но Полина
согласилась на радостях, и теперь, словно два голубка,
они тихо живут, есть у них уже дети, надеюсь,
что меня они все, дай-то бог им, переживут...

Новости! Мать утверждает, что старшего брата
и в помине у нас не бывало, а стоит к отцу
подойти с этим самым вопросом, —
лишь крикнет да плюнет!

О Светлане и вере

Что мы знаем о том, как веруют в бога
кенгуру или муравьи?

Что мы знаем о диком расизме
у волков среди снежных степей?
О жестокой эксплуатации
в этой розовой грезе Платона —
в этом тысячелетнем цветочном рейхе у пчел?
Змея найа-найа поступает по Дарвину:
производит на свет
одиннадцать нежных змеенышей
и тут же съедает!
Иран бомбардирует волшебную Басру, Ирак
истребляет на месте, под Басрой,
девятью тысячами иранцев.

У Светланы
опять ребенок, и опять непорочно зачатый,
и опять она преодолит свой змеиный инстинкт.
Эразм из Роттердама со свободой своей
врывается в ахрит хайамим¹
и бегает по мостам, волоча за собой,
точно куклу, за волосы Лютера, этого дурня.
Что знает господь Саваоф в небесах о том,
как любят его
Эразм и Лютер внизу на земле,
кенгуру в сновиденьях
и муравшка, что делит со мной
одиноким мой завтрак на кухне и все норовит
окунуться в блюдец с вареньем,
стать яитарною брошкой...

А кому бьет поклоны в Атлантике кит голубой?

Звон шаровой молнии в полдень на подсолнуховом поле

Постой, это я, твой Лева Беринский,
его безропотная душа.

Ты мне не давала, бывало, коснуться губами
или просто ладонью лица твоего и волос,
и знойного нимба вокруг твоих плеч —
не давала.

Теперь вся, как есть, целиком, ты в руках,
ты в лучах у меня,

Светлана,
и до Малаховки не доберешься.

Здесь, на черных разбросанных холмиках этих,
нарытых кротом,
под радугой полукруглой
будет прекрасное тело твое, неотрога,

недвижно лежать.

И покуда сбегутся и встанут над ним,
завопят и заохают бабы из окрестных поселков,
мы с тобой уже будем вверху на стеблях,
как два солнечных желтых цветка,
покачиваться, ах, смеяться впокатку,
пощекотывая друг дружку
квантом теплого света — мезонами альфа и зет.

Перевел Б. ЛЕВСКИЙ.

¹ Конец времен (библ.).



...ПРОСТО ОН ТАК ЖИЛ

К 80-летию
Б. Н. Полевого

Земляки на прогулке —
Павел Александрович Иванов,
редактор «Калининской правды»,
и Борис Николаевич Полевой,
главный редактор «Юности»
(1962—1981 гг.).
Фото Л. Шимановича.

Он не очень-то жаловал юбилей. И чужие, и свои собственные... Накануне 60-летия Бориса Николаевича Полевого я приехал в Москву из Калинина, чтобы побеседовать со знаменитым земляком о знаменательной дате.

Выслушав мои вопросы, он сказал:

— Бросьте вы это, старик. Расскажите-ка лучше, как там Федя Сладков, как «Пролетарка».

И вот вместо того, чтобы расспрашивать, как он чувствует себя в эти торжественные дни, я рассказывал Полевому о буднях его родной Твери, о друзьях его юности...

От этого юбилея он «сбежал на Кипр», отправившись в очередную миротворческую поездку. Потом, вернувшись, приехал в Калинин, встретился с земляками — текстильщиками, вагоностроителями, журналистами. Без громких речей, без высокопарных слов. Словно был это самый обычный приезд «для подзарядки аккумуляторов», как говорил Борис Николаевич.

Близило 70-летие Полевого. Увы, на этот раз он не мог сбежать от ожидавшихся торжеств: болезнь прочно держала его в столице. Накануне юбилея он неожиданно позвонил в редакцию:

— Слышал — вы там что-то затеиваете. Так вот: никаких празднований. Если решите чайку попить в «Юности», там у меня в столе некоторая сумма. Возьмите обязательно, а то ведь начнете скидываться. И Юлю не забудьте...

Вот таким было 70-летие Героя Социалистического Труда, лауреата Государственных премий СССР, секретаря Правления СП СССР, члена бюро Всемирного Совета Мира, знаменитого советского писателя, создавшего бессмертную «Повесть о настоящем человеке». Попили чайку в скромном его кабинете дружной редакционной компанией, сказали добрые слова о своем редакторе. Ибо для нас, «юниоров», как называл сотрудников «Юности» Борис Николаевич, он был не легендарной личностью, а прежде всего редактором, старшим товарищем, наставником. Хотя, конечно, никого ни в чем специально Полевой не наставлял, это было чуждо ему. Просто он так жил и работал, так намагничивал своим присутствием, что хотелось подражать ему, следовать в делах, поступках. И в этом смысле он оставил много учеников.

Он учил примером своей жизни. Всемирно известный писатель, а никакой позы, никакого нимба над знаменитой полевовакой падающей на лоб прядью. Естественность и простота — мудрая, глубокая. И еще — доброта, участие, милосердие, сострадание. К молодому писателю. К невинно пострадавшему. К заблудшему...

Сегодня — элегантный костюм, завтра — дорожное платье, потертый чемодан, повидавший и Америку, и Африку. Нынче — поездка в Рим для встречи с коллегами, через неделю после возвращения — в верхневолжский колхоз, к знаменитым братьям-млыноводам или на Калининский вагоностроительный, повесть о котором — «Горячий цех» — стала его стартом в большой литературе.

Одинаково увлеченно трудился он над своими произведениями, газетной заметкой, государственным документом, письмом начинающему коллеге. Сколько написал Борис Николаевич таких писем, часто определявших судьбу будущего литератора! Он писал даже нам, видевшим его в редакции каждый день. (Некоторые из них публикуются ниже.)

Вот таким он был — Борис Николаевич Полевой. Нет, точнее сказать, таким он запомнился нам, кому выпало счастье многие годы работать рядом с ним. Ибо каким он был, в беглой заметке не скажешь. След, оставленный им в литературе, глубокий, излученный им, ярким. И в этом свете ясно виден прекрасный образ настоящего человека, чей 80-летний юбилей мы отмечаем. Увы, без него...

Алексей ПЬЯНОВ

Борис ПОЛЕВОЙ

СТРАНИЦЫ ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

А. А. Фадеев давал прощальный обед в честь супругов Амаду, уезжающих после поездки по Советскому Союзу.

Ужин был маленький, нешумный: Фадеев с Линой, Федин, Тихонов и Аппетин. Я уже как-то писал, что земной шар стал за последнее время тесен и, даже живя в разных странах, непременно встретишься с другом на одной из журналистских дорог. Таким другом нашим, несомненно, является Жоржи Амаду со своей женой Зелией. Уже давно мы полюбили его за романы «Земля золотых плодов» и «Красные всходы» — хорошие, честные, немного натуралистические, но очень привлекательные книги о судьбе бразильских тружеников. Их даже немного страшно читать.

Так вот, года 2 назад на Первом съезде писателей в Праге подходит красивый молодой человек в вельветовом синем костюме, смуглый, черный, с приятным энергичным лицом, с большими, черными, очень усталыми глазами. Ткнул меня пальцем в грудь.

— Полевой?

— Полевой.

Ткнул себя пальцем в грудь:

— Амадо. Жоржи Амадо.

Отыскали переводчика. Заговорили. О чем, не помню, вероятно, обычная представительская чепуха. Он оставил очень хорошее впечатление. Мне рассказали, что Амаду еще со студенческой скамьи — коммунист, один из виднейших деятелей Бразильской компартии, друг Карлоса Престоса. Он сын очень сановитых бразильцев, выходец из аристократической и очень богатой семьи. С отцом расстался, еще будучи студентом, бедствовал, жил в подполье. Отбил жену у очень крупного капиталиста. Она пошла за ним в коммунистическое движение, и вот теперь оба очутились в эмиграции. Очень талантлив. Живет литературными трудами.

Потом мы встретились с ним в Румынии на конгрессе борцов за мир. Он познакомил с женой — очень хорошей и славной. Вместе ездили на строительство канала Дунай—Черное море и очень подружились на том, что болтали о детях: я о своих Андрейке и Алене, они о своем Жуане, который воспитывается и живет в писательском санатории Добжич в Чехословакии.

Потом встретились в Варшаве на конгрессе уже как старые, испытанные друзья. Жоржи подарил мне карточку, где он был изображен с Дон Жуаном на плечах, а Зелия заставила меня надписать сто экземпляров «Повести», изданной на испанском языке. Она сказала, что «Повесть» выпускается отпечатана в бразильской прогрессивной газете, пользуется успехом и что надписанные мной экземпляры будут розданы, как премия, лучшим борцам за мир, собравшим более 3000 подписей под Стокгольмским воззванием.

А теперь оба они в Москве. Сбылась их мечта вместе побывать в Советском Союзе.

Зелия в положении. По расчетам супругов, новый, будущий Амаду впервые заявил о своем праве на существование в дни конгресса. Ждут девочку и приготовили имя Палома, что по-португальски значит Голубка. Славные ребята, и сами они напоминают голубков.

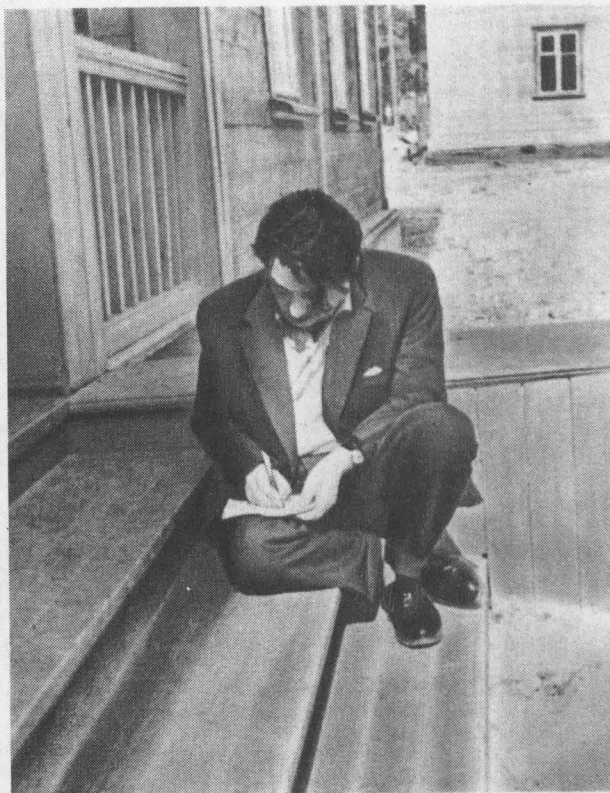
За столом было весело, но чуть-чуть чопорно. Лина Степанова, милейший и добрый человек, помимо своей воли придавала всему чинность, немного чопорную.

Фадеев, Тихонов, Федин — люди очень разные, но все очень приветливо и по-братски относились к этой паре настоящих коммунистов и борцов за мир, самоотверженно отказавшихся от своих сословных прав, от богатства и удобств, простившихся с родиной, начавших эмигрантское существование во имя коммунизма, во имя мира.

Пили за мир, за будущую Голубку.

После ужина, простившись с Амаду, разошлись с хорошим и светлым чувством, с легкой душой.

Тихонов был в ударе. Рассказы Жоржи и хорошее вино разбудили в нем целый поток мыслей, чувств, планов. Рассказчик он великолепный. Часами не устаешь его слушать. И рассказы брызжут из него, как вода из гидромонитора — неудержимо, свежо, сильно. Он никогда не повторяется, и сколько мы с ним проехали, пролетели, сколько провели вечеров за этими тихоновскими искрометными рассказами.



Итак, он был в ударе. Не хотелось прощаться. Мы отпустили свои машины и пошли по весенней, прохладной Москве пешком, по Александровскому парку, по мосту. А он все говорил и говорил о своих палестинских впечатлениях, о новом цикле стихов, о конгрессе в Варшаве и о варшавских стихах, о судьбе индусов и палестинцев, о том, что там, на Востоке, будут решены судьбы земного шара.

Мы долго стояли с ним на мосту. Справа громоздилась кристаллическая громада Дома правительства, слева контуры Кремля, четко обозначенные под луной. Жарко сияли кремлевские звезды, напоминавшие тлеющие факелы, и в черной, как деготь, Москве-реке зыбились отсветы бесконечных огней.

Очень не хотелось прерывать потока красноречия Николая Семеновича. Согласился зайти к нему. Он жил рядом, в Доме правительства. Мне ни разу не доводилось бывать у него, хотя с ним и Марией Константиновной — большой, костистой, добродушной женщиной, смотрящей на своего юного старца как мать на любимого и талантливого сына-проказника, которому в доме многое прощается, хотя с ними и был я давно знаком.

Об этой славной паре, об их дружбе, храбрости, самоотверженности я много слышал во время войны от Петра Николаевича Пospelова. А вот теперь довелось у них побывать.

Гнездо Тихоновых, большое, просторное и уютное, очень какое-то холостое, несколько не разочаровало, а, наоборот, было хорошей рамкой для этой пожилой и действительно очень хорошей пары. Чувствуется, что хозяин, поглощенный весь своим творчеством, своими скитаниями, своей многообразной общественной деятельностью, мало заботится о домашнем уюте, о вещах, об удобствах. Живет безалаберно, бездумно и легко, не обремененный житейскими заботами.

В комнатах среди разнокалиберной мебели много разнообразных каких-то экзотов — виды Ленинграда, инкрустированные на дереве, великолепная бронзовая копия Медного всадника, для которой даже специальное освещение спроектировано. А вот двух одинаковых стульев нет, и все напоминает мебельный отдел комиссионки.

И все же я чувствовал себя там дома, хорошо, уютно, не то что в мудреной «заграничной» комнате Эренбурга. Это тоже была богема, с разнокалиберной мебелью, экзотами сомнительных художественных достоинств, какими-то приживалками, называвшими Тихонова Колей, и все-таки все родное. А главное сами Тихоновы, не столько супруги.

Эти фотографии принес в редакцию один из многочисленных друзей Полевого — чешский писатель Иржи Плахетка. «Каждый раз, приезжая в Москву, я прихожу в «Юность». Как и прежде, при Борисе Полевом, встречаю сердечный, радужный прием, здесь, как в генеральном штабе, узнаю все новое и разрабатываю стратегию наступления на московский культурный фронт». В 50-х годах, будучи корреспондентом чешского телевидения в Москве, он познакомился с Борисом Полевым и остался верным поклонником его человеческого и писательского таланта. Вместе они побывали в 1961 году в Братске, вместе — на перекрытии Енисея. И вместе в квартире Полевого встречали Фиделя Кастро, впервые приехавшего в Советский Союз и пожелавшего познакомиться с автором «Повести о настоящем человеке». И везде, в самых невероятных ситуациях Полевой умудрялся работать...



сколько боевые товарищи — и оба, каждый по-своему, большие русские люди, талантливые, яркие, работающие, с недостатками, которые лишь подчеркивали их достоинства.

Кто-то из неведомых и безымянных тетюшек или племянниц сбегал на «уголок», появилась наспех нарезанная закуска. И опять Николай Семенович во всеоружии своей эрудиции говорил, говорил, говорил, а я слушал и поражался, сколько он всего видел, сколько знает и как он широко талантлив.

Мария Константиновна сказала: «Дачи у нас нет, вот оборудовала ему на балконе садик».

Действительно, на балконе в ящиках росли цветы.

— Здесь он у меня написал весь последний цикл об Индии...

Николай Семенович усмехнулся: «Ну как же, как же, приятно писать по вечерам об Индии, дыша московским воздухом...»

Славные, милые русские интеллигенты! Хорошая, увы, уже вымирающая человеческая порода энтузиастов, мечтателей, живущих жизнью безалаберной, не замечающих ее неустойчивости, потому что все погружены они в общественные дела, в творчество, в служение Родине.

Ведь он до сих пор беспартийный — этот добрейший Николай Семенович. А вот если поглубже разобраться, то партийней, чем этот большевик без партбилета, трудно себе представить человека.

Я помню эпизод. Летим в Болгарию. Ноябрь 1945 года. Летим в непогоду, опрокидывая с чисто фронтовым нигилизмом все показания метеостанций. Высота 3000 метров. Сплошная облачность. Самолет мотается в облаках как окаянный.

Над Софией начинает снижаться, и вдруг среди свинцовых, живых облачных громад, где-то выше нас, возникает вершина хребта. Выше нас! Самолет делает горку. Мы все летим назад. Один лежит без сознания, другой вцепился в кресло и зажмурился, третий, по-морскому говоря, «травит». Из командирской рубки высовывается бледное лицо штурмана:

— Ничего, ничего, снижаемся.

Голос его дрожит. Я знаю, что все это значит. Старается сохранить самообладание. А вот Тихонов, кажется, совсем непринужденно говорит:

— Нет, вы слушайте, слушайте... Вы знаете, что такое телеграфный столб? Не знаете? Вот я вам сейчас объясню: телеграфный столб — это хорошо отредактированное бревно. А? Каково?

Он награждает себя громким смехом, а сам косит в окно. В нагромождении туч опять возникает холодный, серый, покрытый изморозью зуб скалы, и опять выше самолета. Пилот снова резко берет вверх. Когда мы занимаем свои места, снова звучит хрипловатый, но спокойный тенорек поэта:

— А соловей знаете кто? Это воробей, окончивший консерваторию. — Кажется, в эти минуты, когда и мое, в общем-то довольно опытное сердце уходило в пятки, я по-настоящему узнал и полюбил этого седого и вечно юного, какого-то нержавеющей человека. 50-е годы.

Из переписки Б. Н. Полевого

Во Всесоюзный Комитет по Ленинским премиям
Председателю Комитета Н. С. Тихонову

Уважаемый Николай Семенович!

Из газет я узнал, что роман мой «Глубокий тыл» занесен в список произведений, представленных на соискание Ленинской премии. Я глубоко благодарю товарищей, выдвинувших его и нашедших возможным внести в этот список. Но ведь согласно Уставу Ленинской премии могут быть увенчаны лишь самые высокие литературные вершины. Только при соблюдении этого премии будут иметь значение и авторитет. При всем добром отношении читателей к моему новому роману, я его такой «высочайшей вершиной» не считаю. Поэтому обращаюсь к Вам и через Вас ко всем членам Комитета с просьбой снять мою книгу с обсуждения.

Остаюсь в надежде написать когда-нибудь что-то действительно достойное Ленинской премии.

С глубоким уважением к Вам и всем членам Комитета, с пожеланием ему плодотворной работы.

Ваш Полевой.

3 февраля 1960 г.

Дорогой Леонид Федорович!

Вопрос, с которым я к Вам обращаюсь, может быть, на первый взгляд и не заслуживает такого высокого адреса, как секретарь ЦК КПСС. Однако этот беспрецидентный случай представляется мне, к сожалению, весьма характерным. Помимо этого, все попытки решить этот вопрос иным путем, оказались безуспешными. Все это и заставляет меня обратиться в Центральный Комитет.

В начале этого года редакция «Юности» получила из Челябинска коллективное письмо молодых машиностроителей — комсомольцев, сигнализировавших в редакцию о том, что у них в Челябинске произошел совершенно невероятный случай. Молодой и уже довольно известный в молодежной среде скульптор Виктор Бокарев, не являющийся еще членом Союза художников, подвергся невероятному гонению. В письме говорилось, что скульптуры его — с ведома секретаря районного комитета партии и руководителей местного отделения Союза художников — были однажды в его отсутствие погружены на грузовик, вывезены на какую-то свалку и там выброшены.

По моему распоряжению в Челябинск по адресу Бокарева было направлено письмо, с просьбой написать подробно обо всей этой истории.

В ответ на это я получил письмо тов. Бокарева, которое прилагаю.

Оказывается, все случилось именно так, как писали челябинские комсомольцы, возмущенные этой историей. Выяснилось также, что скульптуры Виктора Бокарева были не только выброшены: Бокарев был вызван в отделение милиции, где его предупредили, что если он в течение недели не устроится на работу, то его вообще выселят из города, как тунеядца. <...>

После чего, как явствует из письма Виктора Бокарева, 3 марта в отсутствие скульптора председатель Челябинского отделения Союза художников тов. Лаптев и парторг Союза композиторов с бригадой грузчиков взломали дверь мастерской Бокарева, изломали часть его скульптурных работ, а остальные погрузили «навалом» в грузовик, а потом свезли и свалили на пустыре в углу городского сада.

Я снова не поверил невероятному этому письму и попросил по телефону общественного корреспондента «Юности» и корреспондента «Известий» по Челябинской области проверить этот факт. Все подтвердилось. Я написал в «Известия» статью за своей подписью, с тем, чтобы попытаться покончить с подобной практикой «воспитания» советских художников. Статья эта осталась неиспользованной. Ну что же, может быть, товарищи из «Известий» и были правы, хотя я в этом не вполне уверен, т. к. болезнь, на мой взгляд, нельзя загонять «внутрь». Но беда в том, что молодой художник, который в скульптурах своих, пусть еще несколько наивных и порой даже неумелых, все же стремился отразить нашу жизнь, по своему рассказать о своем мироощущении, до сих пор остается в Челябинске изгоем, слышет тунеядцем и все из-за того, что у него не сложились отношения с местным отделением Союза художников, допустившим в отношении его возмутительный произвол.

<...>

Допускаю, что все это покажется Вам невероятным, ибо все это действительно похоже на средневековые. Поэтому, не желая быть голословным, прилагаю к письму сделанные корреспондентом фотографии барельефов Виктора Бокарева — «Раздумья», «Материнство», его портретную работу «Рабкор Быков», скульптуру Микеланджело и «Хирург». А чтобы подтвердить, что все это действительно в Челябинске произошло, прилагаю фотографию, на которой видно, во что превращены все эти скульптуры после того, как их коснулась рука челябинских культуртрегеров.

Простите, что отрываю Вас от больших Ваших дел на этот частный случай. Но сдается мне, что на этом примере стоит дать бой Пришибеевым от искусства, полагающим, что воспитание молодых художников или писателей и поэтов можно вести с помощью милиции.

С уважением

Б. Полевой.

Дорогой Валерий!

Вы — космический долгожитель. Предполагаю, что Вам еще придется порядочно покрутиться вокруг земного шара до того, как мы с Вами увидимся и я смогу позвать Вашу мощную руку. Но так уж у нас заведено, что еще до выхода журнала мы посылаем своим авторам их статьи. Посылаю и я Вашу статью, которую Вы, может быть, уже читали, так как с одной из почти «Юность» сделала попытку послать ее в космос¹.

Как и все советские люди, внимательно слежу за Вашим путешествием в подзвездных пространствах, радуюсь Вашим успехам и от души поздравляю Вас и Вашего товарища по путешествию.

Поздравляю не только как редактор «Юности», но и как старый солдат, знающий цену человеческому подвигу, одержанному во имя служения Родине и социализму. Ваш подвиг космического долгожительства является одним из величайших рекордов, до сих пор никем не побитых. Вряд ли этот рекорд сможет кто-либо побить в ближайшие десятилетия. Но дело ведь не в рекорде и даже не в совершенстве космических аппаратов, а дело в советском характере, преимуществе которого Вы так наглядно продемонстрировали и демонстрируете сейчас, показывая еще раз миру, что такое советский человек.

Передайте мой сердечный привет Вашему другу и спутнику Леониду Попову. Пишу же я Вам не без некоторой меркантильности. Имею предложение: продолжайте в этом путешествии свой дневник. Записывайте не только все самое интересное, что Вы делаете для науки, но и Ваши переживания и Ваши мысли, вызванные тем или иным событием, происходящим на земле. Может выйти интереснейшая книга. Займитесь-ка этим делом. Право же, это будет большое дело и для страны, и для воспитания молодежи.

С лучшими пожеланиями,

Ваш Б. Полевой.

1980 год.

Дорогая Мария Лазаревна!²

Выполнил Ваш наказ и прочел повесть Евтушенко быстро. Прочел с интересом. Читается она легко. И действительно для Евгения Александровича она необычна — компактна, населена интересными, своеобразными, запоминающимися людьми. Словом, я согласен с Вами: можно принять в работу и начинать над нею трудиться³.

Во-первых, подзаголовок «повесть». Надо «фантастическая повесть». Если этого не сделать, наши три миллиона читателей примут «некоторую фантастичность» всерьез, а все — рожденное взлетом пылкой поэтической фантазии: растение, выращенное при скрещивании живого и растительного мира, изотопление противоракового лекарства из сибирских ягод и кусты, пускающиеся в погоню за героем, как нечто реальное — и тогда рецензия в «Крокодиле» нам с Вами обеспечена. Термин «фантастическая повесть» спасет и автора и нас с Вами от конфуза и положений письменных и устных.

Кто-то из читавших повесть до меня оставил на ней нежные карандашные пометки. Правильные пометки. ..., но так как тонкого карандашика у меня нет, а пускать в ход зеленый фломастер в отношении столь уважаемого автора было бы бестактным, я пометок не делал. Перечитайте. Правки будет совсем немного.

Словом, уверен, что повесть по доработкам сможет пойти и влетит еще один листок в лавровый венок, увенчивающий Вашу голову. ...

Со всегдашним уважением

Ваш Б. Полевой.

¹ К моменту выхода публикации В. Рюмина «Работа как работа» о 175-суточном космическом полете («Юность» № 6, 1980 г.) он снова был на орбите в составе экипажа станции «Салют-6». Письмо и листы июльской «Юности» отправлялись с грузовым кораблем.

² Озерова Мария Лазаревна — зав. отделом прозы со дня основания журнала (1955—1982 гг.), ныне член редколлегии.

³ Повесть Евгения Евтушенко «Ардабиол» была опубликована в № 3 «Юности», 1981 г.

Автор этой публикации —
лауреат Государственной премии СССР,
заслуженный работник МВД СССР,
Работал в правоохранительных органах,
в том числе и в милиции.

Г. Т. Рябов — один из создателей фильмов
«Рожденная революцией» и «Государственная граница»,
автор книг «Повесть об уголовном розыске»,
«Я — из контрразведки».

Гелий РЯБОВ

СКОЛЬКО ЛИЦ У МИЛИЦИИ?

Газеты заполнены невероятными сообщениями, на нас обрушилась лавина фактов произвола, беззакония, прямых преступлений, совершенных работниками милиции, суда, прокуратуры. О безразличии к судьбам людей, безжалостности и говорить не приходится — это правоохранительная проза. Мы не привыкли к такому, мы ничего об этом не знали, мы оглушены, изумлены, растеряны: что произошло? Как могло случиться? 70 лет мы жили совершенно спокойно: «Розовые лица, револьвер желт, моя милиция меня бережет». Со времен Великого немого смотрели на нас с экрана умные и усталые глаза добрых, прекрасных, образцовых наших защитников и друзей — почти личных. Мы приглашали их в президиумы и на пионерские сборы, к ним — героям страны — обращались с благодарственными письмами и адресами, нас охраняли от воров и расхитителей — по слову С. Эйзенштейна — «не продажные твари буржуазной полицейщины, а великолепные, преданные, стальные ребята, лучшие из лучших...». И вот — поток мутной пены. Откуда он взялся?

Наивный вопрос. Он был всегда. Просто умелые руки социальных мелиораторов отводили его в сторону, и он бесследно исчезал. А мы, воспитанные с детсадовских еще времен в неизбывно-солнечном восприятии окружающего мира, не замечали грязных лужиц и ручейков, изредка прорывавшихся по недосмотру сквозь монументальные плотины безгласности. В лучшем случае пенсионеры, возвращаясь с дзюдовского собрания, пожимали плечами: «Отдельные недостатки. Проникают еще в органы неупрежденные кадры».

Но вот плотин нет, и поток прорвался грязной и грозной явью. Обнаружилось, что граждан сплошь и рядом задерживают без законных на то оснований, врываются к ним в квартиры без санкции прокурора и производят обыск, допрашивают по многу часов без перерыва, избивают до полусмерти, выколачивая признательные показания, а если это не помогает — пытаются, надевают на голову противогаз и перекрывают воздух. Или приковывают к батарее парового отопления. Или не дают тяжелобольному человеку лекарства — так он гораздо скорее признает свою несуществующую вину и выдает «сообщников». Можно еще посадить строптивца в камеру и объяснить, что за порядки в камере администрация места заключения ответственности не несет — ночью сокамерники могут, если что, и убить или, если повезет, только искалечить. Угроза во время допроса: немедленно вызвать конвой и отправить за решетку (свидетеля, заметьте!) — милая шутка; незначай оброненные слова о том, что у близкого человека инфаркт, — невинная шалость, почти сочувствие...

Но, может быть, все это — болезнь перестройки? Трудно сразу отказаться от привычных методов работы, от накатанных приемов?

Может быть. Но ведь не о перестройке в производстве пастилы и зефира идет речь. Эти дефицитные продукты можно пока потреблять и некондиционными, были бы они на прилавках кондитерских магазинов, и ладно.

Но вот можно ли дальше терпеть произвол и беззаконие? Мы знаем, что перестройка — не временная кампания, что отныне и навсегда мы, народ, управляем, осуществляем, решаем и т. п. И если это так (а это так, нельзя не верить в это, потому что иначе — крах), мы не имеем права оставаться в стороне не только от столбовой дороги перестройки, но и от таких ее наиважнейших коммуникаций, как суд, прокуратура, милиция.

Коснулась ли перестройка этих организаций?

Несомненно. Не так давно прошел пленум Верховного суда СССР, бескомпромиссно назвавший болезни суда (волокиту, безграмотность, произвол) и меры, которые следует принять, чтобы исправить положение. Главная из них — гласность.

Нет недостатка в правильных оценках и заверениях со стороны руководства Прокуратуры СССР, Министерства юстиции СССР, принято очень важное постановление ЦК КПСС об укреплении социалистической законности и правопорядка.

Но дело подвигается туго. Чаше всего представители правоохранительной триады занимают глухую оборону, обвиняют прессу в передержках и преувеличениях. У всех, что называется, на слуху выступление в «Правде» следователя по особо важным делам Мыслевского и беседа со следователем Ильченко. Самым «честьмундирным» в этом смысле стало выступление в «Аргументах и фактах» № 6 за 1988 г. старшего помощника Генерального прокурора СССР С. Самойлова.

Гораздо реже мелькают на страницах газет самокритичные, осмысленные суждения должностных лиц триады. 29 ноября сего года в «Правде» выступил капитан милиции Жура. Если бы все представители милиции мыслили подобным образом: резко, проблемно, перспективно. 31 января «Правда» опубликовала отклики работников милиции на это выступление. Замечательные отклики! Но трудно отделаться от мысли, что оптимизм в резюме А. В. Власова несколько преувеличен, что ли...

Не так все просто. В милиции не любят тех, кто выносит сор из избы. За это получили срок сотрудник московской милиции на транспорте Хасаньянов, сотрудник азербайджанской транспортной милиции Алиев, пострадала сотрудница московской — Арепина. Печальная участь постигла и начальника ОБХСС Одессы Малышева, а 30 января «Известия» сообщили о судьбе майора милиции Малашиха — она аналогична. И вот — Малышева спасает вмешательство КПК при ЦК КПСС, других — выступления прессы и телевидения. Что ж, им повезло. Но никто еще не попытался всерьез расчислить авгиевы конюшни триады, разобраться: кто, за что, почему. В этом деле пока властвуют поверхностный взгляд, резиновый штамп, безразличие. В «Огоньке» № 51 за 1987 г. рассказана история Л. Леоновой, оказавшейся в тюрьме по ложному навету, — 404 дня невинный человек провел наедине с клопами и вшами, а кто за это наказан?

И кто из нас защищен от подобного?

Весной 1985 года сотрудники ГУВД Москвы вторглись в квартиры многих московских коллекционеров, произвели незаконные (без санкции прокурора) обыски, изъятия антикварных предметов огромной ценности, а спустя несколько месяцев возвратили все это владельцам, не обнаружив в их действиях состава преступления. Правда, это не помешало тогдашнему начальнику УБХСС полковнику Стерлигову показать изъятые по телевидению и громкогласно объявить, что вверенная ему, Стерлигову, служба вернула советским людям огромные ценности, изъятые у спекулянтов. Вот что сообщил мне по этому поводу первый заместитель начальника ГУБХСС МВД СССР Костерин: «Выступление т. Стерлигова А. Н. 25 декабря 1985 года по Московской программе телевидения имело профилактическую направленность и носило общий характер без указаний конкретных лиц».

Я не стану здесь говорить о том, что ценности эти — исторические раритеты, имеющие свое лицо, узнаваемые, и показывать их — значит компрометировать владельцев, ни в чем не повинных, повторим для ясности! И о какой «профилактике» говорит Костерин? Какую цель преследует эта профилактика? Чтобы все телевизоры, обладающие подобными предметами, сдали их немедленно в доход госу-

дарства? Или, не дай бог, уничтожили? (Чтобы милиции легче жилось?) Или дело тут в пресловутом «заявительстве»? Сообщите, мол, у кого вы видели подобные вещички? Нет?

Ясно, что такие передачи носят не профилактический, а подстрекательский характер. Они отвлекают внимание от изъятий в работе милиции, от общественных наших прорех и обращают гнев бездумного обывателя против соседа или сослуживца: вот он, обожравшийся, обогатившийся, объевший тебя и твою семью, ату его!

Если читатель подумает, что ошибка (ошибка ли?) исправлена, извинения претерпевшим принесены — нет! Ошибка (пусть так, не станем травмировать т. Костерина) повторена и усугублена: антикварные предметы, изъятые все теми же работниками УБХСС Москвы у следующей партии коллекционеров, вновь показаны по телевидению, на этот раз по Центральному! Показаны до суда, до вынесения и вступления приговора в законную силу еще более редкие и узнаваемые вещи! И, видимо, потому, что в той, последней передаче принимал участие недавно назначенный на эту должность министр внутренних дел СССР генерал-лейтенант А. В. Власов, ГУБХСС МВД СССР (на этот раз в лице просто заместителя В. И. Бабеняшева) ответил мне так: «Установлено, что телевизионная передача от 10 ноября 1986 года имела профилактическую направленность...».

Я вынужден продолжить. Алчущие антиквариата сотрудники соответствующего подразделения УБХСС Москвы оружия не складывают, они приходят к участнице Великой Отечественной войны, инвалиду второй группы В., переворачивают все вверх дном (я был на этом обыске и видел все собственными глазами!), изымают ценности. В. попадает в больницу. А спустя несколько месяцев дело против нее прекращают за отсутствием состава преступления, и все вещи возвращают с официальных извинениями; против следователя, допустившего беззаконие, назначается служебное расследование.

Казалось бы, все в порядке? Но какой ценой, увы...

А вот образчик методов, применявшихся в этом «расследовании». В. Тургенева «пригласили» сотрудники УБХСС Москвы и потребовали оговорить «нужных» УБХСС коллекционеров, когда же Тургенев отказался, ему «разъяснили»: «Отберем твою коллекцию, задержим, а у тебя, кажется, тяжело больная астма мать? И ты ей подаешь ингалятор? Смотри...» К чести Тургенева, заметим, что он эту жутковатую атаку выдержал...

По заявлению лиц, незаконно оказавшихся под воздействием УБХСС Москвы, у них были совершены во время обыска кражи ценных вещей.

Я допускаю, что эти заявления сделаны в ответ на произвол: вы — так, а мы — так!

Но ведь те же лица снова официально обвинены — уже пострадавшей В. и в том же самом? У нее украдены не менее ценные вещи!

А какова реакция руководства милиции всех степеней?

Простая. Никто и ничего не крал, утверждают они. Что ж, в былые времена чекиста Л. Пантелеева изгнали из Петроградской ЧК по одному лишь подозрению в присвоении золотой десятки во время обыска! И не ошиблись. Позже Л. Пантелеев стал самым знаменитым бандитом!

Видимо, сегодня руководители милиции предпочитают отмахиваться от неприятных сообщений, полагая весьма наивно, впрочем, что, пока из такого вору-лейтенанта вырастет вору-генерал, много воды утечет, так что отвечать за «штуки» генерала придется уже другим... Ведь не разглядели же вовремя начальника следственного управления ГУВД Москвы Аникина, начальника Волгоградского УВД генерала Иванова, бывшего первого заместителя министра ВД Чурбанова, бывшего министра ВД Узбекистана Яхьяева и многих-многих других мерзавцев в зигзагообразных погонах, а ведь не с генеральских чинов начиналось их падение. Где же пресловутая профилактика?

Все это мерзко, но, может быть, перечисленные факты и в самом деле не более, нежели «отдельные недостатки»? И мы напрасно обобщаем?

Я уже предвещал: пресса завалила нас фактами. И мы не можем не понимать, что факты эти — не более чем вершинка айсберга. Не все, далеко не все в деятельности триады становится достоянием гласности.

И все же...

И все же даже эти факты подчас свидетельствуют не только о негативе. Вот пример: следователь прокуратуры г. Горького Максимов обокрал собственную прокуратуру:

взломав сейф, страж закона умыкнул несколько тысяч рублей и два магнитофона. А вот еще: зампред Кашкадарьинского облсуда Ачилов выносил за взятки устраивающих взяткодателей приговоры.

Даже этих двух примеров (их великое множество в печати!) достаточно для того, чтобы понять: кончились «тайны мадридского двора», и «парижские тайны» тоже окончились. Государство более не делает тайны из преступлений, совершенных энным числом его представителей. А это — гласность, это — очищение.

Уместно поэтому будет упомянуть и о таком отрадном факте, как еженедельная сводка уголовных происшествий в Москве и других (надеюсь) городах, брифинги в ГУВД для журналистов, часто появляющиеся сообщения о ворах, взяточниках, хулиганах и прочих уголовниках, изгнанных из собственных рядов в наказание остальным и для укрепления авторитета в народе.

Меня могут упрекнуть в противоречии: только что, мол, сетовал, что выращивают из лейтенантов генералов с тем, чтобы потом посадить, а здесь вроде бы признал, что все это не так.

Так, дорогой читатель, увы, пока еще так. Дело в том, что сведения о негодях, пробравшихся в ряды нашей милиции, публикуются выборочно, не полно, без указания причин, породивших явление (неплохо бы это сделать на одном из брифингов и в дальнейшем ввести в практику общения с журналистами), и поэтому нет уверенности, что нарыв вскрыт и обезврежен до конца. Присутствует фигура умолчания, что ли, и поэтому я обязан заострить внимание на этой проблеме. Нет данных об уволенных и преданных суду за нарушение закона при ведении дознания, следствия, служебно-оперативных мероприятиях. За незаконное задержание, избиение (в том числе и на допросе), превышение власти, неосновательный обыск и изъятие, издевательство, угрозы и прочие недозволенные методы. Нужны точные цифры. Нужны имена. Только тогда общество сможет выявить тенденцию и принять меры. Общество, а не должностные лица. Гласно, а не келейно. Это и есть гарантия демократизации и гласности, это и есть народовластие.

А теперь, чтобы вплотную приблизиться к истокам разрушительного социально-административного явления, именуемого «произволом и беззаконием», снова обратимся к фактам.

Я помню послевоенный Ленинград, где на моих глазах не раз и не два милиционеры задевали на Невском матросов, и возникала дикая, страшная драка — стенка на стенку, как при проклятом царизме.

Я помню и Москву пятидесятых годов и улицу Горького, где у дома номер четыре участковый уполномоченный 50-го отделения милиции Мищенко избивал на глазах молчаливо застывшей толпы мальчишку лет двенадцати, карманного вора.

Я думаю, что все это следствие пережитков — как в сознании милиционеров и матросов, так и в сознании Мищенко и мальчишки. Ленин указывал, что гроб с телом старого общества гниет и разлагается среди нас и заражает нас. Это все понятно.

Но это — было. Что же теперь? Ведь сменилось уже не одно поколение работников милиции, суда, прокуратуры? В чем тут дело? Ведь мы — другие.

В марте 1987 года «Московская правда» рассказала о том, как работники 119-го отделения милиции Москвы несколько часов подряд избивали 17-летнего парня — выколачивали признание в несовершеннонном преступлении. Аналогичным образом работники арзамасской милиции выбивали признательные показания у троих ни в чем не повинных молодых людей. 4 мая прошлого года сотрудники Ленинского РУВД Москвы незаконно задержали 58 молодых людей и двоих из них покалечили. Внешний вид «детей» не понравился «отцам» в милицмейской форме, и детям всыпали ради воспитания здоровых начал в не окрепшем еще организме. В связи с этим неординарным случаем первый заместитель начальника ГУВД товарищ Томашов публично возмущился. И тогда подчиненные товарища Томашова — из другого подразделения московской милиции, но под руководством работника ГУВД (око начальства должно присутствовать) вновь избили молодого человека, на этот раз в Гнездиновском переулке. Остальных просто разогнали. Основания? Не стой, где не надо...

Но это только «цветочки», и нужны они не самоцельно и не для того, чтобы посмаковать лишний раз «жареные факты». Мы стремимся к анализу истоков.

Многим москвичам памятна история приблизительно десятилетней давности: трое работников московской милиции (один из них был секретарем комсомольской организации в воинской части, где служил до поступления в органы милиции) образовали бандгруппу и начали, используя форменную одежду и доверие граждан, останавливать автоладельцев, убивать их, а приобретенные таким путем автомобили продавать; трупы складывали в колодезь неподалеку от больницы МПС. Убийц обезвредили, это были прожженные циники, бывший секретарь сказал после оглашения приговора к высшей мере: «Что же, я стану воздухом, которым вы, гражданин председательствующий, будете потом дышать». Во время похорон одной из жертв на кладбище прибыл представитель МВД СССР и приказал речей не произносить и уж тем более — о милиции! Дисциплинированные родственники похоронили своего трагически погибшего сына молча. Социально молча. О, сколь же сидит в каждом из нас неизбывное рабство, о котором с такой болью и гневом писали и Чернышевский, и Чехов, и Ленин!

Но это не все. Вот сообщение газеты «Советская Россия» за 3 декабря 1987 года. Оперуполномоченный уголовного розыска Читинского УВД лейтенант милиции Герасимов отсылав, используя служебное положение, «упитанную» жертву, рыл на городском кладбище могилу, забирал у жертвы деньги, расстреливал ее из своего табельного «ПМ» и закапывал. Конечно, измывались люди, Раскольников — тот «идею» проверял, убивая старуху процентщицу, Герасимов же, советский милиционер, всего лишь обогащался убийством.

Но дело даже не в этом. Привычное молчание МВД СССР привело к очередной трагедии. Не последней, увы...

28 декабря 1987 года «Правда» рассказала о террористическом акте, политическом убийстве инструктора Чарджоуского обкома КПСС Х. Д. Розыбаевой, причастной к которому (пока не окончено следствие, выводов более точных и более острых мы сделать не вправе) оказалась милиция. Закономерный, на наш взгляд, финал...

Что же по поводу всех этих — без преувеличения — ужасов думает руководство МВД?

Начальник Пресс-бюро МВД СССР Б. Михайлов: «От некоторых газетных материалов веет безысходностью, и создается впечатление, что государственные органы не способны бороться с нарушениями законности, коррупцией, злоупотреблениями». Первый заместитель начальника ГУБХСС МВД СССР К. Костерин: «Конечно, есть у нас недочеты, но в последнее время предпринят ряд мер по коренному улучшению работы». А вот суждение на более высоком уровне: «Среди наших работников попадают и люди недобросовестные, нечистоплотные. Были даже случаи, когда сотрудники милиции нарушали законность, профессиональную этику и, более того, «срачивались» с уголовным элементом. За это немало работников МВД оказалось на скамье подсудимых». «...Печать, — подчеркнул министр внутренних дел СССР А. В. Власов, — совершенно справедливо критикует огрехи в работе милиции». Когда «Литературная газета» и «Московская правда» опубликовали это, я подумал: к сожалению, только констатация. И еще подумал: но ведь при прежних министрах и ее не было! Что ж, спасибо? Нет! У каждого из нас есть Учитель, к слову которого мы не можем не прислушаться: «...мы говорим прямо, не боясь признать зла, а желая раскрыть его, разоблачить, выставить на позор, вызвать мысль и волю, энергию, действие для борьбы со злом...» И еще: «...проверять работу, докапываться до сути, школить, учить, пороть всерьез. Изучать людей, искать умелых работников. В этом суть теперь; все приказы и постановления — грязные бумажки без этого». (Здесь не могу не вспомнить: корреспондент одной уважаемой газеты передал мне свой разговор с очень высокопоставленным, «умным и интеллигентным», как он выразился, сотрудником МВД СССР. «Да, — сказал тот с горечью, — у нас много мерзавцев, в том числе и в моем низовом аппарате. А что я могу сделать?») Это — к вопросу об «умелых работниках». А вот суровый вывод: «...беспощадное изгнание лишних чиновников, сокращение штатов, смещение коммунистов, не учащих делу управления всерьез — такова должна быть линия наркомов и СНКома...» Милиция, МВД СССР — один из аппаратов управления, и этим все сказано. Ну, а то, что приведенные цитаты принадлежат В. И. Ленину, — это ясное ясное, так сказать...

В феврале 1987 года инспекция управления кадров МВД СССР рассмотрела материал, обвиняющий министра внутренних дел Армении А. С. Шагиняна в коррупции, сокры-

тии преступлений от учета, насаждении в МВД республики чуждых и нетерпимых методов работы, преследовании за критику. Рассмотрение шло в присутствии министра и работников министерства и закончилось... аплодисментами: умиленные сотоварищи признали, что все обвинения в адрес генерала Шагиняна беспочвенны и лживы.

18 января с. г. «Правда» сообщила: «С трудом верится, что правоохранительные органы (Армянской ССР. — Г. Р.) поставлены вне партийного контроля. Но таковы факты. Не отсюда ли вседозволенность, коррупция, сращение «законников» с преступным миром? Не потому ли милиция, суд, прокуратура, как ни тяжело об этом писать, становятся связующим звеном между подпольным бизнесом и иными партийными, советскими работниками?.. Вот к чему приводит глумление над законностью и моралью».

Допускаю, что А. С. Шагинян не принимал участия в преступлениях. Но с того момента, когда его попытались обвинить в этих преступлениях, и до процитированной публикации прошел год, а в МВД Армении ничего не изменилось. «Умелый» ли работник (как минимум!) министр внутренних дел республики?

15 ноября 1987 года министр внутренних дел СССР генерал-полковник товарищ А. В. Власов дал интервью газете «Правда». Тема — «Наступать на алкоголь». Что ж, застойные годы довели народную беду до уровня национального бедствия, и министр приводит впечатляющие цифры задержанных, осужденных, подвергнутых профилактическому воздействию. Отрадный и очевидный шаг вперед. А вот как с цифрами общеуголовной преступности? Призывов к их опубликованию вполне достаточно. Сам А. В. Власов высказал однажды суждение о том, что эти цифры следует открыть. Почему у нас нет этой статистики? Не потому ли, что, как об этом сообщила газета «Московские новости» за 18 октября 1987 года, «... в стране число заключенных в тюрьмах оказалось одним из самых больших в мире»? Газета утверждает, что это число постепенно снижается — тем более! Нужна гласность, статистика. А теперь давайте посмотрим, что делается в США: в 1975 году (принишу извинения, более свежими данными не располагаю) было совершено тяжких преступлений 11 256 580.

Из них:

Убийств	— 20 510
Изнасилований	— 56 690
Грабежей	— 464 970
Тяжких телесных повреждений	— 484 710
Краж со взломом	— 3 252 100
Краж более пятидесяти долларов	— 5 977 700
Угонов автомобилей	— 1 000 500

Сообщено, что только 21 процент преступников задержан полицией. (Заметим, что это осмысленный, поддающийся вычислению процент. МВД же предлагает нам такую «статистику»: «число правонарушений в 1979 году уменьшилось по сравнению с 1958 годом на 18 процентов, а по отношению к 1940 году — на 41,1 процента»). На фоне показателей США собственная работа представляется вполне героической, тем более что этот героизм никак не вычисляется!

Сколько сразу вопросов: почему они не боятся этой статистики? Почему боимся мы (и это при том, что том Власов заметил в своем телеинтервью, что бояться нам нечего, тяжких преступлений у нас значительно меньше!)? Так сколько же аналогичных преступлений? Сколько раскрыто? Почему не раскрыты остальные и кто из работников персонально виновен в этом? Без такой статистики нельзя сделать и шага в деле наведения порядка в правоохранительной системе в целом и в милиции в частности. Есть и больная, как мне представляется, вопрос: а сколько у нас хищений со собственности и спекуляций? Если мои вопросы безосновательны и неправомерны — руководство МВД меня опровергнет, общество же, читатели, ознакомившись с этой опровергающей информацией, произнесут в адрес автора недоброе слово, но зато вздохнут с облегчением...

Энгельс говорил, что исследователь обязан искать истину независимо от того, выгодна она кому-то или нет, противоречит она полицейским предписаниям или нет. Я не переоцениваю значимости этого очерка, но он нужен только в одном-единственном случае: правда факта должна выявить истоки явления и причины, его породившие. Проанализируем для начала общегосударственный закон, которым руководствуется милиция в своей деятельности (служебные приказы и должностные инструкции секретны). Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (в других республиках действуют

аналогичные кодексы) принят Верховным Советом республики 27 октября 1960 года. Вот статья 52. Подозреваемый. Им признается тот, кто задержан по подозрению в совершении преступления, или тот, к кому применена мера пресечения до предъявления обвинения. Уже здесь видим мы вполне очевидную и очень выгодную милиции (задержание подозреваемого — ее обязанность) возможность необъятно расширительного толкования смысла закона, ибо что означает «подозрение»? В обиходе я могу сколько угодно подозревать соседа, например, в краже сена с территории моего дома, но разве это подозрение дает мне право предпринимать какие бы то ни было шаги по отношению к этому соседу? А милиция дает, и она немедленно произведет по такому подозрению обыск у соседа! (Факт, недавно опубликованный газетой «Правда».) Ясно: закон обязан четко и внятно разъяснить, что означает это пресловутое «подозрение». Обоснованное, подтвержденное объективными данными предположение о совершении преступления, например. Даже при таком уточнении не будет возможности у слишком ретивого работника милиции толковать закон вкривь и вкось по своему усмотрению! А вот и главное: подозреваемый вправе давать объяснения и т. д. Остальное нам не нужно. Смотрите: ВПРАВЕ! А это означает (при честном толковании закона), что подозреваемый вправе и не отвечать на вопросы и объяснений не давать. Это его защита. Этим практически осуществляется его презумпция невиновности, означающая, что никто не может быть признан виновным иначе, как по приговору суда, и доказать эту виновность должен правоохранительный орган — милиция, прокуратура, наконец сам суд, проверяя в ходе судебного следствия собранные доказательства. Но, увы, практика давно уже внесла свои коррективы. Главная: как правило, бремя доказывания лежит на нас с вами. Обычный разговор во время допроса: «Вы покупаете много дорогих вещей, зарплата у вас маленькая. Что можете объяснить?» Другими словами, чем докажете, что вы не преступник? Между тем не обязан я ничего и никому объяснять, и вопрос должен стоять так: «Следствием установлено, что вы купили за последний год много дорогих вещей, источники же дохода не позволяют вам приобрести и десятой доли. Хотите что-нибудь объяснить?» Разница, как мы видим, весьма существенная. Посмотрим статьи 72, 73, 74. Первая из них устанавливает, что свидетелем является любое лицо, которому известны обстоятельства, подлежащие установлению в данном деле. Вторая — что свидетель обязан явиться, сообщить все известное по делу и ответить на поставленные вопросы. При этом свидетель несет уголовную ответственность за отказ от дачи показаний и за заведомо ложные показания. И далее: свидетель может быть допрошен о любых обстоятельствах, подлежащих установлению в данном деле, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и о своих взаимоотношениях с ним. Казалось бы, все четко.

Нет. Здесь содержится завуалированное беззаконие, то есть, по выражению Ленина, дыра, в которую немедленно просовывает руку недобросовестный или преступный работник милиции. О статье 52 мы уже сказали, отметив «произвол подозрения». Но это не все. Смотрите: подозреваемый — это еще и тот, кто задержан. Или тот, к кому применена мера пресечения. Если же этого нет, то получается, что милиция вправе подозревать любого, кого ей заблагорассудится, она ничем в своем подозрении не стеснена, и вот здесь совершенно неизбежно получается так, что любой свидетель может подпасть под такое подозрение и его вынудят под страхом ответственности за отказ от дачи показаний и дачу ложных показаний свидетельствовать против себя самого! Доносить на себя самого, как в сказке Шварца, это же страшно... И это присутствует в нашей жизни годы и десятилетия. Никто и никогда в правоохранительной организации (я это утверждаю!) не сказал подозреваемому: ты имеешь право не отвечать на вопросы. Этого не говорят даже обвиняемому — ведь закон весьма хитро и здесь формулирует: «обвиняемый имеет право давать объяснения...». Не сказано, что имеет право не давать! И конечно же, никто и никогда не сказал свидетелю: ты имеешь право не свидетельствовать против себя самого. И уже тем более как это делает безнравственная и прогнившая полиция западных псевдодемократий: помните, что отныне любое сказанное вами слово может быть использовано против вас. Даже если это только изощренная демагогия — все равно прескрасно!

К великому сожалению, безнравственная метода допроса принципиальна в наших правоохранительных органах!

В чем тут дело? В безнравственном законе, конечно.

(Правоохранительные органы только производное, будем справедливы.) Этот закон, принятый в 1926 году (практически сразу же после окончания гражданской войны), в разрушенной, окруженной враждебными государствами стране, естественно, и не мог быть до конца демократическим. Но то, что объяснимо (не оправдано!) условиями, местом и временем, то не может быть объяснено (и оправдано — тем более!) сегодня, в условиях демократизации, гласности и перестройки. Ведь закон, несмотря на новый, 1960 года, Кодекс и десятки поправок и дополнений к нему, остается прежним, на уровне мышления времен далеких уже...

Этот печальный вывод полностью распространяется и на статью 122 — задержание подозреваемого. И хотя закон здесь изложен вроде бы и исчерпывающе и распространительному толкованию не подлежит (задержать гражданина СССР можно только в том случае, если он застигнут на месте совершения преступления или сразу после. Когда очевидцы прямо укажут на данное лицо как на совершившее преступление. И когда на подозреваемого, его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления. Во всех остальных случаях подозреваемого можно задержать только тогда, когда он пытался бежать, когда у него нет постоянного места жительства или когда не установлена его личность), милиция задерживает сплошь и рядом любого, по собственному усмотрению и подозрению. Вот только что опубликовано сообщение КПК при ЦК КПСС «О серьезных недостатках в деятельности коммунистов — руководителей правоохранительных органов Удмуртской АССР». Сказано: «...продолжают иметь место многочисленные факты необоснованного задержания граждан...». Рискну предположить, что эта ситуация характерна и для страны в целом. И опять-таки: если я не прав — меня необходимо гласно и доказательно опровергнуть!

Вот статья 139 — о недопустимости разглашения данных расследования и об отобрании подписки о неразглашении. Как пользуется этой статьей милиция, например? Сначала на допросе свидетель угрожает расправой, избиванием, шантажируют сообщением на работу и увольнением с работы, а потом отбирают подписку о неразглашении. Очень удобно и беспроблемно, и все это только потому, что и в этой статье дыра, в ней все изложено невнятно и неполно. Как минимум следует дополнить текстом: «кроме методов и способов, воспринятых участником расследования как незаконные».

Беззастенчивое, так сказать, «в интересах дела» манипулирование законом присутствует в деятельности прокуратуры и милиции сплошь и рядом. Как, например, получить доказательства (документы, показания), если все испробовано и отработано, а толку нет! В кинофильме «Черный принц» (и многих-многих других) полковник Зорин, уважаемый ветеран, добрый человек, приходит к преступнику домой и требует данных на другого преступника. «Дашь нам его — оставим в покое, не дашь — вот у меня здесь палочка, она тянет года на три...» Что остается бедному уголовнику? Нравственно не «сдать» бывшего товарища (можно, конечно, и вполне нравственно «сдать», но это в том единственном случае, когда ты «сменил пластинку», перевоспитался и «завязал», и то здесь есть известное сомнение) или безнравственно спасти себя самого?

Читатель, можешь не сомневаться. Я думаю, что и твоего личного опыта вполне достаточно, чтобы честно ответить на этот вопрос.

Заметим, что и этот метод получения доказательств — уважаемая часть джентльменского набора правоохранительных органов. В начале очерка мы уже упомянули о судьбе Леоновой, которую оговорили из страха...

И наконец статья 168 — об основаниях для производства обыска. Эта статья — майский день, именины сердца, великопечно отечканенное беззаконие. «Следовательно, если достаточные основания полагать, что в каком-либо помещении или ином месте, или у какого-либо лица находятся орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем... (остальное нам не нужно), производит обыск для их отыскания и изъятия». Смотрите: заволаживающие слова об орудиях преступления, ценностях, добытых преступным путем, начисто снимают промелькнувшее было сомнение в невнятности формулировки «достаточности». Но давайте сбросим чары и задумаемся: в самом деле, что означает «имея достаточные основания»? Для меня, например, это основания статьи 122, да и то только в продуманном и не распространительном толковании каждой позиции, а для работника прокуратуры или милиции? Здесь часто решают

так: проверим на всякий случай. Нет так нет, ведь, скажем честно, и не пожурят даже, да и не привык наш человек жаловаться на всеильную милицию, это только в последнее время распоясался гражданин, а раньше... Ну, а в случае успеха, кто станет интересоваться какими-то там «основаниями»?

Двинемся дальше. Кроме «законных» истоков беззакония, есть и нравственно-этические. Необоснованные репрессии 30—50-х годов породили и новую «этику», и новую «нравственность». Имя этому новообразованию — страх. Он давно уже перестал быть явлением социальной психологии. Он принадлежит генетике, сколь ни прискорбно... Есть и другое: этично и нравственно все, утверждали апологеты социально-политических новаций давнего и недавнего прошлого, что полезно «нам», народу — созидателю и строителю, и вредно «им», врагам народа. С врагами надо поступать по-вражески, учил «великий Сталин». В своей известной телеграмме он утверждал: если империалистические разведки применяют пытки к коммунистам и рабочим, то почему бы советской разведке не применять физические методы воздействия к отдельным неразоружающимся врагам рабочего класса? О том, что в те времена «строители» и «враги» существовали по закону диффузии и часто менялись местами, говорить не будем. Зададим риторический вопрос: а что, эта телеграмма бесследно провалилась, по слову историка и философа Волкогонова, в «ячей истории»? Она не оказала воздействия на всех нас, в том числе и главным образом на деятельность правоохранительной триады, пусть не прямо, а косвенно?

Сложилась немыслимая ситуация: работник триады в рамках прямой своей деятельности всегда прав. Жаловаться бесполезно. Никто еще из обращавшихся не получил ответа от вышестоящих правоохранительных инстанций о том, что жалоба нашла подтверждение. 6 января с. г. «Комсомольская правда» печально констатировала: выступления газеты по поводу и в связи с беззакониями, творимыми милицией, бесполезны. Ответ, как правило, всегда один: факты не подтвердились. Они никогда не находят подтверждения, и не будем обольщаться газетными сообщениями о наказании работников триады за прямую деятельность. Это «по вине» газетчиков и партийных органов, как правило. Триада же держит круговую оборону, стоит «на смерть», отбиваясь от прессы ни к чему не обязывающими общими «признаниями» ошибок и заблуждений. (Я употребляю этот термин — «триада» для того, чтобы обозначить статус-кво. Милиция работает в цепи, она только звено.) Вот факт: в газете «Известия» была опубликована беседа Ю. Феофанова с представителем милиции. Феофанов говорит о пытках. Работник милиции отвечает: «Ваши эмоции вполне понятны». И это означает, что критика воспринимается как жужжание комара, не более!

У беззакония есть и гносеологические корни. Когда является соответствие идеи социальному результату, когда происходит пресловутый процесс «объективирования», мы видим, что социально-аберрированные установки типа сталинского утверждения о том, что по мере продвижения к социализму возрастает классовая борьба, приводят не только к конкретным трагическим результатам, но и к отдаленным. Ведь и сегодня этот тезис как некий святой дух позволяет «стоять на страже», «бороться» и тому подобное, как будто триаде и в самом деле дано ликвидировать уголовную преступность. А все ли знают, что триада только некий забор, поставленный государством на пути преступности, только некий санатор, призванный очищать (по возможности) преступные огороды и свалки, ликвидация же этого позорного социального явления — преступности станет возможной только тогда, по слову Маркса, когда в обществе будут уничтожены противоправные источники преступлений и общество отведет каждому своему члену свободное место для его деятельности. Только это и ничто другое «убьет» преступность. А заклинаниями злых духов изгоняют, да и то это удел шаманов.

Что предлагает министр внутренних дел СССР тов. Власов для улучшения ситуации в милиции? Вот эти предложения: решительная чистка рядов, усиление контроля, идейно-политическое и нравственное воспитание, качественный подбор кадров на основе конкурса.

Это все, конечно же, не вызывает возражений, но почему так трудно отделаться от мысли, что все это уже было, и многожды?

Разве не приходили в милицию (и не приходят ли?) рабочие с заводов? Это ведь конкурс, именно конкурс, и ничто другое!

Разве не приходили на помощь милиции (и не раз!) чекисты, отдавая лучшие свои кадры? Это конкурс самого высокого уровня!

Разве не приходят на службу в подразделения милиции выпускники Академии МВД СССР, где читает лекции профессор Ляпунов, четко и строго, в соответствии с законом разъясняющий будущим практическим работникам, что такое спекуляция антиквариатом, например?

И вообще разве строжайший отбор в милицию, тончайшая фильтрация кадров по анкетным и прочим данным не есть самый изощренный конкурс, какой только и можно себе представить? В положении о милиции сказано, что в ней может служить каждый, кто... Нет. Не каждый. И далеко не каждый.

Что касается контроля, то система МВД пронизана им насказов, а также вдоль и поперек.

А идейно-политическое воспитание? Разве недостаточно партийных организаций и Политического управления?

Видимо, дело не в формальном определении задачи, а в ее неформальном исполнении.

Но вот этого «неформального», не для галочки исполнения нет в МВД годы и десятилетия уже...

Приходит выпускник профессора Ляпунова в УБХСС ГУВД Мосгорисполкома, например, и происходит с этим выпускником мгновенная метаморфоза: был обученный проводник и исполнитель закона, а стал...

Маркс утверждал, что социальное бытие определяет социальное сознание. Каково же бытие в системе МВД, например?

В этом бытии властвуют и главенствуют основополагающие методы и способы раскрытия преступления, наработанные и улучшенные поколениями сотрудников, плюс некая (тоже основополагающая) идея, от которой добровольно никто и никогда не отказывался: практически абсолютная власть, сохранившаяся и упроченная с момента своего возникновения как средства борьбы против свергнутых эксплуататорских классов, против расслоенного общества, против профессиональной преступности. Эту власть можно ощущать примитивно и незначительно — как-то раз подвыпивший инспектор тогдашнего ОПБВ (Отдела политико-воспитательной работы) сказал мне, стоя на обочине Щелковского шоссе: «Сейчас поедем. Я могу практически любую машину тормознуть». Можно ощущать власть и более глобально, что ли: «Я могу практически по любому проехать танком». Это из «мыслей» оперработника УБХСС Москвы Х. Можно ощущать власть и абсолютно: «Милиция может входить в квартиры граждан практически в любое время суток». Это из сравнительно давнего уже интервью журналу «Человек и закон» ответственного работника МВД СССР.

Почему же делается такой огромный упор на власть, почему это чувство столь гипертрофировано?

Потому что некоторые пережитки в сознании людей не миф, а жестокая и страшная действительность.

Самый страшный из этих пережитков — рабство. Еще в романе «Мать» А. М. Горький писал: «Быют и звереют от безнаказанности, заболывают сладострастной жадной истязаний, отвратительной болезнью рабов, которым дана свобода проявлять всю силу рабских и скотских привычек». Лермонтов в свое время утверждал, что живет в «стране рабов, стране господ». Н. Г. Чернышевский — что русские — жалкая нация рабов, все рабы — сверху донизу, а В. И. Ленин заметил в связи с этим, что Чернышевский занимает самую патристическую позицию: не хочет видеть собственный народ в жалком и позорном состоянии рабства. Я думаю, понятно, что в этих высказываниях идет речь отнюдь не о крепостном состоянии русского человека. Речь о его душе.

Что же изменилось с тех пор?

Формально рабство было упразднено в России в 1861 году. Фактически — 25 октября 1917 года. Но Ленин говорил, что сила привычки — самая страшная сила. И если не выдавливать из себя раба капля по капле — привычка останется. Это уже Чехов, и он безоговорочно прав. «Мы не рабы, рабы не мы!» — это повторяли как заклинание наши дедушки и бабушки — видимо, угроза внутреннего рабства была достаточно реальной.

А мы? Почему мы боимся начальства? Почему оно, в свою очередь, боится более высокого начальства? И почему это последнее боится еще более высокого?

Об этом давно уже не говорили и не писали — «развитой социализм» и рабство были, конечно, понятиями несовместимыми. Но ведь есть это скверное состояние души, несомненно, есть. Оно мешает говорить правду в глаза — срабаты-

вает рабская боязнь потери престижного и хорошо оплачиваемого места. Оно мешает подчас заступиться за слабого или дать отпор мерзавцу — а «если что»?

Оно дает огромное упоение властью, потому что только раб может упиваться неограниченной властью над более слабым, зависимым от него человеком.

Во всех звеньях и системах триады многие упиваются властью. И это обрекает охрану правопорядка на гибель и вырождение (оно уже давно началось!) или перерождение, что, видимо, еще опаснее и страшнее. Ситуация предкризисная, об этом уже сказано М. С. Горбачевым.

Но рабство не просто опасное заболевание, оно — зараза, эпидемия, оно разлагает и губит.

По вышеупомянутому делу «антикваров» гражданку М. и ее мужа продержали на Петровке, 38, без оформления задержания в порядке статьи 122 УПК РСФСР ни много ни мало — 36 часов! Я сказал М. о том, что непременно упомяну об этом факте в своей статье. М. ужаснулась: «Мы с мужем умоляем вас не делать этого — нам же будет хуже, и мы все равно от всего откажемся. Ну, что такого случилось? Ну, задержали, так ведь и в уборную отпускали, и бутерброды давали, и даже совсем выпустили». Это ли не рецидив рабской психологии «снизу»? О рабской психологии «сверху» мы уже говорили.

Убежден: чистка рядов, усиление контроля, идейно-политическое и нравственное воспитание, как привыкли его понимать в МВД, равно как и «качественный» подбор кадров, уже ничего не изменят, потому что это меры косметические, фасадные, что ли, нужны же изменения кардинальные, основополагающие.

Главная мера — абсолютная, ничем не ограниченная гласность. Я не призываю широко опубликовывать методы и способы работы МВД, суда и прокуратуры (хотя у двух последних и в самом деле все вообще и без всякого исключения должно быть на виду), я понимаю, что, пока остается преступность, эти методы и способы борьбы оглашаться публично не должны.

Но вот РЕЗУЛЬТАТЫ работы должны быть гласными полностью и без всяких изъятий. Сколько преступников привлечено к уголовной ответственности, сколько взято на учет, сколько осуждено и как они проходят перевоспитание, как исправляются, сколько оправдано и почему, сколько работников триады нарушило свои должностные инструкции и полномочия или закон и какое эти люди понесли за это наказание — все это безусловно и неопровержимо должно стать законом бытия триады. Простая аналогия: если шофер не следит за уровнем бензина по прибору или если такой прибор вообще отсутствует — автомобиль остановится в самый неподходящий момент. Долгие годы общество ни малейшего представления не имело о том, что происходит в системах и подразделениях триады, какова результативность этой деятельности, какие ошибки совершаются и почему. Это привело к предкризису. Триада еще продолжает выполнять свои функции, но сегодня она подобна угасающему маятнику, по мере замедления которого убыстряют свой ход разрушительные центробежные силы. Как это остановить? Не мною замечено, что в нашем народе в трудные моменты истории появляются неисчислимы силы. Контроль народа за своим же производным — самая надежная гарантия нравственной, этической работы этого производного.

Несколько практических размышлений. Я много места уделю произволу и беззакониям. Между тем все это результаты авторитарного, бездумно-высокомерного подхода к проблемам преступности. Не существует проблемы антиквариата, в частности. Достаточно вынести торговлю им на аукцион — и испарится спекуляция, исчезнут мертворожденные «линии» БХСС, уйдут в небытие страх и нездоровый ажиотаж. Прибыль же государства возрастет неизмеримо!

Стоит сказать несколько слов и о том, что МВД СССР — организация, стоящая на переднем крае борьбы с преступностью, — работает доисторическими способами и методами и, сталкиваясь с явлениями новыми, не предусмотренными инструкцией или параграфом незапамятных времен, теряет, никнет, становится недееспособной. В 1978 году я беседовал с начальником крупнейшего управления внутренних дел страны. Он сказал: «В городе появилась группа интеллигенции, которая выезжает к границе на автомобилях, перехватывает иностранцев-автомобилистов и приобретает у них валюту по сходной цене. Государство несет огромные убытки, а сделать мы ничего не можем. Наши опергруппы, выезжающие к предполагаемому месту встречи, перехватываются специальными наблюдателями с рациями, наблюда-

тели предупреждают основных фигурантов, и те мгновенно исчезают. Мы установили, что эти люди и встречаются для обдумывания очередной «операции» вполне «интеллигентно»: в консерватории, филармонии, музее. Но мы не можем подойти к ним. Раньше, когда все жили в коммунальных квартирах, мы знали каждый шаг каждого интересующего нас человека, сегодня у всех отдельные квартиры, и мы терпим фиаско». Характерное признание. А преподаватель высшей школы милиции сказал так: «Преступность все более и более приобретает «беловоротничковый» характер, и мы в растерянности. Мы не знаем, как с ней бороться».

Что ж, если руководствоваться в своей деятельности указаниями господина Кошко — начальника сысской полиции Москвы начала века, — тогда, конечно. Пером, пишущей машинкой и даже фотороботной картотечкой преступности не сдержат (сообщение «Правды» за 10 ноября 1987 г.). Начальник отдела ГУБХСС МВД В. Ерин рассказывает: «Операция проведена блестяще. ВПЕРВЫЕ (выделение наше) мы применили в своей практике новейшую компьютерную технику». Далее т. Ерин сетует, что такой способ слишком «затратен» для государства, и призывает пользоваться испытанным: «заявительством». Комментарии, как говорится, излишни...

Между тем сегодня весь мир применяет для борьбы с уголовной преступностью все достижения кибернетики и других новейших исследований. Системный анализ, построение модели, отражающей взаимосвязи реальной ситуации, системное программирование и использование специальных компьютеров — давно уже проза в мире капитала. А у нас — «затратно». Что ж, дубина и кулак — вот моя полиция, по слову Н. А. Некрасова...

Когда же это уйдет в небытие?

До тех пор не уйдет, пока мы будем считать, что преступность убывает усилиями триады. До тех пор, пока принцип «желаемое за действительное» будет в триаде основополагающим. До тех пор, пока будут считать, что дорогостоящие компьютеры, программы, ученые не нужны! Пока будут вылавливать уголовников проверенным и апробированным «личным сыском». (А если сыск действует плохо — отчетность можно всегда поправить в нужную сторону, ведь главное на всех уровнях МВД СССР не раскрываемость как таковая, а «процент раскрываемости»). Риску утверждать, что правительство вряд ли имеет достоверную картину преступности в стране. Ведь отчетность поправляется — от отделения милиции до министерства — раз пять, не меньше.)

Предпоследний министр внутренних дел сократил количество ЭВМ в информационно-вычислительном центре МВД за ненадобностью.

Обучение кадров в МВД находится на уровне каменного века. Я смею и обязан это утверждать, потому что то и дело в прессе проходят сообщения о гибели работников милиции. Я в описываемых ситуациях не вижу ничего необычного или сверхъестественного: как правило, это всегда «штатная» ситуация столкновения с уголовником. Но работник погибает. Это значит, что его не научили азам.

Что может натворить «не туда» обученный работник, мы уже видели, это, так сказать, другая сторона медали.

По моему глубокому убеждению, система триады станет гуманной только тогда, когда она воспримет дух закона, а не его лазеечную сторону, когда по зову души и сердца система отпустит десять виновных, лишь бы не загнать в тюрьму одного невинного или тем более, не дай бог, убить его безвинно, и такое бывает, знаем.

...И все же милиция — организация героическая, и мы благодарны ей за многое.

По улицам наших городов можно безбоязненно (за редкими исключениями) ходить и ездить.

Миллионеры жертвенно приходят на помощь гражданам в самых трагических обстоятельствах, безбоязненно идут на бандитские ножи и пули, погибают, спасая народное достоинство и нас с вами, читатель. Это правда. Мы все о ней знаем и поэтому обязаны говорить о ней вслух и громко.

И этот очерк написан с одной-единственной целью: побудить милицию (сколь ни слабы мои усилия) к укреплению той несомненной ее ипостаси, которую мы все любим и уважаем, лицо у милиции должно быть только одно: защитницы народа и государства, организации бескомпромиссно справедливой и нравственной, руководствующейся в своей деятельности только **ЗАКОНОМ**.

РАВНЫЕ УСЛОВИЯ — СЕГОДНЯ!

Взгляд читателя

Десятки лет в сознание и учителей, и школьников, и родителей внедрялась мысль о том, что школа, девятый класс — для лучших учеников, ПТУ — для самых слабых. «До сих пор, несмотря на реформу, училища остаются пугалом для слабых учеников», — заявил на XX съезде ВЛКСМ учащийся ПТУ А. Зубринкин. Уже целые поколения воспитаны в духе негативного отношения к профтехучилищам, а ведь это влечет за собой и девальвацию рабочей гордости.

Школе стало удобно сбрасывать, как балласт, всех слабых — свой «брак».

В томских профтехучилищах лишь 5 процентов учащихся первого курса получают положительные оценки за первые контрольные работы по математике. Вот какой «контингент» получают ПТУ от школы. А какой выпускают? 80 процентов выпускников ПТУ имеют по всем общеобразовательным предметам «тройки» (по формуле: «3 пишем, 2 в уме»). Такое ли пополнение рабочего класса ждет от ПТУ наше народное хозяйство?

Что же ждет тех подростков, которых школа «милостиво» оставила себе? Отдавая дань моде на профориентацию, она знакомит учащихся с некоторыми производствами. Но ни учителя, ни школьники не принимают этой «политехнизации» всерьез: после окончания 10-го класса по приобретенной в школе специальности идут работать лишь единицы. В остальном школа по-прежнему нацеливает выпускников на поступление в вуз. Но потребность общества в специалистах с высшим образованием весьма ограничена. Лишь небольшая часть молодежи, получившей среднее образование (около 15 процентов), может продолжать учебу в вузе. Выпускники школ, не попавшие в вуз, все равно приходят на производство, но без необходимой подготовки.

Школьная реформа, осуществляемая с недопустимой медлительностью, предусматривает приобщение учеников к общественно полезному труду и подготовку к ожидающей их после окончания школы трудовой деятельности. Предполагается решительное перераспределение учащейся молодежи между старшими классами общеобразовательной школы и профтехучилищами — в пользу последних.

Однако формальная логика иногда пасует перед диалектикой жизни. Не идут школьники в своей массе в профтехучилища!

Почему? Что отпугивает молодежь от профтехучилищ, а отчасти и от техникумов? Существующие ныне ограничения на прием их выпускников в вузы.

Действующие правила приема в высшие учебные заведения требуют, чтобы выпускники профтехучилищ сначала отработали на производстве не менее двух, а выпускники техникумов — трех лет, прежде чем получат право поступать в вуз.

В виде исключения разрешается поступать в вуз сразу после окончания техникума только отличникам, в количестве не более 5 процентов, а после профтехучилища — лучшим выпускникам в количестве не более 10 процентов выпуска. Почему — 5 и 10 процентов, а не 8 или 12? Ручаюсь, что и этого никто не сможет обосновать.

Остальные выпускники профтехучилищ и техникумов

могут поступать в вуз, причем если на родственные специальности, то даже — вне конкурса, но только проработав установленный срок на производстве. А это значит, что большинству выпускников техникумов и училищ дорога в вуз практически закрыта. За два-три года большинство девушек выходит замуж, а юноши уходят в армию. Знания, необходимые для продолжения учебы, с годами улетучиваются, и восстановить их заново становится для многих непосильным.

Перед нами налицо диалектическое противоречие — не ошибка руководства, не нечаянное недоразумение, а закономерно сложившееся противоречие, вызревшее в недрах социалистического общества. В чем его суть? С одной стороны, народному хозяйству необходимо, чтобы выпускники профессиональной школы шли работать не куда-нибудь, а на то производство, для которого их обучали. И с этой стороны существующая система отработки была в прошлом вполне оправдана. Но, с другой стороны, тому же народному хозяйству необходима политехнизация всей школы и резкое увеличение численности учащихся, завершающих среднее образование не в десятом классе, а в ПТУ. Но пока выполняется первое условие — обязательная отработка, закрывающая выпускникам профессиональной школы дорогу в вуз, профтехучилища не могут добиться популярности, необходимой для выполнения второго условия — массового перехода школьников в ПТУ.

Создание равных условий, то есть беспрепятственный допуск выпускников средних профтехучилищ и техникумов в ряды абитуриентов вузов, очевидно, приведет к некоторому ужесточению конкурса, который по ряду специальных замечаний ослаб в связи с текущей демографической обстановкой, и обеспечит отбор и прием в вузы наиболее талантливых представителей каждого выпуска всех средних учебных заведений. Пусть выпускники и школ, и профтехучилищ, и техникумов получат одинаковую возможность поступать в вуз в порядке общего конкурса, как того требует социальная справедливость.

Может быть, для полной ясности стоит задаться вопросом: сколько же выпускников профессиональной школы придется ежегодно освобождать от работы по распределению в связи с поступлением в вуз, создав равные условия для всех абитуриентов? По данным ЦСУ СССР, ежегодно около 5 миллионов юношей и девушек оканчивают средние учебные заведения всех типов. А зачисляются на дневные отделения вузов приблизительно 700 тысяч. То есть 15 процентов.

Среди выпускников профессиональной школы процент зачисленных в вузы сейчас значительно ниже пятнадцати, среди школьников — много выше. После создания равных условий для тех и других этот процент выровняется. Ведь при этом поднимется престиж профессиональной школы и, как следствие, качественно изменится контингент ее учащихся. Следовательно, каждый год 15 процентов выпускников профтехучилищ и техникумов будут продолжать свою учебу в вузах, а не трудиться на производстве?

Но и народное хозяйство должно принести эту жертву для торжества социальной справедливости и поднятия престижа профессиональной школы. Сиюминутная потеря небольшой части выпускников профтехучилищ и техникумов для производства в перспективе обернется повышением уровня подготовки к труду всего ежегодного пополнения рядов рабочего класса, которое будет приходиться на производство не из школ, а из профтехучилищ.

Однако в правилах приема в вузы, ежегодно пересматриваемых Министерством высшего и среднего специального образования СССР, все существовавшие ранее ограничения на поступление в вузы выпускников профтехучилищ и техникумов пока что полностью сохраняются.

Чтобы быстрее решить вопрос, застрявший более чем на три года между ведомствами, с предложением об освобождении от отработки выпускников ПТУ и техникумов, поступивших в вуз, в правительство мог бы и войти Центральный Комитет ВЛКСМ.

Как только этот вопрос будет решен, несомненно, приток желающих учиться в профтехучилищах и техникумах немедленно возрастет, планы набора в них — впервые за много лет — станут повсеместно выполняться, и профессиональная школа перестанет быть золушкой среди других средних учебных заведений.

*Сергей БУРКИН,
старший преподаватель Томского
государственного университета*

Александр ИВАНОВ

НЕСКОЛЬКО СЛОВ В ЗАЩИТУ КУЛЬТУРЫ

(Полемические заметки)

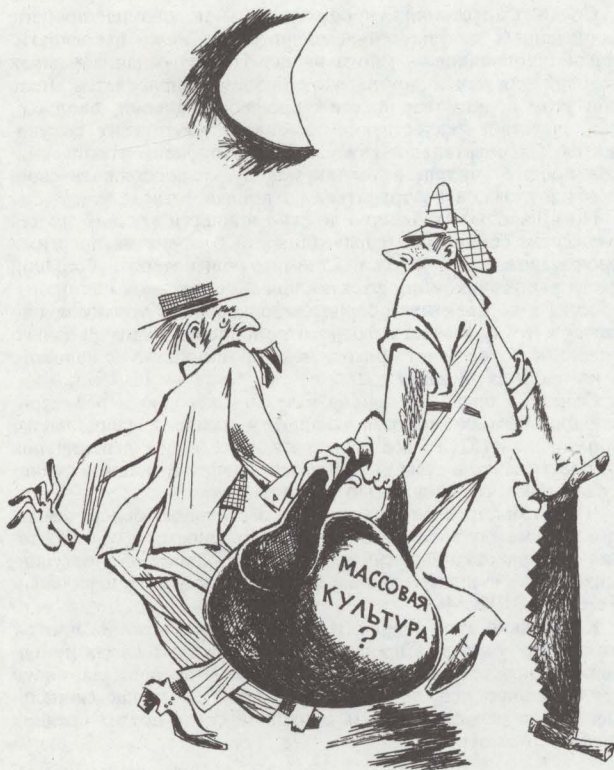


Рисунок И. Оффенгендена

«Вот идем мы с вами мимо областной филармонии, народ стоит за билетами: под щитом — «Ведущий передачи «Вокруг смеха» Александр Иванов». Людей на этот вечер придет, может быть, столько, сколько было их на коротком выступлении академика Лихачева. Но главное начнется завтра, когда будут рассказывать, сколько заплачено за билет и что за эти деньги получено. Вот где будет смех, вот когда зазвучит острое фольклорное словцо по адресу ведущего, который разъезжает по городам, чтобы людей посмешить. Придет время, и возле той же филармонии объявится другой щит: «Владимир Мигуля, композитор, участник передачи «Утренняя почта».

Что же это за звание такое: «участник передачи», «ведущий передачи»? За что ж такие цены на билеты, как будто «Ла Скала» приехал?

Подойдешь к такому щиту и стоишь, тупо уставясь».

Владимир Почечикин. «Записки провинциала».

«Наш современник» № 11, 1986 г.

Прошу, конечно, прощения. Неловко начинать эти заметки с такого эпиграфа, привлекая тем самым внимание к собственной персоне. Но что делать — возникают по этому поводу кое-какие мысли, которыми хочется поделиться.

Итак, стоит автор «Записок провинциала» перед щитом, «тупо уставясь». Против этого возражений нет: каждый стоит как может, в силу отпущенных ему природой возможностей.

Если занесло его случайно на вечер «ведущего передачи», а также на концерт композитора Владимира Мигули, то они ему, конечно же, не понравились. Пустил, видимо, писатель по окончании встречи «острым фольклорным словцом», матерным, надо думать. Тоже, как говорится, его личное дело, хотя могли и за хулиганство привлечь. Спрашивается только: кто его туда звал? Знал ведь, на что шел, не мог не знать, не в пустыне живет. Зачем «такие деньги» платил, время терял? Пошел бы в другое место или дома посидел.

Могу засвидетельствовать: творческие вечера в прекрасном городе Орле, о которых идет речь, прошли при аншлагах. Народ шел охотно. Был и успех. Не сомневаюсь, впрочем, что мнения зрителей разделились: одним — понравилось, другим — нет. Да ведь так и должно быть! Как же иначе? Сколько людей, столько мнений. Да и вкусы разные.

Но автора «Нашего современника» (а он отнюдь не одинок) аншлагом не смутит. Наоборот! Ему это — как красная тряпка для быка. Разящих штампов тут сколько угодно: «дешевая популярность», «воинствующая пошлость», «игра на понижение», «тривиализация классики», «на потребу невзыскательному вкусу» и т. д. и т. п.

Короче — массовая культура.

Но, может быть, стоит все же разобраться, что же это за бесовское наваждение такое — массовая культура? Это что, изобретение нашего века? А в прошлые века? Ярмарочная, балаганная культура, барды, менестрели, бродячие трупы — это что? Может, вообще не культура? А если культура, то разве не массовая? И если эта напасть только нашего времени, то почему миллионы людей во всем мире, и в нашей стране в том числе, неудержимо тянутся к ней, упорно пренебрегая иными бесспорными высотами человеческого духа? И что в конце концов делать с этими людьми: жалеть, карать, перевоспитывать?

А если все же чуточку видоизменим формулировку: массовая культура — культура для масс.

В воспоминаниях Клары Цеткин о В. И. Ленине приводятся слова Владимира Ильича, которые известны, кажется, всем: «Искусство принадлежит народу». Но все ли знают, что эта цитата имеет продолжение?..

Далее сказано так: «Оно должно быть понятно этим массам и любимо ими». Деталь немаловажная, не правда ли?

Искусство многообразно. И если спросить: что лучше — Девятая симфония Бетховена или русская частушка — на вас скорее всего посмотрят, как на ненормального: что за глупый вопрос. С одной стороны — сложнейшее авторское произведение, шедевр, требующий для восприятия солидной духовной подготовки, а с другой — тоже произведение, но народное, озорное, прелестное, воспринимаемое, что называется, с ходу. Симфонией мы наслаждаемся в строгом концертном зале, можно слушать ее и дома, поставив на проигрыватель пластинку. Частушка же чаще всего звучит в легком, развлекательном концерте, в застолье, на деревенских посиделках.

Дело в том, что и то и другое является искусством, частью культуры. Но разного уровня, на разные случаи. Нет, разного уровня не в том смысле, что одно выше, а другое ниже. Их просто нельзя сравнивать. Вряд ли, сидя

с друзьями в ресторане и желая потанцевать, вы обрадуетесь, услышав с концертной эстрады этюд Скрябина. Тут нужно что-то другое, полегче, поитмичнее, если хотите, попроще. Непритязательный шлягер «Поспели вишни в саду у дяди Вани...» тут в самый раз. И это вовсе не помешает вам в ближайший выходной день насладиться симфоническим концертом в филармонии.

И здесь возникает главный вопрос: а что делать с человеком, который на дискотеке потанцевал, а в филармонию идти не хочет? А Розенбаум задевает какие-то струны его души, а бесподобная Т. Синявская — ни-ни! Куда этого вконец разложившегося типа девать?

Новобранец, попадая в армию, обязан вызубрить Устав. Не хочешь — заставят. Тут все как один.

С культурой сложнее. Не хочет человек разбираться в эстетических особенностях живописи эпохи Возрождения; не интересуют его сложные взаимоотношения Белинского с Гоголем; равнодушен он к камерной музыке позднего средневековья. Не надо это ему! Не испытывает он в этом необходимости. Тяги у него к этому нет. Что с ним делать?

И вдруг приходит в голову крамольная мысль: А МОЖЕТ, ОСТАВИТЬ ЕГО В ПОКОЕ? Дозреет, ощутит внутреннюю потребность, так и сам дойдет. И тут уж его в стремлении приобщиться ничем не остановишь...

В любой профессии есть свои ступени мастерства. Так случилось, что заметки эти я начал набрасывать в больнице. Так вот, о врачах. Есть врачи рядовые, средние, есть, говорят, даже плохие. Есть хорошие, отличные, талантливые. Их немного. И есть гении — их вообще раз, два — и обчелся.

Так и во всем. И в культуре в том числе.

Массовая культура возникла не вчера. Она уже имеет свою историю, свою классику, свои, если угодно, шедевры.

Остервенело понося масс-культуру, мы иногда, кажется, забываем, что именно из нее в историю человеческой культуры — не «массовой», а просто культуры! — вошли Глен Миллер и Чарли Чаплин, Эдит Пиаф и Александр Вертинский, Элвис Пресли и Владимир Высоцкий, Морис Шевалье и четверка «Битлз».

Чем, скажем, уникален такой представитель массовой культуры, как Чаплин? Тем, что его искусство ВЕРТИКАЛЬНО. Одних приводит в восторг только тот момент, когда физиономии Чарли залепают тортом. А у других сердца сжимаются от боли и сочувствия к маленькому, беззащитному человеку в джунглях большого города, такому трогательному и смешному в своей трагедии. А ведь те и другие видят ОДНО И ТО ЖЕ! Такое, конечно, не всем дано... На то и гений!

И не надо меня убеждать, что Моцарт выше Глена Миллера. Не выше, а просто эти явления находятся в разных сферах культуры. А нужны они человечеству одинаково.

Об интересном эпизоде вспоминает критик Бенедикт Сарнов.

«Когда Сергей Прокофьев возвратился в СССР (это было в 1932 году), у нас здесь всеобщим музыкальным кумиром был Дунаевский. И вот кто-то из поклонников Прокофьева сказал ему:

— Как это ужасно, Сергей Сергеевич, что у Дунаевского такая грандиозная, ни с чем не сравнимая слава, а вас знают, в сущности, только узкий круг ценителей.

— Это естественно, — пожал плечами Прокофьев. — Да и как может быть иначе? Ведь это же другая профессия. Разумеется! Но я бы еще добавил: другая профессия в ИСКУССТВЕ.

Боюсь, что и сейчас славное имя Дунаевского куда более популярно в массах, чем имя великого Прокофьева. Не говорю уже о всеобщем любимце Раймонде Паулсе...

А разве не представители масс-культуры Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Лидия Русланова? Они трудились для масс и были поняты ими! Это было их высшим счастьем и наградой. А великий артист советской эстрады Аркадий Райкин! А несравненная Лайза Минелли! Они ведь тоже оттуда...

Странно слышать, что тысячные массы людей, осаждающие дворцы спорта, когда в них выступает Алла Пугачева, — это, мол, не «народ», а «толпа». Каким же заскорузлым высокомерием надо обладать, чтобы утверждать подобное. На этих концертах встречал я рабочих и артистов, студентов и военнослужащих, домохозяек и ученых. Одни в восторге, другие не приемлют... Что ж, в следующий раз не придут. Да на здоровье! Все правильно.

Лет 35 тому назад, когда, прорываясь сквозь вой глушите-

лей, к нам проникли буги-вуги и рок-н-ролл, на каждом углу функционировали «Школы танцев». Не знаю, кто в них обучался. Чему — знаю. Учили там танцам мертворожденным, придуманным неведомыми мастерами хореографии. Где они сейчас — эти «танцы»? А рок, проклинаемый ретроградами рок, совершает свое триумфальное шествие по миру. Значит, отвечает какой-то общественной потребности. Борьба с ним — сизифов труд.

Давно гложет меня подозрение, что никакой «массовой культуры» просто-напросто нет. Есть Культура и антикультура. А вот в Культуре есть вещи наивысшей сложности и то, что попроще. Просто — вовсе не значит плохо. Надо ведь и отдохнуть, и посмеяться, и попрыгать под музыку, как у нас принято говорить, — расслабиться. Что в этом дурного?

Любопытно, что по ведомству масс-культуры проходит ныне и литературная пародия, которой я занимаюсь, — пишу и исполняю со сцены. Нет, пожалуй, в литературе жанра более «элитарного», камерного, рассчитанного на чрезвычайно узкий круг ценителей и специалистов. А история пародии насчитывает не одну тысячу лет! И вот, поди ж ты, угодила в шлягеры. Только в последние годы и только, кажется, у нас благодаря средствам массовой информации жанр стал общедоступным и очень популярным. Пользуется эстрадным успехом. Может, тут собака зарыта? Может, кто-то считает, что ежели тишина и безлюдье — то это просто культура, а если громкий успех — то уже «массовая». Может, именно успех лишает кого-то покоя?..

Честное слово, не собираюсь оправдываться и кому-нибудь что-либо доказывать. А тем более переубеждать. Но когда я стою на эстраде и вижу смеющиеся, аплодирующие и думающие — да-да, думающие! — лица в переполненном зале, я испытываю гордость и удовлетворение за принесенные людям пользу и радость.

И заодно уж о ценах на билеты на концерт злополучного «ведущего передачи». Не хочется думать, что автор «Нашего современника» разделяет убеждение тех воистину темных людей, которые полагают, что все деньги, внесенные ими в кассу филармонии, загребает в свой бездонный карман выступающий... Увы, о практикуемых во всем мире процентах от валового сбора можно только мечтать... Разовая концертная ставка, пожалованная Министерством культуры, о размерах которой писать просто неудобно... Что ж, понятно, армии руководителей культуры тоже надо платить зарплату... Почему бы тогда и артистов Большого театра не обвинить в фантастических ценах на билеты во время их зарубежных гастролей? Они же их тоже не ощущают ни в валюте, ни в рублях (а то, что ощущают, — и смех и грех). Недаром же даже ведущие солисты варят в гостиничных номерах при помощи кипятильников супы из отечественных консервов и концентратов... Так что упрек не по адресу.

Но я отвлекся. Так вот, о коммерческом успехе культуры, который сразу делает ее, культуру, подозрительной. Режиссер Станислав Говорухин пишет о делах в кино: «Зрительно на страницах кинопрессы достается больше всего. Он и такой, и сякой, и неразвитый, и неподготовленный, и вкусы его низменны, и интересы низки, и уровень — хуже некуда. Словом, нехороший зритель. Поменять бы его. А еще лучше, чтобы его вообще не было.

Последнее время мы хотя бы экономикку пытаемся настраивать на потребности рынка. Но искусство — упаси боже! Появился пугающий термин: коммерциализация кинематографа... Так что же это за баба-яга такая — коммерциализация?

В переводе на доходчивый язык это означает: снимать кино для зрителя. И далее автор фильма «Место встречи изменить нельзя» пишет: «...у нас есть все основания не только быть довольными своим зрителем, но даже гордиться им. Только простим ему его маленькие слабости. Он хочет после тяжелого рабочего дня, после беготни по пустым магазинам, после жизненных неурядиц чуть-чуть отдохнуть, развлечься (не пора ли понятию «развлекательность» вернуть статус легальности?), попереживать, поужасаться, посмотреть на другую, лишенную бытовых неудобств жизнь, всплакнуть над разбитой любовью. Что в этом катастрофически страшного? Ну и что ж, что он зачастую не понимает так называемого интеллектуального кинематографа (а я утверждаю, что он не понимает и не принимает только скучного кинематографа)? Что за трагедия такая? Во всем мире, всюду широкий зритель не понимает всякого занудства. А оно тем не менее существует. Как кино альтернативное, как кинопоиск».

Один наш знаменитый кинорежиссер, автор очень интеллектуальных картин, на упрек, что широкий зритель их не примет, надменно ответил:

— Ну и хорошо. Я вообще снимаю свои фильмы для пяти-шести своих ближайших друзей.

И так можно. Лучше, правда, не за государственный счет, да нет у нас пока, к сожалению, продюсеров-меценатов. Но и такое кино имеет право на существование. Все дело в том, в каких залах его показывать; для зрелищного кино нужны тысячные залы, а для такого — зал мест на 50. И нет проблем.

Алексея Германа, режиссера, которого невозможно упрекнуть в том, что он работает на потребу, спросили:

— Нравится ли вам быть, как это нынче называется, некоммерческим режиссером? Одним словом, несколько элитарным?

И он с недоумением ответил:

— Нет, не нравится, и нормальному человеку нравится не может. Режиссером, которого не смотрят, быть плохо.

Что можно добавить к этому достойному ответу?

Существует мнение, что масс-культура пришла к нам «оттуда», на нашей подзолистой почве она-де не произрастает. Хотя, если не убеждает пример А. Вертинского, — все же в эмиграции был — можно вспомнить, допустим, Варю Панину.

Но раз уж разговор зашел о кино, давайте обратимся к какому-нибудь явлению «их» масс-культуры, к тому, что стало нарицательным для обозначения «их» духовного оскудения.

Вот, например, фильмы об агенте 007. Мне довелось увидеть довольно много картин этой серии, с обоими основными исполнителями главной роли — Шоном О'Коннери и Роджером Муром.

Прежде всего, как мне кажется, это фильмы для детей среднего школьного возраста. Я вышел из него давненько, но приключения Джеймса Бонда смотрю с удовольствием. И не только потому, что сделаны они блистательно. Смотреть их очень весело: не горящий в огне, не тонущий в воде, вылезавший из проглотившего его крокодила без единого пятнышка на воротничке и манжетах Джеймс Бонд — это прежде всего веселая помеся сказка и пародия. Не заметить самоиронии этих фильмов может только слепой. Или уж совсем мрачный догматик, отмечающий все, что не укладывается в прокрустово ложе его убогих представлений. Для юных зрителей есть, по-моему, в этих фильмах и польза: неунывающий, непобедимый Бонд всегда вступает в смертельную схватку с опаснейшими маньяками, врагами рода человеческого — и всегда побеждает. Получая, правда, в награду очередную красотку, которая со стоном «О, Джеймс!» падает в его объятия. Впрочем, порнографии и даже эротике в этих фильмах нет совершенно. Ну, а то, что мужчина с женщиной целуются, лежа в одной постели и получая при этом удовольствие, не является тайной даже для советских дошкольников... Несмотря на весь разгул нашего родимого ханжества.

Есть в бондовской серии несколько картин, в которых герой вступает в схватку с «агентами КГБ». В иных ситуациях он, правда, с ними сотрудничает. Хорошо бы, ей-богу, показать эти фильмы в нашем прокате! Смотреть на этих «агентов» без смеха просто невозможно. Вообще выбор противника для Бонда абсолютно условен: чаще всего это умалишенный монстр неопределенной национальности, одержимый манией уничтожить земной шар; иногда — злодей явно арабского облика; иногда — уже упоминавшиеся «агенты КГБ»; почти всегда в подручных у главного упыря — либо костолом-негр, либо желтолицый и узкоглазый мастер каратэ. Принять эти шажки на свой счет может только очень ограниченный человек. Никакого отношения к реальности эти наивные опереточные маски не имеют.

Так и хочется спросить: почему, ну почему некоторые люди у нас, к сожалению, облеченные властью в культуре, смотрят на все с угрюмой подозрительностью и похоронной серьезностью?

К чему это я? А к тому, что не намерен сравнивать «Бондиаду» с шедеврами мирового кино. Да и в США «Оскарами» она, кажется, не увенчана. Не претендуют авторы этих картин на лавры Эйзенштейна и братьев Васильевых, Феллини и Бергмана. Но они и не мешают друг другу. Задачи у них разные.

Слов нет, в западной антикультуре процветает и культ насилия, и шовинизм, и расизм, и самая разнузданная порнография со всеми мыслимыми и немыслимыми извращениями.

Тут и вопроса нет — надо нам это или не надо. У нас есть Закон, есть Уголовный кодекс, все это запрещающий, с соответствующими мерами уголовной ответственности. Да ведь речь не об этом.

О Владимире Высоцком писать сейчас как-то даже неловко — столько в последние год-два написано!.. Но нет, пожалуй, в нашем разговоре более яркого и печального примера.

Он работал для масс и для каждого из нас в отдельности, прекрасно понимая, что мы все вместе — и есть народ. Отважится ли теперь кто-нибудь пренебрежительно отнестись к явлению Высоцкого к масс-культуре? А еще как относились!

Все понимаю, радуюсь официальному признанию, повторяю себе наше извечное: лучше поздно, чем никогда... Но ведь оно, это признание, не только запоздалое, но и вынужденное. Дальнейшее замалчивание было просто невозможно. Народ уже давно понял, принял и оценил своего певца. Миллионы сердец открылись навстречу его разрывавшемуся сердцу. Хорошо, что Высоцкий знал об этом. Горько, что Владимир Семенович, так страстно и яростно готовивший перестройку, когда еще и не брезжил рассвет, сегодня не с нами... Как его сейчас не хватает! Да и чего ж не признать: дальнейшего не последует, можно не опасаться чего-то непредсказуемого... И Государственная премия, которой его творчество, безусловно, достойно, имеет для меня двойной оттенок — не свою ли совесть мы наградили, чтобы не так тревожило чувство вины перед тенью отважного сына Родины...

Читая иные материалы, я никак не могу понять, почему обязательно надо выбирать что-то одно. Откуда вообще эта дилемма: или-или? Разве нельзя одновременно любить Петра Ильича Чайковского и ценить Аллу Пугачеву? Рок-музыку и Баха? Где написано, кем приказано, что, восторгаясь «Сикстинской мадонной» Рафаэля, нельзя в то же время восхищаться творчеством Кандинского или Марка Шагала? Сто тысяч «почему»! Я, например, отнюдь не всеяден, но лично во мне все это прекрасно уживается. И вовсе не противоречит одно другому.

Противники масс-культуры, очевидно, полагают, что если ее каким-то неведомым образом вдруг и разом ликвидировать, то массы тотчас же ринутся к Бетховену и Толстому, Шекспиру и Сервантесу. Да нет, не будет этого...

Будет совсем худо: людей лишат и того, что их душа просит, и не пойдут они к тому, что их не привлекает; образуется очень опасный вакуум, и чем он будет заполнен — неизвестно...

Во всем мире, исключая, может быть, только одну нашу страну и совсем уж слабо развивающиеся страны, спрос диктует предложение. Пока есть потребители массовой культуры, а их подавляющее большинство человечества, будет и она сама.

Так что «культура для масс» — это правильнее.

Ну давайте же хоть сейчас, в эпоху демократизации нашей жизни, позволим людям любить то, что им нравится, то, что им по душе. Не обвиняя своих сограждан в том, что их при этом охмуряет ЦРУ или «Моссад». Не навязывая силком того, что им в силу тех или иных причин недоступно, не нравится, непонятно и не нужно. Будем надеяться, что это — пока. Глядишь, и дойдут, вникнут, освоят, поймут, оценят. Но добровольно, без унижений и насилия. Без попытки натужного поворота вспять — к пейзажам хоровам на лужайке. И не забегая вперед — не навязывая сложное, иначе его можно навсегда возненавидеть, а это уж совсем плохо. И, главное, необратимо.

Появилась же такая интереснейшая попытка: не теряя достоинства, сближать по возможности Культуру высокую и Культуру для масс; этим, на мой взгляд, с блеском занимается Владимир Спиваков со своими «Виртуозами...».

Много есть способов мирного, взаимообогащающего сосуществования. Кроме одного — борьбы на уничтожение. Она обречена на провал.

ЧТО ТАКОЕ МЫ ТВОРИМ?!

Здравствуй, «Юность»!

Короткое предисловие. Мне скоро 30. Но с вашим журналом еще не рассталась. А последний год вы, прямо скажем, поддерживаете во мне почти погасший огонек веры в будущее.

Сейчас я очень возбуждена и расстроена, но знаю, что если отложу на «завтра», то не напишу вовсе. А мысли жгут. И выхода не вижу.

Мы на страницах журнала горячо обсуждаем наши проблемы. И правильно делаем. Ищем все вместе возможность что-то переделать-«перестроить». Но ведь давно известно, что болезнь легче предупредить, чем излечить.

К вам в «Юность» совсем скоро придут наши дети. Моей дочери скоро 11. Я о ней. И не только о ней.

У большинства женщин нет возможности контролировать ребенка в течение дня. И успех воспитания зависит только от контакта душ и веры друг в друга. А уж с моей работой — я работаю костюмером киностудии «Казахфильм» — не видишь во время съемок ребенка сутками, а если командировки — неделями. Наряду с родителями воспитанием наших детей занимается еще и школа. Уж лучше бы она занималась только образованием, как я сейчас думаю.

В последнее время меня насторожило нежелание дочери ходить в школу. Не учиться, а именно посещать школу. Я ходила сегодня туда «налаживать контакт» с учителями. Случайно присутствовала на еженедельной общешкольной «линейке». Благо, мой ребенок уже отучился в 1-ю смену и там не присутствовал. Но, надо полагать, и для них проводят учителя совместно с администрацией подобные экзекуции.

Отчитывался за неделю дежурный класс. Было говорено много чего, наверное, по существу, но дети, как всегда и везде, прячась за спины «правильных» и нетрудных, баловались. Учителя на них покрикивали, а то и дергали, пытались поставить в строй по стойке «смирно». Картина знакомая, в красках описывать, думаю, ни к чему. И у вас, уверена, так, да и у нас так было. А потом началось то, что меня потрясло. Дежурная, очень симпатичная девочка, наверное, отличница, зачитала список нарушителей школьной дисциплины. Всем им надлежало выйти на всеобщее обозрение. Кто с ухмылочкой, а то и с радостной улыбкой во весь рот выходил сам. Кого вытягивали за руки учителя. А кого с радостным смехом и горящими от предстоящего зрелища глазенками выталкивали из «линейки» товарищипионеры.

Преступники столпились в центре этой прямоугольной линейки. К ним подскочила девица в красном свитере, которая и ранее обращала на себя мое внимание визгливым голосом и огромным искренним желанием вытянуть в струну эту колышущуюся и гудящую «линейку». По-моему, это

и было ее целью, о воспитательном значении происходящего там никто не задумывался.

Так вот. Эта девица, как оказалось, завуч по **воспитательной** части, распределила стайку преступников в рядок и подтолкнула в движении по часовой стрелке. Дети, кто красный, как рак, кто с улыбкой, пошли. Она заорала «Позор!» и взялась дирижировать. Стоящие в строю радостно подхватили. Так орали они неизменно долго. Периметр живого прямоугольника был достаточно велик, а они прошли его раза 2—3. У меня звенело в ушах. У меня сердце зашлось от мысли, что и моя дочь могла быть (и бывает ежедневно!) в этой толпе! И я не могу вам сказать, где мне было легче ее представить — в центре или в «линейке». Видели бы вы глаза наших советских пионеров!

Из этого собрания, видимо, кое-как пройдя один круг, вырвалась девчоночка-казашка. Я так и не узнала, как ее зовут. Я так и не уяснила суть ее «преступления». Она вся тряслась и рыдала. Я 15 минут не могла привести ее в чувство!

А там никто даже не заметил, что один из преступников совершил побег! Все орали «Позор!» во главе с учителями и завучем и наслаждались зрелищем.

Ребята! Что такое мы творим?! Что скажу я сегодня вечером (а мне надо говорить **именно** сегодня, потому что завтрашний вечер — работа, а далее — командировка) своей Ксюхе, когда я в душе сама теперь не хочу, чтобы мой ребенок видел, слышал и принимал участие в этом педпроцессе. У меня нет времени, чтобы успокоиться и осмыслить, настроиться и солгать, что я, мол, побеседовала и все теперь будет хорошо у тебя в школе, дочь.

Пока я пыталась привести в чувство девочку, детей, наконец, распустили по классам. Я на скорую руку переговорила с преподавателем английского языка: у меня уже не было искреннего желания с ней говорить, потому что я знала — она была там, на линейке. Потом я нашла-таки ту визгливую девицу в красном свитере. Я спросила у нее: по системе кого из классиков советской педагогики они тут воспитывают? Когда ей стало ясно, что я не из района, а тем более не из гороно, она изрекла: «Девушка, вы дилетантка! Кого вы жалуете? Среди таких «девочек» проститутки и наркоманки!» (на линейке присутствовали 5—6-е классы). Потом она подскочила к дежурным с красными повязками, начала тыкать им пальцем в грудь и орать: «А нас вам не жалко? А их вам не жалко? Когда они, дежурные, прикрывают своей грудью дверь, чтобы не ломились в школу раньше времени, а их пинают в живот!» ...ну и т. д. Мне стало жаль детей-дежурных с растерянными глазами. Я поймала паузу и тихо сказала: «Дилетант, к сожалению, — вы, и мне страшно доверять вам свою дочь». А до этого она все пыталась выяснить — не моя ли это дочь, та девочка, и в недоумении вытаращила глаза, когда осознала, что не моя.

Кому мы доверяем детские души? Если таких, как эта, — единицы, то куда смотрят остальные? И до каких пор в школах будут калечить души наших детей? Ведь одна такая линейка перечеркнет все то добро, что с таким трудом удастся еще в этих душах воспитать и сохранить. Ведь дети так много сейчас видят и так много знают, они и так уже не верят! Так до каких же пор?!

Сегодня классный руководитель в беседе со мной сказала, что у моей дочери «очень скрытный характер». Она не выступает на собраниях, не вносит «предложений». Сначала я насторожилась. А теперь я этому рада, зато моя дочь пишет сказки и стихи и ведет дневник. И я ей верю.

Давайте же подумаем о них сейчас, чтобы потом не «перестраивать».

С уважением.

Милевская Валентина

г. Алма-Ата

Трудно что-либо прибавить к этому «крику души» Валентины Милевской. Картина, что и говорить, жуткая, хотя, надо с грустью признать, верится в это без труда.

Опять мы возвращаемся к так называемой «школьной» теме, ее выталкивает на поверхность сама жизнь. Какой заряд духовности дает подростку школа? Что мы портим и топчем, чему не даем расцвести, а чему даем дорогу?

Мы приглашаем вас, читатель, к заочному «круглому столу» «Юности» по проблемам школы. Ждем ваших писем.

СКАЖИ МНЕ, БРАТ...

Девять лет назад, читая первокурсникам лекцию по истории Древней Греции, я упомянула о необычной судьбе археолога Генриха Шлимана, над которым с конца XIX века и по наши дни историографы фактически чинят суд. Разные авторы по-разному решают вопрос о том, можно ли винить знаменитого открывателя Трои и «златообильных» Микен в том уроне, который он объективно нанес науке своими ошибками, нетерпением и торопливостью при проведении раскопок. И, мгновенно подхваченная студентами, явилась мысль: а что, если нам попытаться воссоздать этот незримый суд в формах обычного судебного процесса? Что, если заставить писавших и пишущих о Шлимане специалистов «выступить свидетелями» со стороны защиты и обвинения, привести свои доводы pro и contra искренне заблуждавшегося великого самоучки?

Игра в Историю? Не кощунственно ли это? Сегодня я с уверенностью отвечаю: нет! КИДИС — кружок истории древности и средневековья в Историко-архивном институте — провел уже восемь Судов Истории, и каждый из них собирал сотни людей разного возраста и профессий. Само время постоянно ведет бесконечный судебный процесс над прошлым и над судьбами отдельных людей, принадлежащих этому прошлому. В этом суде есть практически все атрибуты реального юридического суда: свидетельские показания, расследование, приговор, апелляции и пересмотр дела, судебные ошибки и их исправление, преступления, на которые не распространяется понятие срока давности. Судьями в этом процессе выступают в первую очередь историки — те, чей разум и знания, любознательность и душевная энергия отданы изучению прошлого. Историк принадлежит своему времени, социальной среде. Его суждения (и в основе этого слова — «суд») зависят от множества исторически и психологически обусловленных причин. Каждый историк в отдельности неизбежно субъективен, но он вносит свою лепту в великое понятие Истории Человечества, которая бесконечно стремится и бесконечно приближается к истине.

Уже на первом суде мы ощутили, как немисливо трудно оценивать прошлое, оставаясь в рамках историзма и не забывая о высших нравственных ценностях; находя социальные, классовые, психологические истоки поступков людей и не прибегая к недостойной «раздаче ярлыков». И еще одно важное открытие было сделано в тот день. Студент С. Ермолаев (ныне научный сотрудник Центрального Государственного архива древних актов) произнес речь от лица вымышленного мекленбургского мещанина середины XIX века (в герцогстве Мекленбургском родился и вырос Шлиман). Это была первая попытка воспроизвести на Суде Истории психологию и мировосприятие человека прошлого. Мы еще не знали тогда, что этот прием станет основным в будущих судах — над Александром Македонским, Джироламо Савонаролой, Николо Макиавелли, Оливером Кромвелем, Октавианом Августом...

Немецкий обыватель клеймил nepocеду Шлимана за то, что тот жил «не как все», за то, что через невероятные трудности «пробивался» к далекой Древней Греции, к знанию ранних ступеней человеческой истории — к тому, что считает ненужным обыватель всех стран, времен и народов. В этом мещанство единодушно и готово яростно защищать свою позицию. Оно делает это и сегодня, твердя о «неактуальности» изучения древней или средневековой истории, о «ненужности» историков народному хозяйству.

С каждым годом наша игра делалась все серьезнее. При подготовке рассмотрения «дела» Наполеона Бонапарта был создан специальный

студенческий оргкомитет, составлен огромный список литературы и источников. Студент с книгой А. З. Манфреда или Е. В. Тарле о Наполеоне стал в институте фигурой типической. Долго и тщательно формулировались пункты обвинения и обвинительное заключение от лица Истории. И в переполненном актовом зале института перед судом оказался не столько сам Наполеон, сколько комплекс вечного волнующих людей проблем и явлений: непомерное честолюбие, жажда власти, идея господства одного народа над другим. При этом не забывались те объективно прогрессивные перемены в европейском обществе, которые были связаны с той эпохой и наполеоновскими войнами. Но был поставлен вопрос о цене, о плате народа за шаги прогресса, о тысячах солдатских жизней, безразличных завоевателю. В отличие от солдат, во все времена защищавших свою родину, они погибли в борьбе за такую страшную химеру, как власть одного человека над миром. Точку в этой постепенно крепнущей ноте дискуссии поставил упомянутый в речи «прокурора» вечный гуманистический призыв Ф. М. Достоевского не платить за общественное благо жизнью «замученного ребенка».

Одно обстоятельство удивило и насторожило меня в этом «нашем» процессе: неожиданно громко прозвучали отнюдь не одиночные голоса молодых людей, которые безоговорочно восхитились Бонапартом. И не как разносторонне одаренной личностью или талантливый полководец, на первые политические шаги которого лег уже слабейший ответ Великой Французской революции. Нет, их восторг вызвало другое. Блеск невиданной прижизненной славы, власть над половиной Европы — все это продолжает слепить глаза в течение полутора столетий. Трудно это представить, правда, говоря о наших студентах начала восьмидесятых годов? Но так было. А значит, это требует внимания, объяснения, спора. Сразу скажу: эта же проблема проявилась еще ярче в 1983 году на суде над Александром Македонским, где стихийно сложилась некая «группа давления» на суд. В эмоциональных выступлениях этих студентов, демонстративных аплодисментах в защиту завоевателя древности все более настойчиво проступала никем не сформулированная вслух мысль: «Победителей не судят». Размывалась тонкая, неуловимая грань между преклонением перед военным и политическим талантом Наполеона Бонапарта или Александра Македонского и допущением вседозволенности для великой сильной личности... Грань, на мой взгляд, очень важная. Можно ли отказаться от нравственных критериев в оценке исторической личности? Думаю, нет. Мне могут справедливо возразить, что понятия нравственного и безнравственного историчны, что их содержание менялось в процессе развития человеческого общества. Это верно только отчасти. Мне кажется, что вечные ценности потому и названы таковыми, что они — на все времена. И если в IV в. до н. э. Александр Македонский, много и громко говоривший, что его ближайшие друзья не подданные, а равные спутники царя, начал по мере роста своей державы и власти предпочитать лесть и почести, равные лишь богам, он одинаково судим за это как в свое, так и в наше время. И когда он во время одного из пиров пронзил копьём своего молочного брата Клиты, который сказал ему об этом, он пытался убить в себе и голос совести. А это явление не осталось за чертой «нашей эры». И нравственное неприятие его — тоже из числа «вечных» свойств нормально развитой человеческой души.

Так как же могло случиться, что мысль о вседозволенности для великой «победительной» исторической личности зазвучала из уст части моих студентов? Один из «ветеранов» КИДИСа, Д. Левчик (сейчас — аспирант Института всеобщей истории АН СССР), написал в этом году «Слово к первокурсникам», где бросил взгляд на историю кружка. В частности, он пишет: «Застой разрывал студенчество. Происходила дегуманизация исторической науки. У студентов МГИИ 80-х гг. проявился милитаризм, чрезмерное увлечение военной историей, тяготение к сильной личности. КИДИС противостоит этому».

Мы сознательно ушли от завоевателей и обратились к мыслителям, идеи которых пережили века, но находили противоречивые отклики в мыслях и чувствах потомков. Среди них ярчайшие — Савонарола и Макиавелли. Стремясь как можно глубже проникнуть в обстановку жизни этих мыслителей, мы обратились к костюмам и музыке былых эпох. Студент О. Пека, надев костюм XVI века, разительно переменялся. Мы ощутили, что это реально помогает ему реконструировать образ великого Макиавелли, увидеть в нем не только автора глубоких исторических сочинений и знаменитого «Государя», но и страдающего, чувствующего человека. Мятущийся и противоречивый Савонарола (студент С. Нелипович, сейчас — научный сотрудник Центрального государственного военно-исторического архива) очень убедительно объяснил нам, живущим спустя почти пять веков, почему он был так непримиримо строг ко всему, что считал ненужной «суестью» в жизни людей.

В массовом сознании Савонарола подчас предстает религиозным фанатиком и чуть ли не мракобесом. Но внимательное знакомство с источниками и литературой об этом человеке помогло участникам суда увидеть и представить его совсем иным — тем, кем он был на самом деле. Глубоко преданный христианскому учению, Савонарола вместе с тем выступал против светской власти церкви, критиковал папство, за что был люто ненавидим католической церковью. После падения флорентийской республики в 1498 г. Савонарола был схвачен, осужден и сожжен как еретик.

Савонарола пытался в конце XV века противопоставить тирании Медичи во Флоренции более прогрессивный идеал республиканского направления. Но средства, при помощи которых он в своей искренней вере боролся за счастье людей, не позволяють безоговорочно признать его правоту.

Вдохновитель и активнейший деятель республики, Савонарола решительно осуждал богатство и ростовщичество. Это не может не вызвать нашего понимания сегодня. Но... Это вечное «но» в оценке прошедшего, в наивной попытке по-детски разделить людей на «хороших» и «плохих»! Но Савонарола был фанатичным аскетом. Он отвергал богатство не только материальное, но и духовное. И вот во время организованных им торжественных «сожжений суеты» в огонь полетели картины и книги, которые, по мнению популярного проповедника и строгого моралиста Савонаролы, были не нужны людям. Он присвоил себе право знать и решать за них, что им требуется для правильной (в категориях его времени — праведной) жизни, а что — нет. Фанатизм и насилие над духом, истребление радости, которую дарит человеку красота, — вот его метод «принудительного осчастливливания» человека. Можно ли это оправдать даже во имя самого высокого идеала? Понять в контексте исторической эпохи — да. Но понять вместе с тем и бессмысленность, опасность фанатизма и насилия в борьбе за совершенствование социального устройства — вот что важно далеким потомкам мятущихся и ошибающихся, прекрасных и подчас страшных людей эпохи Возрождения.

И на суде над Макиавелли напрашивалась тема макиавеллизма — политики, пренебрегающей законами морали. Но можно ли винить в появлении макиавеллизма самого великого флорентийца, республиканца по убеждениям, горячего поборника идеи объединения Италии? Предвидя это, оргкомитет суда предусмотрел «свидетельские показания» по делу Макиавелли от лица последующих эпох. Французская аристократка XVIII века и гарibaldiец, философ XIX века и русский историк рубежа веков — каждый из них показал, что в наследии многогранного и противоречивого Макиавелли разные времена и классы искали и находили то, что им было ближе.

Но сам-то, сам мыслитель — каким был он? И что же такое он сумел сказать, что на протяжении пяти столетий человеческая мысль обращает ^{поклон} к нему? Да, он сумел на рубеже средневековья и нового времени ощутить, что за внешне сумбурным движением человеческого общества, за переплетением желаний и поступков конкретных людей скрыты некие глубокие причинно-следственные связи, необходимость и законы. И конкретные его политические стремления — республика, единство Италии — бесспорно прогрессивны. Но... Но, отодвигая в сторону эти прекрасные мечты, Макиавелли дает практические советы политике ради достижения реального результата. А во имя этого, считает он, можно поступиться высокими моральными соображениями. Тем более что реальная политическая жизнь так сурова: «Ведь тот, кто хотел бы всегда исповедовать веру в добро, неминуемо погибает среди столь многих людей, чуждых добра. Поэтому князю, желающему удержаться, необходимо научиться умиению быть недобродетельным и пользоваться или не пользоваться добродетелями, смотря по необходимости».

Вот и получается, что «во имя» можно переступить законы морали. Оглядываясь на далекое и совсем близкое прошлое, мы видим, как это страшно, как дорого приходится платить за применение этого принципа даже под самыми благородными лозунгами. Так соблазнительно «заклеить» Макиавелли (тоже «во имя»)! Но ведь он — сын своего времени, эпохи, в которой причудливо переплелись еще живущее средневековье и зарницы нового времени, начала современной цивилизации.

И вновь та же мысль: великого флорентийца можно понять и не надо огульно винить его в том, что додумали, доделали за него другие, но задуматься в этом случае над проблемой крайне осторожного отношения к вопросу о средствах в политике необходимо.

Эта тема властно утверждалась как центральная, ключевая на всех судах над политическими деятелями. Когда речь шла, например, о Цицероне или Октавиане Августе, по существу, исследовался вопрос об искренности и лицемерии в борьбе за объективно прогрессивный или, напротив, отживший политический идеал, об обмане и самообмане политика, который, по существу, стремился только к власти, облекая свое подлинное желание в самые разнообразные политические одежды и пряча правду, возможно, даже от

самого себя. Пожалуй, наиболее ярко этот круг вопросов был очерчен на «процессе» Оливера Кромвеля — политического деятеля английской буржуазной революции. Его глубоко противоречивая историческая роль образно и емко раскрыта Ф. Энгельсом, сказавшим, что Кромвель «...совмещал в одном лице Робеспьера и Наполеона» английской революции. Да, открывался немалый простор для спора, когда перед судом истории предстал человек, который внес огромный вклад в свержение тюдоровского абсолютизма и... сам стал единоличным правителем Англии, создал замечательную революционную армию, поразившую тогдашний мир блестящими победами над королевскими войсками и... направил ее на беспощадное ограбление ирландского народа, погубив тем самым главное — дух революционной армии, борющейся за социальную справедливость. Особую окраску этому суду придавало то, что мы решились высказать суждение о деятеле революции — пусть далекой и буржуазной.

Признаюсь, я любовалась серьезными, просветленными лицами своих учеников. Облаченные в костюмы XVII века, предельно собранные и сосредоточенные, они готовились всевозможным образом думать и спорить о судьбе английской революции и ее вождя. Лишь тот, кто вооружен широким взглядом на пройденный человечеством путь, способен, по моему глубокому убеждению, более осознанно понимать и любить историю своей родины, вовсе не возвеличивая ее перед другими народами, но умея ценить ее реальное место и роль во всемирной истории.

Так как же быть с Оливером Кромвелем? Его образ одновременно и привлекает, и отталкивает, его поступки не ложатся в прокрустово ложе успокоительного школьного подхода «хорошо — плохо». Многочисленные свидетельские показания от лица солдат революционной армии, представителей различных политических партий, наконец, самого казненного короля Карла I Стюарта не вносят успокоительной ясности. Несколько облегчает положение участие в суде известного специалиста по истории английской революции, автора книги о Кромвеле в серии «Жизнь замечательных людей» Т. А. Павловой. Полностью приняв правила игры, она задает вопросы свидетелям, уточняет некоторые факты. Ни одной улыбки не заметила я на лицах сидящих в переполненном зале, когда Т. А. Павлова обратилась к студенту, исполнявшему роль диктера (представителя наивно-утопического течения в революции), так, как это должно было прозвучать в XVII веке: «Скажи мне, брат...» Здесь не было лицедейства. Было проникновение в дух эпохи, стремление понять мысли и чувства людей прошлого.

«Приговор» по делу Кромвеля оказался более суровым, чем на судах над завоевателями. Там мне не раз приходилось негодовать по поводу излишней снисходительности. И не сразу, много позже понимаю, в чем причина. Предательство идеалов революции, отступление от того, за что умирали солдаты революционной армии, превращение революционера в нового единовластного правителя, окружившего себя роскошью и новой знатью... Это понять и тем более простить даже на научной основе оказалось труднее, чем ненавистные завоевательные планы или опасные политические идеи. Здесь — предательство, особенно коварное и непростительное потому, что предана революция, а значит, вера и мужество людей, их искренность и надежды, их страдания и лишения.

После обычных долгих раздумий и споров кружковцы решили на традиционном суде весной этого года вновь обратиться к далекому революционному прошлому Западной Европы. Подсудимым должен стать деятель Нидерландской буржуазной революции XVI века Вильгельм I Оранский. Принц Оранский, граф Нассауский, организатор борьбы с испанскими войсками на Юге Нидерландов. Кто он? «Принц-демократ», каким стремился выглядеть? Политический авантюрист и ловкий властолюбец или вождь революционных масс? И только ли по милости его ловкого притворства победивший на Севере страны народ добровольно предложил ему фактически неограниченную власть? Или, может быть, недостаточно победить в восстании и революционной войне, чтобы стать поистине свободным? А если народ не обрел еще свободу внутреннюю, готов ли он к свободе политической? Все эти вопросы неизбежно встанут перед нами. И суд наш опять будет разговором об истории, о далеком прошлом, но вместе с тем — о вопросах, которые волнуют нас сегодня.

Н. И. БАСОВСКАЯ,
зав. кафедрой всеобщей истории
Историко-архивного института.

А. А. Мне казалось, что четвертый матч на первенство мира для «массового» болельщика уже не будет представлять прежнего обостренного интереса. Создавалось впечатление, что «оба» слегка «поднадоели»...

Но вот после пятой партии, которую, как вы помните, Каспаров проиграл, на набережной Сочи (в октябре я был в Сочи на шахматном фестивале «Россия») ко мне подошел уже немолодой человек.

— Ты Аркадий Арканов?

— Да,— сказал я,— Но почему «ты»?

— Потому, что мы с тобой учились до седьмого класса в одной школе, в 597-й, за метро «Сокол». Верно?

— Верно!

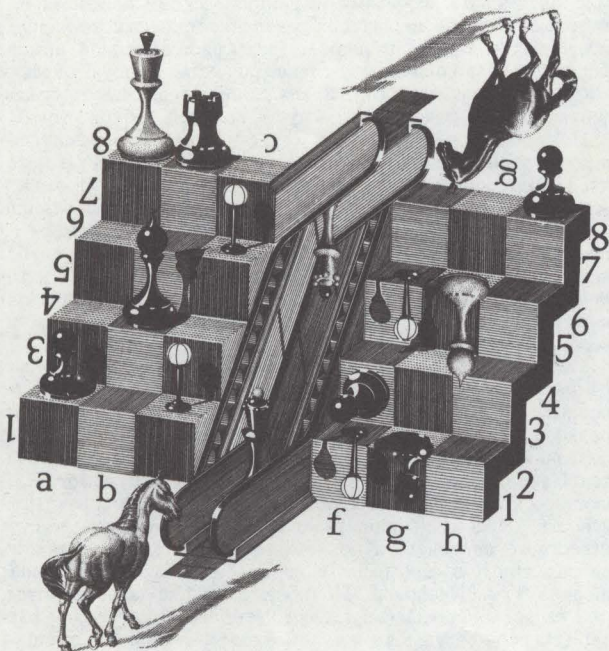
Он назвал свою фамилию. Я его, конечно, вспомнил... И многих других ребят мы вспомнили. И учителей, из которых на сегодняшний день, увы, уже многих нет... Он сказал, что читал в «Юности» наш «Сюжет» и увидел в нем симпатии к Каспарову. Я ответил, что мы были абсолютно объективны в оценках всего того, что происходило, а мои симпатии к Каспарову определяются его игрой и его личностью, которая мне представляется незаурядной. И тут лицо моего школьного товарища обрело недоброе выражение.

— Наглый он, твой Каспаров! — сказал он. — Самоуверенный! Во все лезет — и в футбол, и в КВН со своей дурашливой улыбочкой! Научился бы у Карпова скромности... Ну, ничего. На этот раз Толя поставит его на место...

Мои контрдоводы не переубедили школьного товарища. Правда, мы и не поссорились... Может быть, потому, что мне удалось перевести разговор на другие темы. К сожалению, я слышал подобные оценки не только на набережной Сочи, но и в других, более серьезных местах и не от школьных товарищей, а от других товарищей, занимающих шахматные, спортивные и другие ответственные посты, для которых поражение Каспарова в этом матче связывалось с надеждами зажить прежней привычной жизнью, где все было налажено, отлажено, без вопросов, без риска... Той жизнью, которой они жили до перестройки... Кстати сказать, явление это в шахматной жизни лишь отражает то, что происходит сегодня и имеет достаточно сильные позиции и в более глобальных, чем шахматные, областях...

Впрочем, не будем уходить от шахмат. Возьмем, к примеру, Международную ассоциацию гроссмейстеров. Наша печать пока что отделяется в этом вопросе лишь туманными сообщениями. Тем не менее идея эта, принадлежащая в основе Каспарову, пришлось своей простотой и логичностью подавляющему большинству крупнейших советских и зарубежных гроссмейстеров. Суть ее в том, что ФИДЕ за годы существования заостенела, бюрократилась. Система выявления сильнейших шахматистов устарела, порой не обеспечивает тот климат, в котором должны происходить шахматные соревнования. ФИДЕ руководится функционерами или вообще далекими от шахмат или крайне низкоквалифицированными в этом отношении людьми. А кто, как не сами шахматисты, должен вырабатывать оптимальные условия, в которых они могут самовыражаться в самом полном смысле этого слова? Идея эта уже практически проведена в жизнь, несмотря на сопротивление ФИДЕ. Госкомспорт до сих пор не высказал своего окончательного ни положительного, ни хотя бы отрицательного отношения к ней. Впечатление такое, будто что-то еще выжидается, будто рано или поздно кто-то сверху, как раньше, укажет, как и что, и тогда решение будет сообщено народу: либо идея очень своевременная и прогрессивная, либо реакционная и порочная... Но что надо выжидать, если уже возникла и Советская ассоциация гроссмейстеров, выбрано ее руководство, существует выработанное и одобренное большинством гроссмейстеров положение?

Ю. З. Я побывал во время матча в Испании и хочу заметить, что Кампоманес, который так подавляюще авторитетен для наших шахматных руководителей и обрел в Москве даже скульптора, который лепит его для потомков, в Севилье держался в тени. Испанцы считают его человеком американского склада, близким к недавнему властителю Филиппин Маркосу, бежавшему из своей страны, что в сегодняшнем испанском обществе, продолжающем избавляться от франкистского наследия, как я понял, одобрения не находит.



Аркадий АРКАНОВ
Юрий ЗЕРЧАНИНОВ

СЮЖЕТ С НЕМЫСЛИМЫМ ПРОГНОЗОМ

В этом году в издательстве «Физкультура и спорт» выходит книга Аркадия Арканова и Юрия Зерчанинова «Сюжет с немислимым прогнозом», в основе которой — публикации авторов в «Юности». Предлагаем отрывки из последней главы будущей книги.

Рисунок А. Сальникова

А. А. Каспаров сравнивал счет в восьмой партии, выиграв ее, как говорят профессионалы, практически не входя в соприкосновение с фигурами Карпова. Заслуга Каспарова в победе не умалялась, хотя гроссмейстеры были единодушны и в том, что Карпов эту партию играл вяло, беспланово, робко, чтобы не сказать резко. И опять общий уровень всего матча расценивался (с точки зрения чисто шахматного искусства) как чрезвычайно низкий. Об этом уже к концу матча стали говорить и официальные обозреватели в прессе, оправдывая невысокое качество партий чрезвычайным напряжением, физическим и нервным переутомлением и необычайным значением конечного результата. Еще бы! Победитель получал возможность по меньшей мере три года отдохнуть от повисшего на руках, на ногах, на мозгах соперника. Победитель мог, наконец, полностью насладиться всеми сладостями и премушествами чемпионства, оглядеться, вспомнить, что есть еще и другая жизнь, поиграть в охотку в «нормальные» шахматы...

В одиннадцатой партии Карпов в безусловно лучшей, а может быть, и выигранной позиции сначала сам ее уравнивал, а потом совершенно добровольно зевнул качество, после чего Каспаров повел в счете, а его почитатели вздохнули свободно, приговорив Карпова и ожидая лишь окончательного результата. В самом деле, в оставшихся тринадцати партиях двенадцатому чемпиону необходимо было выиграть две при условии, что тринадцатый чемпион не выиграл ни одной. А это считалось мало реальным. Между прочим, одиннадцатая партия стала для Карпова очередной «одиннадцатой роковой». По-моему, Каспаров и сам поверил в роковые числа Карпова и, похоже, назначил очередную казнь на шестнадцатую партию (шестнадцатые партии Карпову тоже приносили неприятности), даже взяв перед ней вовсе не обязательный тайм-аут. Но на сей раз казалистическая карта оказалась «пиковой дамой» и показала чемпиону язык, после чего он в лучших традициях прежнего мальчика из начала своего первого матча в Колонном зале «сдул» шестнадцатую «счастливую» партию, вернув Карпову почти утраченные надежды. После этого перепугались, по-моему, оба и решили оставить по одному патрону на последние две партии. Может быть, так оно и было. Во всяком случае, с семнадцатой по двадцать вторую, даже не с семнадцатой, а с восемнадцатой, они пытались свести вероятность ошибок к минимуму, что и лишило эти партии полнокровной борьбы. Каспаров выцарапывал ничьи черным цветом и легко добывал их белым, предлагая ничьи сопернику, едва выйдя из дебюта, что Карпов благоразумно принимал. Семнадцатая партия стоит несколько особняком и, хотя закончилась ничью, помучила обоих. Мой друг Зерчанинов имел удовольствие наблюдать эту партию в Севилье.

Ю. З. Я вел дневник — записывал день за днем, как побывал в Севилье и что увидел там.

22 ноября. Летим в Мадрид. В нашей шахматной группе — комсомольские активисты Москвы, трое моих коллег и артист Москонцерта Валерий Пак со своей гитарой. Он рассчитывает поиграть и попеть для участников матча. Не убежден, что это ему удастся. Пытаюсь представить только, как Карпов и Каспаров затевают переговоры — ищут взаимоприемлемый зал в Севилье или в ее окрестностях, где могли бы сойтись, чтобы послушать Пака, как эти переговоры в конце концов заходят в тупик и вездесущий Кампоманес принимает волевое решение.

В полночь приземляемся в Мадриде.

23 ноября. Вечером в нашем скромном «Метрополе» (мадридский «Метрополь» — не чета московскому, здесь есть отели и подорожье) смотрю «Теледиарио-2» (вечерний теледневник). Программа закончится в десять минут десятого — за двадцать минут до того, как в Севилье Карпов и Каспаров сыграют или отложат свою шестнадцатую партию.

Ровно в девять узнаю, что в Севилье температура падала ночью до шести градусов, а днем повышалась до шестнадцати. А на Балеарских островах еще теплее... Но о шахматной погоде в Севилье, которой, как убеждает «Советский спорт», живут сегодня испанцы, — ни слова. В спортивных новостях, которые следуют тут после сводки погоды, вижу лишь гонку на верблюдах в каком-то арабском эмирате. Быстро бегают верблюды...

— В ночном выпуске покажут и шахматы, — говорит наш гид Артур.

— А кто смотреть будет?

— Кто не спит.

— Да там сыграли уже...

— Куда спешить? Приедем утром в Севилью, и все узнаем.

24 ноября. «Город Севилья — один из прекраснейших в мире: светлый, веселый, весь под сенью пальм и апельсиновых деревьев... Климат прелестнейший, лучший в Европе... Зимой почти нет дней без яркого, горячего солнца. Розы цветут круглый год. Жизнь полна оживлением, танцами, праздниками, жители жизнерадостны и веселы». Так представляет Севилью спутник туриста «Западная Европа», изданный в 1906 году в Москве под редакцией С. Н. Филиппова. Иного путеводителя, когда я собирался в Испанию, под рукой не оказалось. Путешественника по Испании С. Н. Филиппов предостерегает: опасайся фальшивых монет. Каждую серебряную или золотую монету обязательно пробуй на звук. Но ни серебряных, ни золотых монет у нас не имелось, да и фальшивомонетчики в Испании вроде бы перевелись (другое дело, что у нашего известного шахматного комментатора, побывавшего еще до меня в Севилье, наглый велосипедист выхватил сумку, но у нас никто и ничего из рук не выхватывал, хотя мы гуляли по Севилье и ночью). И ряду других советов С. Н. Филиппова (не пить местное пиво, а вино, подаваемое к обеду, разбавлять содовой) мы не следовали — бутылка воды в Севилье, кстати, дороже, чем литровый пакет столового вина. Но здешнюю сырую воду, как и прежде, пить не стоит, да и климат, как и прежде, остается лучшим в Европе.

Едем в экскурсионном автобусе по набережной Гвадалквивира, а слева и справа самая что ни на есть Севилья, глаза разбегаются. Приостанавливаемся у пласа де Торос, где самые бесстрашные тореро Испании убивают своих быков, и только тут вспоминаю о нашей шахматной корриде — а как же шестнадцатая-то закончилась?

Водитель автобуса в курсе дела: партия отложена в выигранном для Карпова положении...

После обеда идем вчетвером на матч, хотя, надо думать, Каспаров сдаст партию без доигрывания. Знаю, что для пресс-центра переоборудовано казино, расположенное под одной крышей с театром Лопе де Вега. Что ж, после шестнадцатой партии многие поспешат сделать ставку на Карпова.

Выходим узкими улочками к кафедральному собору, в котором, в позолоченном свинцовом гробу, покоятся останки Христофора Колумба. И после своей кончины прославленный мореплаватель продолжал странствовать. Первоначально он покоем в севильском монастыре Санта Мария-делас-Куэвас, но в 1540 году, согласно последней воле Колумба, гроб был доставлен на открытый им остров Гаити и помещен в кафедральном соборе Санто-Доминго. В конце восемнадцатого века испанцы уступили остров французам, но Колумба им не оставили — гроб был переправлен на другой открытый им остров, на Кубу, и установлен в стене кафедрального собора Гаваны. А в 1898 году после того, как испанцы расстались с Кубой, останки Колумба возвратились в Севилью. Существует, однако, предположение, что Колумб и поныне покоится в Санто-Доминго, а в свое время в спешке испанцы переправили на Кубу гроб с останками сына Колумба — Диего.

Колумб, или, как говорят испанцы, Колон, сейчас вновь в центре внимания. В 1992 году исполняется 500 лет со дня открытия им Америки, и в Севилье по этому случаю состоится Всемирная выставка «Экспо-92». И можно спорить, где покоится прах Колумба, но нет двух мнений, что во имя рекламы предстоящей выставки Севилья и вызвалась провести матч Каспарова с Карповым.

Севильские книготорговцы предлагают шахматную литературу. Заходим в один магазин, и глаза разбегаются. Вспоминаю, какие очереди выстраивались у книжных киосков в Колонном зале и в зале Чайковского в дни предыдущих матчей, когда появлялась стоящая шахматная книга...

В казино узнаем, что Каспаров действительно сдал партию без доигрывания.

Покупаю плакат матча с символикой древней Севильи и эмблемой «Экспо-92». Умалет ли это престиж матча? На мой взгляд, нисколько. Как бы ни похвалялся Кампоманес своими успехами в поголовной шахматизации всех стран и народов, шахматы — лишь игра, увлекательная, но игра. Представим только, что Христофор Колумб, который, как свидетельствуют историки, не сторонился шахмат, так увлекся бы этой игрой, что не нашел бы времени, чтобы всерьез заняться своим главным делом — открытием Америки?

Вечером знакомлюсь с уважаемым, вальяжным Карлосом де Кардова и де Леон-Сотело — архитектором и дизайнером, которому принадлежит оформление матча. Беседуем в баре за чашечкой крепчайшего кофе.

— Вы любите шахматы?

— Я люблю Севилью.

— Это ваша идея, чтобы Каспаров и Карпов играли ладьями, которые походят на Золотую башню Севильи?

— Да, и я буду счастлива, если последний ход в матче будет сделан ладьей.

25 ноября. Сегодня семнадцатая партия. Идем на игру уже знакомыми улочками. Ближе к центру стены все гуще исписаны лозунгами и призывами. Режим Франко пал, но политическая борьба в стране не стихает. И королю достаётся. На одной из стен читаю: «Хуан Карлос — русский». И фашистский знак вместо подписи. А в Мадриде даже памятник Сервантесу исписан, а осла, на котором восседает Санчо Панса, облюбовали для своих ярких ниспровержений анархисты.

Лишний билетик, как это было на прошлых матчах в Москве и в Ленинграде, у театра никто не спрашивает... Начало партии смотрю в пресс-центре, на мониторе. Вот Карпов выходит на сцену и делает первый ход, так и не дождавшись соперника, и удаляется за кулисы. Только теперь выходит Каспаров и усаживается за столик. Мои разноязычные коллеги затевают спор: обменяются ли сегодня соперники рукопожатием? Испанское телевидение постоянно берет интервью и у Каспарова, и у Карпова, и все здесь привыкли, что они очень жестко высказываются друг о друге. Но испанцы, с которыми я успел познакомиться, говорят, что этим и тот, и другой лишь располагают к себе. Хуже было бы, если бы два человека, которые уже не один год так безжалостно соперничают, делали вид, что они друзья-приятели. На сцене, однако, за шахматной доской они продолжают держаться безукоризненно. Вот и теперь, когда Каспаров записывает ответный ход, Карпов подходит к столу. Каспаров приподнимается, и они обмениваются рукопожатием.

Иду в зал. Хрусталь. Бархат. Таинственный полумрак лож. На заднике сцены, прямо за шахматным столиком, огромная эмблема «Экспо-92». В полупустом зале Карпов делает очередной ход.

Вспоминаю, что утром читал в «Коррео» о том, что в Севилью прибыл, чтобы комментировать матч, «великий мастер» Михаил Таль. Ну, конечно же, зрители перебрались в казино — ждут Талья. Зал казино радиофицирован, но я обойдусь без наушников. И так пойму, встав поближе к сцене, что говорит Таль. Он появляется в сопровождении переводчицы. Именно такой, как эта Лола, представляешь, живя в Москве, трепетную испанку. Но у нее растерянный вид. Может, не идеально владеет русским? Тут слышу, как они переговариваются. «Я буду вас переспрашивать, чтобы не сказать глупость», — говорит она с нежиданным московским «акцентом». «Это я могу ляпнуть глупость, а вы, умница, Лолочка», — ободряет ее Таль.

Семнадцатая партия должна была дать ответ, не дрогнул ли Каспаров после чувствительного поражения в шестнадцатой. Зарвался, спеша решить судьбу матча, и вот счет сравнялся. Хватит ли у Каспарова сил, чтобы удержать хотя бы ничейный счет? Или Карпов дождет его очередной ошибки, а сам ухитрится больше не ошибаться?

Предельно осторожную игру, которая происходила на главной сцене, Таль комментировал феерически — находил и за белых, и за черных непредсказуемые продолжения и столь же изобретательно опровергал любой вариант. Пока те двое «отрабатывали» по долгу службы очередную партию, неуязвимый импровизатор щедро делился с нами своим шахматным даром. А когда Лола была не в силах угнаться за Талем и переспрашивала его, он, к удовольствию зрителей, подбрасывал ей нужное испанское слово...

Каспаров в этой партии устоял. Партия отложена, но, по мнению Талья, да и по общему мнению, при доигрывании она быстро завершится ничью.

Таль знакомит меня с Лолой. Узнаю, что она родилась и выросла в Москве — на Соколе, а когда окончила школу, родители решили наконец возвратиться в Испанию. Сейчас учится в Мадридском университете и подрабатывает переводами с русского. В Севилью приехала с телевидением.

— Здесь был Борис Спасский, — рассказывает Лола, — и он сказал мне, что надо иметь душу убийцы, чтобы стать чемпионом мира...

— Москву вспоминаете?

— В Москве остался мой двор, мои качели...

Я ухожу уже, когда она спрашивает:

— А сочинения по книгам Брежнева десятиклассники уже не пишут?

— Уже не пишут.

Вот какие разговоры вел я сегодня на шахматном матче в испанском городе Севилья.

26 ноября. Полночь. Вся наша группа засиделась в комнате у девочек — Пак играет и на гитаре, и на губной гармошке... Валера болеет за Каспарова, но не смог связаться с ним. И я не смог помочь ему — не увидел в театре никого из команды Каспарова. Тогда он договорился, что сегодня вечером поедет к Карпову. Но после доигрывания семнадцатой партии ему передали от Карпова, что выступление отменяется и машина за ним не придет...

Только что посмотрел ночной теледневник. Показали Каспарова, который так радовался, словно выиграл партию, которая при доигрывании быстро завершилась ничью. А радовался тому, что Карпов не увидел сильнейшее продолжение, да он и сам увидел, что отложенная позиция не столь безобидна, лишь в последний момент, собираясь уже на доигрывание, и опоздал к началу на пятнадцать минут — искал защиты. Долго пришлось бы ему защищаться, быть может, не один вечер, если бы Карпов был прозорливее...

Я присутствовал при доигрывании. Расскажу по порядку, как это было. За полчаса до начала доигрывания в пресс-центре царилла благодушное настроение. Обсуждался кино-сюжет андалузского телевидения, показанный утром по местному каналу и посвященный Наташе, жене Карпова. Ее снимали и на улицах Севильи, и у гадалки снимали, которая внушала ей, что карты сулят ее мужу скорый успех... Интересно, сколько песет стоил этот прогноз? Во всяком случае, никто не ждал, что предстоящее доигрывание грозит нарушить установившееся в матче равновесие. Даже сравнивали эту партию с пятнадцатой, где в абсолютной ничейной позиции Карпов записал свой секретный ход, а на следующий день предложил через главного судью ничью, но чуть позже, чем положено, а Каспаров, не дождавшись звонка, пошел погулять. Возвратившись домой, он лег спать и просил его разбудить лишь перед самым доигрыванием. В конце концов они оба приехали на доигрывание, но на сцену не вышли — сидели в своих комнатах, пока Карпов вновь не предложил ничью... И оба поспешили дать интервью телевидению, чтобы высказать взаимные упреки... Каспаров говорил тогда: «Удивлен, что битая ничья, а он записал ход...» И кто-то из испанских журналистов высказал мнение, что, не случись этой истории, Карпов бы сегодня утром наверняка предложил ничью.

Но тут в пресс-центре появились Таль и сказал: «А позиция-то не столь проста». И показал ход, который он видит у белых... Многие бросились к телефону, передавая в свои редакции поправки: лишь доигрывание, дескать, покажет...

Ровно в половине пятого на сцене появился Карпов и сделал записанный вчера ход, но это был не тот ход, который показал нам Таль. А Каспаров опаздывал. Карпов посидел минут пять за столиком, ожидая его, а потом поднялся и ушел в свою комнату. Прошло еще пять минут, но чемпиона мира по-прежнему не было. Каспаров опоздал на пятнадцать минут, и я наблюдал, как, выскочив из машины и никого не видя вокруг, он устремился к своей «черной» двери (спеша на партию, Каспаров и Карпов не могли столкнуться в дверях — был вход для игравшего белыми и вход для игравшего черными). Я видел — на экране монитора — и как, едва появившись на сцене, он бросил взгляд на демонстрационную доску и уже спокойно направился к столу. Вышел из-за кулис и Карпов, они сделали по четыре хода и согласились на ничью.

А в казино вышел на свою сцену Таль в сопровождении Лолы и начал рассказывать, как за обедом в ресторане отеля «Севилья» он встретился с Ульфом Андерссоном и тот озадачил его, сказав, что, кажется, нашел за Карпова продолжение с переходом в малопривлекательный для Каспарова ферзевый эндшпиль. За те минуты, пока они шли от «Севильи» до театра, Таль «проиграл» в уме различные варианты этого эндшпиля, которого Каспаров уже избежал, но который он и хотел бы показать собравшимся.

Недалеке от демонстрационной доски стоял монитор, и вдруг я увидел, что отложенная позиция восстановилась на экране и электронные фигуры с непостижимой скоростью забегали по доске. Оказывается, и Каспаров решил показать Карпову, мимо какого продолжения тот прошел. Со времен матча в Колонном зале Каспаров заметно помудрел и подобный совместный анализ сыгранных партий не затевал. Но

мне представляется, что на этот раз он просто хотел доказать сопернику, что видит дальше его... Как бы то ни было, но Карпов поспешил вскоре уехать, а счастливый Каспаров не мог дожидаться, пока гримерша и парикмахер приведут его в телегеничный вид — так он рвался дать интервью, о котором уже рассказано.

А Таль тем временем показывал свои варианты этого эндшпиля. Пешки у него проходили в ферзи, и черные были обречены искать каждый раз единственный спасительный ход, но они... этот ход находили. Какой-то пылкий зритель выскочил к демонстрационной доске и пытался опровергнуть Талья, но силы были неравны...

— Равновесие сохраняется, напряжение возрастает, — закончил свой комментарий Таль.

Ему аплодировали. А кто, кроме Талья, заслужил в этот вечер аплодисменты?

Карпов, наверное, завтра возьмет тайм-аут, и следующую партию увидеть уже не придется. Что ж, буду сохранять равновесие. А Пак еще играет на гитаре.

27 ноября. Карпов берет тайм-аут, и вечером вместе с Петей Спектором из «Московского комсомольца» прихожу в казино, чтобы поболтать с Леонче Гарсия. Этот бритоголовый баск из мадридского «Паиса» не пропустил ни одной встречи Каспарова с Карповым. Куда они, туда и он со своей машинкой. На той злополучной пресс-конференции Кампоманеса в гостинице «Спорт» мы, помню, сидели рядом. Президент ФИДЕ говорил тогда, что крайне обеспокоен здоровьем обоих участников матча, но сделал с тех пор все возможное, чтобы здоровья им не прибавилось...

— Четвертый год бодаются, — говорит Леонче.

— Коррида, — говорит Петя.

— Хочешь, я попрошу его сравнить этот матч с боем быков? — предлагает Лолла.

— Он сравнил уже, — говорю я.

— Наше телевидение будет делать передачу «Шахматы и коррида». Леонче, кажется, в ней участвует.

— Раз матч в Севилье, то это сравнение вроде бы банально, — говорит он, — но, согласитесь, разве члены команд — участников матча не походят на помощников тореро? Готовят очередную партию, как те — быка... И как тореро нуждается в быке, так и Каспаров, и Карпов друг в друге нуждаются, хотя этот матч — чисто шахматно — менее интересен, конечно, чем третий, а тем более второй.

Леонче высказывает предположение, что, то и дело «обмениваясь оплеухами» на телеэкране, участники матча не только дают выход своим эмоциям, но и «работают», как истинные профессионалы, на зрителя. Признаюсь, что тоже думал об этом...

А. А. И вот позади двадцать две партии, три матча и три года. Счет — 11:11. Использованы все тайм-ауты. У каждого по одному белому цветку и трезвое понимание того, что следующая их встреча на таком уровне если состоится, то еще через три года и именно эти две партии решат, кто в каком звании эти три года проживет...

Не ждите от меня анализа этих двух партий. К тому времени, как наша книга выйдет (стучу по дереву), я уверен, появятся десятки подробнейших и высококвалифицированных разборов этих двух партий, в которых авторы, подобно патологоанатомам, обнаружат причины и ошибки, которые привели к трагедии сначала одного, а потом другого пациента. Я не случайно и не для красного словца употребляю слово «пациент». Я не сомневаюсь, что и биологически, и психологически и Каспаров, и Карпов перед этими двумя партиями пребывали в состоянии «без пяти минут пациентов».

В интервью перед двадцать третьей партией Карпов сказал, что имеет психологическое преимущество, что Каспаров его боится, потому что понимает: ничейный счет после двадцати двух партий следует считать для себя подарком (экс-чемпион имел в виду одиннадцатую партию, в которой зевнул Каспарову качество), иначе преимущество Карпова было бы не только психологическим, но и «материальным»...

Я думаю, не следует в подобных ситуациях прибегать к сопоставительному наклонению и рассуждать на тему, что было бы, если бы... Не следует подсчитывать количество «подарков», сделанных друг другу: каждый будет считать, что сделал таких «подарков» больше, и будет по-своему прав, тем более что процент ошибок в этом матче был слишком велик. Не сделать ли попытку разобраться в причинах этих ошибок? Что такое 120 партий, сыгранных между собой

двумя шахматистами? Даже если за всю шахматную карьеру двое сыграют 50 или 60 партий, то это тоже безумно много. Партнеры притираются друг к другу, обнажаются психологически: по взгляду, по посадке за столом, по нюансам записывания только что сделанного противником хода они улавливают реакцию на этот ход, убеждаются в правильности или в непоправимой ошибочности этого хода... Уже не удивить им друг друга дебютным построением, блефом-жесткой или видимостью угрожающего позиционного преимущества. И каждая следующая партия воспринимается как обязательная программа, как мучительная работа, а иногда — как пытка. И творческое начало уже отступает на второй план, оттесненное волей, энергией, эмоциями, личностью соперника. И шахматы из цели превращаются в средство, с помощью которого можно доказать свое личное превосходство. И если эти играют два друга, то им нечего доказывать свою силу — они «отбывают номер» и играют вничью... Все сказанное в гипертрофированном виде относится сегодня к Каспарову и Карпову, которые не за всю жизнь, а за три года сыграли 120, а не 50 партий, у которых честолюбивые амбиции доведены до предела, а взаимоотношения их дошли до крайней степени непримиримости, что, к сожалению, подогревалось людьми, далекими не только от шахмат, но и от спорта вообще, и диктовалось совсем не спортивными соображениями... Но на сколько эти факторы снизили шахматный уровень поединка, на столько они повысили напряжение драматургического конфликта между двумя героями многоактной драмы. Так стоит ли нам так уж сетовать на низкий уровень матча? Не снобизм ли это с нашей стороны?..

Нельзя забыть лицо Каспарова, проигравшего одним промешкотичным ходом, ходом, стоявшим при домашнем анализе у него на доске и выпавшим из памяти непостижимым образом! И это в двадцать третьей партии, когда Карпов вышел вперед и оставил чемпиону возможность доказать, что он чемпион, выигравшем «заказной» партии!

Никогда не забудется и заключительная позиция черных в последней партии, в которой их фигуры просто задохнулись от недостатка воздуха. «Цугцванг», — сказал про эту позицию Юрий Разуваев, — это невозможность играющего передать свою энергию деревянным фигуркам».

...В субботу 19 декабря 1987 года, через несколько часов после того, как на экранах телевизоров появилась надпись «Белые выиграли», один из друзей Каспарова — международный гроссмейстер Михаил Гуревич — дозвонился в Севилью до трехкратного чемпиона мира. «Кимович! — сказал Миша. — Ты всех нас едва не сделал заиками...» «Передай всем друзьям, — ответил веселый «Кимович», — что я извиняюсь перед ними за первые двадцать три партии...»

Возможно, что Анатолий Карпов на встрече со своими поклонниками тоже принесет аналогичные «извинения»... Не знаю. Но думаю, что никакие извинения не нужны. Два титана бились до последнего и за доской, и вне ее, и никто из них не сдался... Ваши извинения, Гарри Кимович и Анатолий Евгеньевич, оставьте при себе и примите наши восхищение и благодарность!

...Есть мнение, что в 1990 году они снова столкнутся. Может быть, да, а может быть, и нет. Уверен в одном: в 1990 году матч Каспарова с Карповым или с кем-то другим будет нормальным шахматным поединком, и уровень его может быть более высоким, но такого яростного трехлетия мне, думаю, увидеть уже не придется... И еще. Противники непримиримы до тех пор, пока не становятся «мудрыми». Мудрость наступает тогда, когда человек реально начинает оценивать свое значение в жизни, когда он выбирает свой максимум, когда прошлого у него значительно больше, чем будущего... Каспаров не знает, сколько сейчас лет четырнадцатому чемпиону мира. 15? 10? 5?.. Во всяком случае, вероятно, что он уже родился, хотя и не ведает еще о своем предназначении. Но он придет. Он не может не прийти. И после его прихода (мне почему-то так кажется) бывшие непримиримые «враги» сблизятся, поставят на стол «серебряную кошку» и в исповедальной беседе принесут друг другу свои извинения. Им найдется что сказать на эту тему... А торжествовать будет Четырнадцатый. И они станут критиковать его или восхищаться им, но откуда от этого не денутся, потому что в конце концов своими партиями, своей непримиримостью, своими... (впрочем, они уже извинятся друг перед другом), своей жизнью они сами строили ему пьедестал... Однако не исключено, что сближение произойдет и несколько раньше.

Сергей
АБРАМОВ

НЕ- ФОР- МАШ- КИ

Фантасмагория

Отрекаться не пришлось. Только сели в машину — телефонный звонок. Мрачный шофер почтительно и бережно, двумя пальцами, снял трубку, помолчал в нее и протянул Умнову.

— Умнов,— сказал в трубку Умнов.

— Приветствую вас, Андрей Николаевич,— затрещала, заскворчала, засвиристала трубка. Неважно у них в городе радиотелефон работал.— Это Василь Денисыч. Обедать едете?

— Угадали.

— Не угадал, а знаю... Как вам выборы?

— Мура,— невежливо сказал Умнов. — Показуха, липа и вранье. Зачем они нужны? Оставили бы старых начальников, и дело с концом. Без голосования.

— Плохо вы о людях думаете, товарищ Умнов. — Голос Василь Денисыча приобрел некую железность, некую даже сталистость. Мистика, конечно, но ведь и треск в трубке исчез.— Мы спросили людей. Люди назвали тех кандидатов, кому они верят, кого они уважают. Это во времена застоя собственное мнение за порок почиталось, а сегодня оно — краеугольный камень социализма. И не считаться с ним — значит выбить из-под социализма краеугольный камень.

— Зубодера — в директора? — зло спросил Умнов. — Да за такое мнение, чье бы оно ни было, штаны снимать надо и по заднице... этой... двойной коляской.

— Любое мнение надо сначала выслушать. А уж потом объяснить человеку, что он не прав. Понятно: объяснить. И он поймет. Народ у нас понятливый, не раз проверено. Вот и зубодер, как вы изволили выразиться, уважаемая наша товарищ Рванцова, сама отказалась от высокой чести быть избранной...

— А не отказалась бы? А избрали бы? Так бы и директорствовала: чуть что не по ней — бормашиной по зубам?..

— Абстрактный спор у нас получается, товарищ Умнов. И не ко времени. Но от продолжения его не отказываюсь: надо поговорить, помериться, так сказать, силенками. Кто кого...

— Абстрактному спору — абстрактная мера,— усмехнулся Умнов.— Кто кого, говорите? Да ежу ясно: вы меня!

Василь Денисыч ничего на это не возразил, только промолвил дипломатично:

— Не пойму, о чем вы... Ну да ладно, не будем зря телефон насиловать. Дайте-ка Ларисе трубочку. Она с вами?

— Куда денется,— проворчал Умнов, передавая трубку Ларисе.

Та к ней припала, как к целебному источнику. Не воды — указаний... И ведь хорошая баба, красивая, крепкая, молодая, неглупая, а как до дела, так будто и нет ее, одно слово — Дочь. Наипослушнейшая. Наипочтительная. Наивсебастальное...

— Слушаю вас, Василь Денисыч... Да... Да... Да... Нет... Да... Нет... Понятно... Сделаем... Да... Будем. — Отдала трубку шоферу, который как сидел неподвижно и каменно, так и не сдвинулся с места ни на микрон.

Монументальная болезнь — это, по-видимому, заразно, весело подумал Умнов. Как бы не схватить пару бацилл, как бы не замонументироваться.

— Есть новые указания? — ехидно спросил он.

— Изменения в программе,— озабоченно и почему-то сердито сказала Лариса. — Больница пока отменяется, там карантин по случаю годовщины взятия Бастилии. После обеда нас будет ждать Василь Денисыч. У него есть планы...

— Планы — это грандиозно, люблю их громаде,— согласился Умнов, радуясь, что не придется самому отказываться от программы.— А из-за чего карантин подруга? Никак у вас все больные — потомки парижских коммунаров? Поголовно...

Лариса не ответила, сделала вид, что ужасно занята собственными государственными мыслями, помолчала, мимоходом бросила шоферу:

— В кафе «Дружба». — Опять молчала. Что-то ее расстроило, что-то явно выбило из привычной ура-патриотической колеи.

Умнов некоторое время с легким умилением наблюдал за ней, потом сжалился над девушкой, нарушил тяжкое молчание:

— Окрошка-то не отменяется?

И надо же: дурацкого вопроса хватило, чтобы Лариса расцвела — заулыбалась в сто своих белейших зубов.

— Окрошка будет. Это кооперативное кафе. — Добавила дежурно: — Пользуется большой популярностью в нашем городе.

— Твои ребята его обустривают?

— Нет, что ты! Мои — другое. А это... Ну, сам увидишь.

В кафе их ждали. Два черноволосых и черноусых красавца южнокавказской наружности стояли у дверей кооператива «Дружба» и всем своим видом выражали суть упомянутого названия. Было в них что-то неуловимо бутафорское. Как в Ларисиних неформашках.

— Здравствуйте, мальчики, — сказала им Лариса. — Надеюсь, покормите? Местечко найдете?

— Ради вас, Ларисочка, всех других прогоним, — галантно заявил один усач с картинным акцентом. — Для вас все самое-самое отдадим, свое отдадим, голодными останемся — только чтоб вы красиво улыбались...

— Никого выгонять не надо, — строго сказала Лариса. — Ишь, раскокетничались... Знакомьтесь лучше. Это Андрей Николаевич, он из Москвы.

— Гиви, — представился первый усач.

— Гоги, — представился второй.

— Прошу вас, гости дорогие.

Гиви торжественно повел рукой. Гоги торжественно распахнул дверь. Умнов с Ларисой торжественно вошли в кафе.

Не хватает только свадебного марша, подумал Умнов.

И в ту же секунду невидимые стереоколонки исторгли легкое сипение, кратковременный хрип, стук, шелк — игла звукоснимателя рано встала на пластинку, — и голос комсомольского шоумена обрадовал публику сообщением об отъезде в Комарово, где — вспомнил Умнов — торгуют с полвторого.

Публика — а кафе было заполнено до отказа, свободных столиков Умнов не заметил — сообщение об отъезде шоумена приняла благосклонно, но равнодушно: никто от обеда не оторвался. Как никто не обратил особого внимания на появление Умнова и Ларисы в сопровождении кооперативных владельцев кафе.

Их посадили за маленький столик в дальнем углу, предварительно сняв с него табличку «Заказан». Столик был крыт грязноватой клетчатой скатертью, а в центре ее под перечно-солоночным комплектом и вовсе растеклось жирное пятно.

— Что будем кушать? — спросил Гиви. Гоги исчез — скрылся в кухне.

Умнов решил опять немного похамить. Хотя почему похамить? Что за привычные стереотипы? Не похамить, а покачать права, которые, как известно, у нас есть.

— Почему скатерть грязная? — мерзким тоном поинтересовался Умнов.

— Извини, дорогой, — сказал Гиви, — не успеваем. Нас мало, а люди, понимаешь, кушают некрасиво, культур-мультир не хватает, а прачечная долго стирает... Что кушать будем, скажи лучше?

«Культур-мультир» Умнова сильно насторожило: уж больно избитое выражение, тиражированное анекдотами, а тут — как из первых уст. Гиви вызывал смутное подозрение. В чем?.. Умнов пока не знал точного ответа.

— Смените скатерть, — ласково сказал Умнов. — У вас, мальчики, кафушка-то кооперативная, наши денежки — ваша прибыль. При такой системе клиент всегда прав. А если ему скажут, что он не прав, он

порхнул оттуда с чистой — расстелил, складки расправил, помимо солонки с перечницей, еще и вазочку с розой установил.

— Теперь красиво?

— Теперь красиво, — подтвердил Умнов. — Главное чисто.

Во время мимолетного конфликта Лариса хранила выжидательное молчание. Умнов заметил: переводила глаза с него на Гиви и — не померещилось ли часом? — чуть усмехалась уголком рта. А может, и забавляла ее ситуация: клиент частника проклятого дружит.

— Слушай, Лариса, — Умнов отвлекся от окрошки, которая оказалась холодной и острой, — тебе что, эти парни не нравятся, да? Почему, подруга?

— Еще чего!.. — совсем по-бабски фыркнула Лариса, но спохватилась, перешла на официальные рельсы: — «Нравится, не нравится» — это, Андрюша, не принцип оценки человека в деле. Как он делает свое дело — вот принцип...

— А как они его делают?

— Гиви и Гоги?.. — Помолчала. Потом сказала странно: — Свое дело они делают...

Я спросил:

— Как?

— Как надо, — выделила голосом.

— А как надо? — тоже выделил. — И кому?

— Как — это понятно, — улыбнулась Лариса, — прописная истина... А вот кому... Не могу сказать...

— Не знаешь?

Посмотрела ему прямо в глаза — в упор. А он — уж на что жох по женской части! — ничего в ее глазах не прочел: два колодца, что на дне — неизвестно... Усмехнулся про себя: тогда уж не два колодца, а два ствола. Пистолетных или каких?..

Повторила:

— Не могу сказать... — И радостно, прерывая скользкую, как оказалось, тему: — А вот и Гиви!

Ладно, временно отступил Умнов, я тебя еще достану, тихушницу...

Гиви принес заказанные шашлыки. На длинных шампурах нацеплены были вкусные на вид куски баранины, переложенные кольцами лука. Гиви, явственно пыхтя, сдирал их с шампуров на тарелки.

— А где помидоры? — склочно спросил Умнов. — Шашлык с помидорами жарят. Или не знаете?

— Вах, что за человек! — Гиви на секунду оторвался от тяжелой работенки. — То ему скатерть грязная, то ему помидоров нет!.. Не завезли помидоры, дорогой! Понимаешь русский язык: не завезли! Завтра приходи. А пока такой шашлык кушай. Такой шашлык тоже вкусный. — И метнул на стол две тарелки с шашлычными ломтями.

Акцент его — показалось или нет? — во время последней тирады стал явно слабее.

— Поешь шашлычок, Андрюшенька, — почти пропела Лариса, и в двух синих стволах-колодцах Умнов заметил явно веселые искорки, или, как принято нынче писать, смешинки, озорнинки, лукавинки. — Он хоть и жестковат, но есть можно...

Шашлык и вправду оказался жестким, да еще и жирноватым. Эдак они прогорят в два счета, подумал Умнов, поглядывая по сторонам. Столиков в зале было штук тридцать, обедающих — полным-полно. Между столиками челночно сновали усталые девушки-официантки, таскали тяжелые подносы с едой. Умнов насчитал четверых, по крайней мере.

Ни Гиви, ни Гоги в зале не было. Какая-то официанточка, тыкая пальчиком в пупочки микрокалькулятора, кого-то обсчитывала: либо в переносном смысле, либо в буквальном. Умнов деловито прошел мимо, завернул за деревянный щит, отделявший кухню от зала, и остановился, укрывшись за выступом стены. В кухне работали трое женщин и трое мужчин: кто-то у плиты, кто-то на резке, кто-то на раскладке. И так, плюс шесть... От кухни шел коридорчик, в конце которого виднелась узкая дверь с латинскими буквами «WC». Вот и повод, решил Умнов, целенаправленно руля по коридору к замеченной двери. По пути он миновал и другую, с надписью «Заведующий». Она была неплотно прикрыта, и оттуда слышались голоса. Говорили трое. Два голоса показались Умнову знакомыми, третьего он никогда не слышал. Но именно третий произнес то, что заставило Умнова продолжить спонтанно начатую игру «в Штирлица».

— ...мне все это подозрительно, — вот что услышал Умнов — конец, видимо, фразы или монолога.

Услышал, остановился, замер и принялся подслушивать.

— А плевать мне на тебя, — произнес другой, со знакомым голосом. — Подозревай, сколько хочешь.

— А на Василь Денисыча тоже плевать?

— Василь Денисыч мог бы раньше предупредить.

— Значит, не мог.

— Мог или не мог — поздно решать, — вмешался еще один, тоже со знакомым голосом. — Вопрос в другом: что он знает?

— Да многое! И что с того?

— Это, ребята, не ваша забота, — сказал незнакомый. — Вы за что деньги получаете? За дружбу. — Или он имел в виду кафе «Дружба»? — Зарплата, между прочим, будь здоров, как у народных...

— Я и так заслуженный, — обиженно сказал первый знакомый голос.

— Ну и играл бы своих Гамлетов, заслуженный. За сто тридцать минус алименты.

— Ты мои алименты не трогай, рыло!

— А за рыло можно и в рыло.

— Кончайте, парни, — вмешался второй знакомый. — Работа есть работа. Роль не хуже других. Только надоела — сил нет... Ты мне лучше скажи, Попков, какого черта нас впустили в эту историю?

— Нужно было кооперативное.

— Вывеску? Других вывесок мало? Полон город вывесок...

— Но-но, полегче на поворотах...

— Попков, милый, чего полегче, чего полегче? Не пугай ты нас, пуганые. Ну, вернут в труппу на худой конец — и что? Только вздохнем...

— Скорей задохнетесь, — хохотнул незнакомый Попков. — Еще раз повторю: в труппе потолок какой? То-то и оно... Ладно, гаврики, вышла накладка или не вышла, не нам судить. Есть головы поумнее. Идите, рассчитайте гостей. Василь Денисыч столичного хмыря ждет...

Умнов пулей промчался по коридору, нырнул в туалет. Но дверь не закрыл, оставил щелочку. И в щелочку эту увидел, как из кабинета заведующего сначала вышел огромный мужик в тесной кожаной куртке, огромный черный мужик с квадратным затылком — Попков, значит, а за ним — Гиви и Гоги... И это последнее — невероятно! — так поразило Умнова, что он даже не стал вспоминать, где видел первого мужика...

Значит, Гиви и Гоги?.. А где же акцент? А где псевдокавказские шутки-дрючки — ты меня уважаешь? Кушай шашлык, дорогой! — где все это? И еще. Что такое роль, труппа, заслуженный, народный?.. Зарплата сто тридцать?.. У кого сто тридцать? У актера?.. Выходит, Гиви и Гоги... Во бред!.. Нет, точно,

Гиви и Гоги ушли из театра и взяли патент на кафе. Ладно, допустим. Но не похоже — Умнов голову на отсечение давал! — это кафе не кооперативное. Бывал он в маленьких, приветливых, теплых частных кафешках, где тебя встречают, как дорогого друга, где кормят вкусно и сытно, где обслуживают быстро и вежливо, где скатерти чистые, наконец! И народу в таких кафешках работает трое, от силы — четверо. И то еле-еле на каждого — рублей по триста чистой прибыли. В месяц. При адском труде... А здесь?.. Здесь штат, как в обыкновенной государственной забегаловке. И кормят, кстати, так же. В смысле — плохо... Нет, если они и из театра, то кого-то здесь играют. Для чего?!

С этим безмолвным воплем Умнов выскочил в безопасный пока коридорчик, промчался мимо кухни, притормозил и лениво вышел в зал. Около их стола стоял Гиви и встревоженно озирался. Лариса сидела с загадочной улыбкой на лице — женщина-сфинкс после приема окрошки.

Тут Гиви заметил Умнова, радостно ему крикнул:

— Где ходишь, дорогой? Почему такую красивую девушку одну оставляешь? — Акцент вернулся, как не исчезал. Или там, в кабинете, не Гиви был?..

Умнов подошел к столу, взял из рук Гиви листок счета.

— Сколько? Три шестьдесят? Получите... — Положил на скатерть пятерку.

— Сейчас сдачу дам, — забеспокоился Гиви. — Мы — кооператоры, у нас чаевых нет.

— А сортир у вас есть? — грубо спросил Умнов, объясняя таким образом свой вояж по закулисной части кафе.

Лариса хмыкнула.

— У входа, дорогой. Где вешалка.

— С которой все и начинается, — задумчиво сказал Умнов, принимая рупь сорок сдачи. — И кафе, и театр... Пошли, Лариса. Спасибо за угощение, парни. Смотрите не переигрывайте, а не то прогорите. — И двинулся к выходу, не дожидаясь ответа.

На сей раз Умнов изменил себе и сел на заднее сиденье рядом с Ларисой. После обеда у псевдогрузин он испытывал к ней откровенную симпатию. Занятно она себя ведет, не соскучишься. Что-то в ней есть, в комсомолочке этой правоверной, что-то скрытое, необычное.

— К Василь Денисычу едем, — то ли утвердила, то ли спросила Лариса.

А если спросила, то у кого?..

— Можно и к нему, — машинально ответил Умнов и машинально взглянул на шофера.

Он его впервые увидел сзади — до сих пор сидел рядом с ним. Увидел и мгновенно понял: шофер и был тем человеком, что разговаривал с Гиви и Гоги в кабинетике заведующего кафе. Он, он — спина его, затылок его, а голоса Умнов раньше и не слышал: в роли шофера он — Попков, кажется? — молчал, как застреленный. В роли?.. Что они тут — все из местного театра? Все Гамлеты?.. А кто ж Лариса?.. Офелия? Тогда жаль ее: плохо кончит...

Умнов испытывал глужее желание обратиться к шоферу по фамилии. Спросить, например: «Как дела, Попков? Как трамблер? Как жиклер?» Но сдержался: рано. Еще час назад спросил бы, не задумываясь. Из чистого хулиганства. Из детского озорства — спровоцировать неловкую ситуацию, для хозяев неловкую, — как, впрочем, было уже не раз. А сейчас решил обождать. Появились вопросы — точные. Появились желания — любопытные. Первые надо было задать. Вторые — осуществить. А до того — на время затаиться, смирить прыть.

...Здание под красным флагом на центральной площади оказалось средоточием всех властей предрежущих. Милиционер у входа с подозрением изучал журналистское удостоверение Умнова, часто сверял фотографию с оригиналом, потом с сожалением вернул корочки.

— Проходите. — И даже вздохнул: жаль, мол, но все по форме, все подлинное...

Кабинет Василь Денисыча располагался на четвертом этаже в самом конце коридора. Судя по отсутствию дверей рядом, кабинет этот был огого каких размеров. Большому кораблю большой док, подумал Умнов, слабо представляя себе Василь Денисыча в дальнейшем плавании. Да и не полпывет он никуда из Краснокитежска. Зачем? Здесь он бог-отец, бог-сын и на полставки — дух святой.

Секретарша в приемной — та самая дама, что на банкете пела «Ландыши», — встала из-за стола-великана с добрым десятком телефонных аппаратов на нем.

— Опаздываете, товарищи. Уже три минуты как заседают.

— Мы тихо, — виновато сказала Лариса.

С натугой открыла дубовую дверь, проскользнула в кабинет. И Умнов за ней. Хотели войти тихонько, а получилось наоборот. Василь Денисыч, стоящий во главе десятиметровой длины стола, немедля заметил опоздавших и провозгласил:

— А вот и наш гость. Кое-кто знаком с ним. Для остальных представляю: Умнов Андрей Николаевич, талантливый и знаменитый журналист, золотое, так сказать, перо. Прошу любить и жаловать... Поприсутствуйте, товарищ Умнов, на нашем заседании. И вам любопытно будет, и нам сторонний взгляд на нашу провинциальную суету весьма полезен. Лады?

Умнов согласно кивнул, оглядываясь, куда бы приткнуться. За стол заседаний — неловко, хотя Лариса уже уселась туда, на свое законное, бросила Умнова, предательница... За гигантский, под стать бильярдному, письменный стол Василь Денисыча — у всех присутствующих, а их здесь человек тридцать, будет сильный шок и судороги от гнусного кощунства. Остается единственно приемлемый вариант...

Умнов подошел к письменному столу и сел перед ним в глубокое кресло для посетителей и... провалился чуть не по уши, колени выше головы задрались.

— Там вам удобно? — ласково поинтересовался Василь Денисыч.

— Предельно, — уминаясь, устраиваясь, ответил Умнов, борясь с собственным центром тяжести, ловя более-менее устойчивое равновесие. А поймал — почувствовал: и впрямь удобно. Хоть спи в кресле.

— Тогда продолжим. — Василь Денисыч обратился к собравшейся публике. — На повестке дня три вопроса. Первый: проблемы перестройки, гласности на страницах нашей прессы. Сложный вопрос, товарищи, болезненный. Гостю нашему, думаю, интересен. Второй: о выборах на заводе двойных колясок. Это быстро, тут все удачно, как мне докладывали. Призываю выступающих говорить кратко и только по делу. Прерывать болтунов буду безжалостно. — Сел. И тут же встал. — Да, вот что. Прежде чем представить слово товарищу Качуринеру, главному редактору «Правды Краснокитежска», хочу сам сказать пару слов. Не возражаешь, Иван Самойлович?.. — Кто-то за столом, не видный Умнову, молча не возражал, и Василь Денисыч разразился парой слов. — Газету нашу в городе любят, факт. Достаточно сказать, что число подписчиков несколько превышает количество жителей города — я уж не говорю о рознице. А это значит, что нашу маленькую «Правду» выписывают в каждой семье, да еще, бывает, по несколько экземпляров. Дедушкам, значит, один экземпляр, папам-

мамам — другой, а малым детишкам — третий. Отрадно. Но мы собрались не хвалить редакцию и лично товарища Качуринера, а указать им на те недостатки, которые есть, есть, товарищи, в их непростой работе. Канули, товарищи, в Лету тяжелые времена застоя, парадности, вздорного головокружения от мнимых и даже подлинных успехов. Ветры критики, ветры здоровой самооценки дуют в стране. Но что-то слабо они вздымают газетные полосы «Правды Краснокитежска». Откуда такая робость, товарищ Качуринер? Объясни товарищам, не скрывай ничего...

Василь Денисыч выговорился, окончательно сел, и немедленно поднялся высокий, худой, рыжеватоседоватый человек в больших очках со слегка затемненными стеклами, робкий, значит, Иван Самойлович Качуринер, усталый на вид шестидесятилетний персонаж. Поднялся, раскрыл блокнотик, близоруко в него всмотрелся.

— Должен признать, товарищи, — начал он малость задумчиво, сипловато: ангина у него, что ли? — что коллектив редакции активно перестраивается, хотя этот здоровый процесс идет пока недопустимо медленно. Мы не в тайге живем, центральные газеты-журналы читаем, понимаем, что времена другие настали, но ведь, товарищи, невозможно ж работать! — И вдруг как нарыв прорвало. Он швырнул блокнот на стол и плаксиво запричитал, напрочь ломая степенный ход заседания: — К кому ни придешь: это не пиши, ты не пиши, это ругать нельзя, недостатков нет, одни высокие показатели. Чуть что не так, звонят домой среди ночи, хулиганы какие-то угрожают. Напечатали про перебои с водоснабжением — у меня воду отключили, внучку помыть — на пите грели. Я Кавокину в «Китежвод» звоню, а он мне: ты же сам написал, что у нас перебои... Или еще. Мальчик у меня был, рабкор с завода двойных колясок. Помните, он заметку сочинил — о том, что нельзя в госприемку заводских назначать, что все равно они от ихнего начальства зависят: партучет, путевки, детский сад там. Мы дали под рубрикой «Мнение рабочего». Где мальчик? Нет мальчика. Исключили из комсомола, перевели в разнорабочие. Я Молочкову звоню, говорю: Эдик, как же так можно, это ж негуманно, это ж месть за критику. А он мне: ты смотри, кого печатаешь, это аморальный тип, он растлил горячую формовщицу. А формовщице, я узнавал, тридцать один и двое детей от разных мужей... А тут дали мы очерк о председателе колхоза «Ариэль», о Земновском, вон он сидит. Ну, герой, показатели — на уровне, в общем, похвалили. А он мне: ты что делаешь? Ты что мне персоналку шьешь? Не мог покритиковать? Я ему: за что, Вася? А он: меня бы спросил, я бы нашел, за что... Или книгу «Высокие берега» нашего писателя Сахарова поддержали, вы сами, Василь Денисыч, сказали: хорошая книга, надо поддерживать. Мы и поддержали, чего не поддержать. А вы звоните: неужто в целой книге недостатков не нашли? Неужто не за что ее пожурить? Я говорю: так вы же сами, говорю... А вы: диалектически, диалектически... Я не могу диалектически, это невозможно! Или театр наш возьмите. Что ни постановка — провал. А кому там играть, если все лучшие разобраны по объектам? Критиковать — жалко. Хвалить — не за что. Вот и молчим. А нам: почему о театре ни слова? Замалчиваете, это политика... Все политика!.. Критикуешь — тебе по рогам. Хвалишь — тебе по очкам. Сомневаешься — тебе еще куда-нибудь...

— Стоп! — это Василь Денисыч встрял. Поднялся с председательского кресла, стукнул кулаком по столу. — Что за истерика, товарищ Качуринер? Вы коммунист или красна девица? Рассопливились тут... Все! Послушали мы вас, теперь вы нас послушайте. Вы,

я чувствую, не понимаете сложности момента. Вы, я чувствую, не понимаете, что за нами следят не только из центра, но и из-за рубежа. Враги, значит. Которым, значит, не хочется, чтобы наша перестройка одержала уверенную победу. Вот ты про книгу Сахарова вспомнил. Верно, хорошая книга, говорил я, не отрекаюсь. Но хорошая не значит идеальная. Идеальным, товарищ Качуринер, только газ бывает. И то в учебнике по физике. — Тут Василь Денисыч помолчал, дал народу немного посмеяться веселой шутке. — Диалектика, Иван Самойлович, штука серьезная, непростая... Ладно, у кого что есть к товарищу Качуринеру?... Давай, Молочков, только коротко.

Встал уже виденный Умновым избранный-переизбранный директор завода двойных колясок имени Павлика Морозова, героя-пионера.

— Что ж ты, Иван Самойлович, факты передергиваешь, а, родненький мой? — начал он ласково и даже отечески. — Что ж ты товарищей в заблуждениеводишь? Мы ведь мимо той заметки не прошли. Мы созвали открытое собрание, обсудили ее, согласились, что автор во многом прав. Помню, вывели из госприемки нашего бывшего бухгалтера и ввели молодого специалиста, постороннего, замечу. Ну, не мы, конечно, сами, а обратились в инстанции, инстанции нас поддержали... И пареньку, рабкору твоему, объявили благодарность в приказе. За принципиальность... А он возьми и сорвись. Запил. Пьяный на работу пришел. Горячую формовщицу не растлил, ты тут палку не перегибай, но приставал к ней с глупостями. А она мать. Она выше этого. Ну, комсомольцы и выдали ему по первое число. Вон Лариса сидит, она знает...

— Мы еще не утвердили решение заводского комсомола, — сухо сказала Лариса, оторвавшись от листа бумаги, на котором она что-то сосредоточенно рисовала. Сказала и снова в лист уткнулась.

— И зря, — осудил ее директор Молочков. — Оперативнее надо... Но это частность. А по большому счету у нас, заводчан, к газете претензии есть. Мало пишут они о наших маяках, о положительных для молодежи ориентирах. Видно, берут пример со всяких там московских изданий, где все как с цепи сорвались: критика, критика, критика, то плохо, это скверно, там жулики, тут бюрократы. А где честные? Где деловые? Нельзя так огульно, нехорошо... Однако, с другой стороны, и о критике забывать нельзя. Вот у нас в третьем цехе план не на сто процентов госприемке сдали, а на девяносто девять. Плохо? Плохо. Почему газета не написала об этом? Я тебя спрашиваю, Иван Самойлович?

Качуринер что-то быстро-быстро писал в блокноте. Вопрос Молочкова счел риторическим.

А тот ответа и не ждал.

— Знаю я, знаю, почему не написала. Потому что кое-кто в промышленном отделе редакции считает, что и девяносто девять — липа. Не липа, товарищи из отдела! Не липа! В наших колясках из той партии уже катаются малыши по всей стране и в Монгольской Народной Республике тоже! И «спасибо» говорят.

— Вряд ли, — сказала Лариса.

— Что «вряд ли»? — повысил голос Молочков, и Василь Денисыч на Ларису строго глянул.

— Вряд ли говорят, — спокойно объяснила Лариса. — Если только «уа-уа», но «спасибо» — это вы чересчур...

— А-а, — облегченно протянул Молочков, а Василь Денисыч рассмеялся:

— Молодец, девка! Поддела Эдуарда... Ты, Эдуард, кончай сам себя хвалить. Ты по делу.

— Я по делу, — заторопился Молочков. — Я против Качуринера ничего не имею, он — специалист, высшее образование еще до войны получал. Я призы-

ваю его: придите к нам открыто. Мы вас встретим, все покажем, расскажем, объясним. Газета помогать делу должна, а не мешать ему. А как нам помочь — кто лучше нас самих знает? Так пусть спросят... Все, я кончил.

— А кончил, так и отдохни, — сказал Василь Денисыч. — Кто следующий?... Давай, Земновский.

Вскочил розовый крепыш, председатель колхоза с летящим именем «Ариэль», и зачастил, зачастил:

— Да, был очерк, да, я огорчился, потому что нет человека, который был бы, как остров, так классик иностранный писал, мы все живем одной семьей, и если обо мне пишут, то какой же остров, надо спросить у односельчан, что я не сделал, потому что сделанное — на виду, а что не сделал, то люди знают, а я тоже знаю, что не сделал, а твой мужик, Иван, пришел, со мной обо всем поговорил, а про недостатки не спросил, потом напечатали, а Василь Денисыч мне на бюро: ах, какой ты у нас со всех сторон положительный, а если тебя копнуть поглубже, — так я и говорю, копните, что же не копнуть, жалко мне, что ли, копните, а я покаюсь, признаю ошибки, пообещаю исправить, и не угрожал я вовсе никому, вот, и вообще надо бы написать о трудностях в колхозе, дожди прошли, зерно тяжело идет, а люди-то, люди какие, золотые люди, где маяки, прав Молочков, хотя Сахаров тоже врал, когда писал, что у нас на трудодень одна картошка, за такие слова можно и на бюро, я накаताю заявление, пусть попрыгает...

— Погоди-погоди, — остановил его Василь Денисыч. — Ты не части, ты не Анка-пулеметчица. Как ты относишься к работе газеты?

— А что, я как все, я неплохо отношусь, они работают, газета каждый день выходит, но прав Эдуард, спрашивать надо, пусть Качуринер или его гаврики спрашивают, а мы ответим, мы знаем, как отвечать надо, всю жизнь за что-то отвечаем, и ничего — живы пока...

— Кто еще? — Василь Денисыч встал и обвел глазами присутствующих. — Иван, ответить товарищам хочешь?

Качуринер поднял лицо от блокнота.

— Я все записал, товарищи. Спасибо за конструктивную критику. Мы учтем. Соберем редакцию, обсудим и учтем. И предложение комсомола учтем. Мы всегда все учитываем.

— Правильно, — сказал Василь Денисыч. — Социализм — это учет. И учти еще одно. Мы тебя не топить собрались. Мы к тебе, Иван, по-доброму относимся, любим тебя по-своему. И помочь хотим. Нам какая газета нужна? Боевая! Но чтоб зря патроны не переводила! Держи порох сухим, Качуринер. В пороховнице, но сухим. Где наш бронепоезд, помнишь? То-то и оно... В общем, работай пока спокойно. Но не успокаивайся, не успокаивайся... Пошли дальше, товарищи.

Кто-то взмолился:

— Перекур, Василь Денисыч!

— Лады, — согласился Василь Денисыч. — Объясляю, товарищи, перерыв на пятнадцать минут. Курите. А вы, Андрей Николаевич, задержитесь. Пока они себя травят, мы с вами парой слов перекинемся...

Они остались вдвоем в кабинете. Умнов по-прежнему сидел в кресле-люльке-ловушке для унижения посетителей. Василь Денисыч устроился за своим гигантским столом из карельской березы. За его спиной на стене висели портреты всех руководителей Советской державы, начиная с Ленина. В отличие от Маяковского Василь Денисыч «чистил» себя подо всеми сразу — чтоб, значит, стерильнее быть.

— Я вас слушаю внимательно, — сказал Умнов.

— Это я вас внимательно слушаю,— улыбнулся Василь Денисыч.

— Не понял. Кто кого хотел увидеть?

— Какая разница — кто. У вас есть вопросы, догадываюсь. Задавайте. Ответу по мере возможности.

— И велика мера?

— Мера откровенности зависит от вашего желания понять.

— Что понять? Вас лично? Ваших ряженных из кафе? Или ряженных с завода? Или всех других ряженных?..

— А вы, Андрей Николаевич, не ряженный? Вы у нас всегда — в своей одежде?

— По возможности,— не стал врать Умнов.

Василь Денисыч сочувственно кивнул.

— То-то и оно. А возможностей — кот наплакал. Какие у вас возможности — у газетчика-то опытного? Нуль целых нуль десятых.

— Врете! — Хамить так хамить. Разговор, похоже, откровенным получался. — И раньше можно было честным оставаться. А уж сегодня — нечестным просто нельзя быть... Я Красноки-тежск в виду не имею.

— Раньше — честным?.. Не смешите, Андрей Николаевич. Вы — человек молодой, послевоенного, так сказать, посева, не буду вам про сталинские времена рассказывать. Давайте недавнее вспомним, когда товарищ Умнов всю знаменитым стал, когда его статьи — нарасхват. Еще бы: о нравственности пишет, о моральном потенциале нации!.. Вития!.. А вития знал о наркомании? Знал. О проституции? Знал. О взяточничестве и коррупции в любых эшелонах власти — снизу доверху? Догадывался, догадывался. О том, что самое бесклассовое общество в мире полугоныку становится самым кастовым? Знал, знал, знал!.. Что ж не писал о том? Что ж не разоблачал с присущим ему гражданским гневом? Не напечатали бы?.. Верно, не напечатали бы. Но вы ведь и сами не рвались написать. Вот она, честность: не могу молчать! Классик, помнится, выдохнул. А, вы не классик, вы молчали. Сами себя оправдывали: чего зря биться, все равно не опубликуют. Вы мне сейчас скажете, что были люди, которые... Были. Бились головой об стенку. Иногда разбивали. Голову, конечно. Согласен: герои. Безымянные. Согласен, многие со временем имена обрели. Посмертно. Так ведь не вы. Вы у нас не герой, Андрей Николаевич. Вы жить хотите. Вы умело и ловко искали компромисс между совестью вашей, личной, и совестью, определенной свыше. Для всей страны определенной. Ну, и для средств массовой информации — особо... Вон вы на мой иконостас поглядываете, на тот, что за спиной висит. Ну-ка, вспомните, кого из них вы в своих статьях не цитировали? Двух-трех — из вычеркнутых? А всех остальных — по мере требований времени?.. Молчите? Умеете слушать, хорошее качество... Только не думайте, что я все это вам в осуждение говорю. Да помилуй бог — нет! Я все это вам твержу, поскольку уважаю вас. Верю вам. Единомышленника в вас вижу... Не противьтесь, не надо — именно единомышленника. Вот парадокс: вы во мне — врага, а я в вас — друга... Именно потому вы — здесь... Я ваш главный вопрос знаю: почему вы уехать не можете? Почему сегодня утром вы по замкнутому кольцу ездили, как рулем ни крутили — все в Красноки-тежск попадали? Так, да?.. Ответу... Потому что вы из него и не выезжали. Потому что Красноки-тежск — ваш город. Он — в вас. Внутри. В печенках. В мозгу. В сердце. И его не вытравить никакими перестройками. А стало быть, и не выбраться из него... Спросите: выбирают? Бывает, к сожалению. Не можем удержать. Так кто выбирается? Те самые герои, которые — не вы. У Лермонтова, кажется: богатыри, не вы... Кстати, там же: плохая им

досталась доля, не многие вернулись с поля... Ах, как верно, как живо! Что значит — на века сделано!.. И останется верным на века. Потому что это только вам кажется, будто стенки больше нет, не обо что головой биться. Есть она, есть, дорогой мой друг, только не бетонная — согласен, но — резиновая. Вы в нее лбом — бах, а она — поддается. Вы еще — бах, а она дальше. И у всех у вас возникает сопливое романтическое чувство: нам нет преград! Ни в море, ни на суше! Путь впереди чист! Все дозволено!.. Все? А хрен-то! У резины какое качество? Поддаваться — до предела растяжимости. Предел этот пока далеко, бейтесь лбом, двигайте стенку. Но когда-нибудь его, предел то есть, достигнут, и тогда не позавидую я тем, кто стенку-то — лбом, ох, не позавидую... Как резина пойдет назад, как-ак сметет она всех, кто ее на прочность проверял!.. Представили картиночку? Воображение-то у вас творческое, художническое, небось страшненько стало, а?.. Даже мне, волку старому, и то страшно... Но страхи — страхи, а жизнь идет. И стенку вы и же с вами пихаете почему зря. А мы вам на освободившемся пространстве миражи строим. Гласности хотите? Жрите тоннами! Демократии? Купайтесь! Нэп вспомнили? Кушайте крошечку, гости дорогие! Приказано перестроиться? Мы — люди служивые, мы приказам всегда повинемся. Потому что твердо знаем: стенка все равно назад пойдет. Экспрессом помчится!..

Так я вам и предлагаю: не ломайте комедию, становитесь в наши ряды. Тем более что вы их и не покидали. А весь пафос ваш гражданский — тот же мираж... Ну, а что до ваших пустых возражений: мол, не то время, мол, сколько уже преград сломано, — так ведь эту песенку еще когда пели... — И он запел уже известным Умнову хорошим баритоном: — Нам нет преград ни в море, ни на суше... — Оборвал песню, спросил задумчиво: — Уразумели, Андрей Николаевич?

Умнов молчал. Ему было очень страшно. Нет, не Василь Денисыча он боялся — себя. Себя! Что он, Умнов Андрей Николаевич, тысяча девятьсот сорок четвертого года рождения, русский, член КПСС с семьдесят второго, разведенный, политически грамотный, морально устойчивый, образование высшее, журналистское, что он, профессиональный борец за газетную правду, ответит старому волку?.. Попытается его переубедить? Бред... Спорить с ним?.. Мать-покойница говорила: из двух спорящих один — дурак, другой — сволочь. Она иной спор в виду имела, но и здесь Умнов дураком оказаться не хотел... Промолчать?.. А не слишком ли много в своей жизни он уже промолчал?..

— Уразумел, Василь Денисыч,— медленно, будто раздумывая, проговорил он. И впрямь раздумывал: что дальше? — Вы правы: много во мне Красноки-тежска, много... Все было: и молчал, когда орать хотелось, и врал, когда правда кому-то неудобной казалась, и «Ура!» вопил со всеми вместе... Сколько я их убил — слов... И героем не был, нет, не был. Завидовал героям — это да. Мучительно завидовал! До бессонницы. А сам — слаб человек... Говорят: время лепит людей. Наверное... В пятьдесят третьем мне исполнилось девять лет. Тогда, в марте, я и не понял толком, что умер бог, умерла эпоха. Ваша эпоха... У меня семья счастливой была: никто на войне не погиб, никого ваша эпоха в лагерях не скрутила. Но никто и поклонов богу не бил. Отец всю жизнь инженерил, даже в партию не вступил. Мать — детей воспитывала. Жили... А в пятьдесят шестом мне всего двенадцать стукнуло, и материалы XX съезда я по-настоящему только в институте и прочитал. А это уже шестидесятые шли. Опять — ваши годы... Я еще не знал, что они уже — ваши, я еще

90

Первый раз лично Умнову слово молвил. И звучала

в том слове неприкрытая ирония: мол, куда ж ты намылился, цурик? От нас так просто не уходят...

— Пропусти его, Попков,— услышал Умнов голос Василь Денисыча. Тот, оказывается, вышел из своего кабинета, зорким оком видел красивую сценку, экспромтом разыгравшуюся в приемной.— Пропусти, пропусти. Андрей Николаевич пешочком хочет. Пусть прогуляется ему недалеко...

Ни о чем думать не хотелось. Умнов чувствовал себя усталым донельзя, будто разгрузил вагон угля или щебня — как в юности, когда подрабатывал ночами на доброй к студентам станции Москва-Товарная. Хотелось спать, и, пожалуй, перекусить не мешало. Завернул в булочную, в «стоячку», взял два стакана тепловатого жидкого кофе и четыре булочки, для смеха названные калорийными. Механически смолотил все это, стоя у мраморного одноногого столика и глядя в окно — на гранитного вождя, по-прежнему указывающего на плакатную цель, сочиненную многумудрыми Отцами Краснокитежска.

А ведь и верно придумали: их цель — перестройка. Другой нет. Сейчас они все перестраиваются, переукрашиваются, новых лозунгов понаписали, новых слов полон рот. Неформашки! Все они в этом городе неформашки. Хорошее, кстати, слово. Точное...

За Ленина только обидно. Как же устал он десятилетиями тянуть гранитную руку ко всякого рода мертвым плакатным целям...

Допил кофе, пересек площадь, вошел в «Китеж». Там было прохладно и пустынно, лишь вялая от безделья дежурная охраняла намертво привинченную к дверям табличку: «Мест нет». Взял у нее ключ, поднялся к себе, разделся, подумал: принять душ или не стоит? Стоило, конечно, стоило постоять под холодным дождичком, смыть с себя за день услышанное, увиденное, переваренное. Да разве все это водой смоешь?... Забрался в пухлую перину «Людовика», накрылся с головой простыней и заснул, как вырубился. Времени у него до одиннадцати, до назначенного на свалке часа, было — прорва. Да и то верно — стоило выспаться: кто ведал, что ночью произойдет.

А проснулся неожиданно, будто кто-то вырвал его из пусты. Сел в кровати, глянул на ручные электронные с подсветкой: без трех одиннадцать. Пора вставать. Неизвестно, как клиенты со свалки к нему проберутся, но сам он условие вроде бы выполнил: от слежки оторвался... Хотя кто знает, не гуляет ли по коридорам «Китежа» бдительный Попков с кистенем, с радиопередатчиком, с автоматом Калашникова и ключами от «Волги»?..

В полной темноте — шторы задернуты — нашарил рукой выключатель ночника, щелкнул им и... малость оторопел: у изножья кровати на белом пуфике сидел давешний знакомец в свитере и грязно-белых штанах, поглаживал бороду и молча, с интересом наблюдал за не совсем проснувшимся Умновым.

Впрочем, теперь уж Умнов совсем проснулся.

— Откуда вы взялись? — глуповато спросил он.

— С улицы,— серьезно ответил знакомец.

— А ко мне как?

— Через дверь. Вы ее не заперли, коллега.

— Коллега?

— Удивлены? А между тем — так.

— Из «Правды Краснокитежска»?

— В прошлом. Выпер меня Качуринер. С благоговения Василь Денисыча. Нравом не подошел.

— Строптив? — усмехнулся Умнов.

Он обрел способность к иронии, а значит, к здравой

оценке ситуации. Встал, начал одеваться.

— Бездарен в гладкописи,— тоже усмехнулся бородач.— И еще слишком доверчив. С ходу поверил в светлые замыслы Отцов города, оказался ретив в аргументации и формулировках.

— Ладно, кончайте ерничать,— сказал Умнов, надевая куртку.— И так все понятно... Я готов. Мы куда-нибудь идем?

— Пошли...— Бородач поднялся.

Он вел Умнова какими-то проходными дворами, где жизнь, похоже, прекратилась вместе с наступившими сумерками, где вольготно ощущали себя только не видные во мраке краснокитежские коты: мяукали, выли, нагло прыскали из-под ног. Бородач шел, уверенно ориентируясь в полной темноте.— Отцы города явно боролись за экономию электроэнергии,— и вольное воображение Умнова легко сочинило себе осадное положение, окна, наглухо замаскированные плотными одеялами, противотанковые надолбы на черных улицах, тревожное ожидание атак и налетов. Впрочем, он был недалеко от истины, не любящий фантастики Умнов: город и впрямь находился на осадном положении...

Минут через десять гонки по дворам они вышли к каким-то одноэтажным длинным зданиям, напоминающим железнодорожные склады. Бородач подвел Умнова к железной двери в торце одного из них, трижды негромко постучал.

— Кто? — глухо спросили из-за двери.

— Открывай, Ухов,— сказал бородач.

— Ты, что ли, Илья? Этот с тобой?

— Я. Со мной.

Может, зря я с ним увязался, панически подумал Умнов. Оборвал себя: перестань трястись! Хуже, чем было, не будет. Разве что пытать станут...

Дверь, гнусно скрипя, распахнулась. Они вошли в темный тамбур, бородач Илья тронул Умнова за руку.

— Осторожно: здесь ступенька...

Умнов широко шагнул, потерял равновесие. Тайный конспиратор Ухов поддержал его сзади, да так рук и не отпустил, вел Умнова, как раненого. А что? Осадный город, всяко бывает. И ввел его в невероятных размеров зал — нет, не зал все-таки, склад, явно склад, только пустой и гулкий, слабо освещенный голыми лампочками, висящими на длинных пластиковых проводах. И весь этот зал-склад дотесна был заполнен людьми. Люди стояли, плотно прижавшись друг к другу, будто страшились потерять контакт, стояли, не шевелясь, молча, напряженно, и Умнов, быстро привыкая к пещерному полумраку, восторженно ужаснулся: как же много их было! Он различал только тех, кто стоял впереди, а остальные пропадали, терялись вдаль — именно вдаль.

Можно было попристальнее всмотреться в толпу, пройти сквозь нее — протечь, ловя напряженные взгляды, устремленные на него, Умнова: кто ты, прищелец? Зачем ты здесь? С кем ты?... Но Умнов подавил в себе это внезапное желание, потому что нутром ощутил опасность. Нет, не опасность даже — тревогу, скорее. Почему?... В первом ряду между суровым культуристом в клетчатых штанах и юным синеволосым панком увидел... Ларису. Иную, чем днем: в джинсиках, в маечке какой-то несерьезной, волосы хвостом забраны. «Но комсомольская богиня? Ах, это, братцы, о другом...» Она тоже молчала, как все, смотрела на Умнова без улыбки, словно ждала от него чего-то...

Он резко, вырываясь из рук Ухова, шагнул к ней.
— Ты зачем здесь?..

Она ответила сухо, без обычной своей улыбки:

— А где же мне быть, Андрюша? — вопросом на вопрос.

— Но ты же... — недоговорил.

А она поняла.

— Не я одна.

Умнов решил, что бессвязные вопросы смутной картинки не прояснят. Если искать ее смысл, то с самого начала. А тогда и комсомольской богине в той картинке место найдется.

— Кто вы? — спросил он Илью.

— Мы?.. Хотите официально?.. Неформальное объединение людей, которых... как бы это помягче?.. не устраивает положение дел в Краснокитежске.

— Значит, не устраивает, — сказал Умнов, сам мимолетом подивившись невольному сарказму, прозвучавшему в голосе. — И как же вы хотите поправить сие положение? Листовки? Устная агитация? Терракты? Вооруженное восстание?

— Так разговор не получится, — мягко улыбнулся Илья. — Или вы нас принимаете всерьез, или — до свидания.

Красиво было бы заявить: до свидания. Или еще лучше: прощайте. Повернуться и столь же красиво удалиться в ночь.

Но куда удалиться? В славный постоянный двор «Китеж»? В душевные объятия добрейшего новатора Василь Денисыча?.. Нет уж, дудки!

— Ну, допустим, всерьез. Тогда всерьез и отвечайте. Без «как бы помягче».

— Как мы хотим поправить положение?.. Очень просто. Делом.

— А поподробней — никак? — все ж не сдержался, ернически спросил.

Илья не заметил — или не захотел заметить? — умновского ерничества.

— Подробней некуда: обыкновенным делом. Каждый — своим... Я вроде бы прописные истины говорю, но вы не обижайтесь, ладно? Они хоть и прописные, но все ж — истины...

— Это что, новая форма борьбы с неформашками?

— Нет, не новая. Только прочно у нас забытая. И для неформашек, как вы говорите, смертельная.

— Интересно: почему? — Умнов и впрямь заинтересовался.

Смех смехом, а он действительно думал о том, что ему поведают о тайных организациях боевиков, о тайных складах бомб и гранат, о тайных типографиях. Но тайная организация хорошо работающих — это, знаете ли, странно слышать.

— Потому что дело никогда их не занимало. На кой оно им? Куда важнее слово! Слово о деле. А просто работать — это, видите ли, неинтересно. Это, видите ли, сложно и хлопотно. За это, видите ли, и по шапке схлопотать можно. По ондатровой... А за веселый отчет, за мажорный доклад — тут тебе и должность, тут тебе и орден к юбилею, тут тебе и лампас на портки. Сами, что ли, не знаете?..

Знаю, горько подумал Умнов. Еще как знаю! Куда проще приписать к плану, чем выполнить его. Куда приятнее выкричать орден, чем его заслужить... Слово надежнее дела. За слово не бьют, кресло из-под задницы не вышибают, в крайнем случае на другое пересаживают. Бьют за дело. Но, с другой стороны...

— Но, с другой стороны, — сказал Умнов, — как может хорошая работа всех стать смертельной для одного?

— Василь Денисыча в виду имеете? Если бы он один был!.. Их легион! И не только в начальственных креслах, но и у станков, у кульманов, за рулем, за

партой. Везде... Отвыкли у нас по-настоящему работать. Отучили. Охоту отбили.

— Ну, хорошо, ладно. Сколько вас здесь — понимающих? Сто? Пятьсот? Тысяча?.. Ну, будете вы работать на совесть, а у остальных, у неформашек от станка с кульманом, от этого своя совесть проснет-ся? Слабо верится, товарищ Илья.

— Сначала нас было сто. Потом пятьсот. Потом тысяча. Потом... — Он глянул в толпу, край которой пропадал в полумгле, и, казалось, не было конца у этого зала-склада. — Как там у фантастов: переход в четвертое измерение... Не станет остальных, Андрей Николаевич. Вымрут. Как мамонты.

А ведь он мои слова повторил, подумал Умнов. Те, что я Василь Денисычу бросил. Выходит, и я так считаю?..

— Ладно, — почти сдался Умнов, — пусть. Все работают на совесть. Неформашки от стыда перековались, а те, кто не захотел, ушел, отошел с голодухи, вымер, как мамонты. А Отцы города опять на коне. Их парадные отчеты стали — ах! — реальными. Их доклады — ой, деловыми. Их ордена — заслуженными. Так?

— Кто ж о деле кричит? — усмехнулся Илья. — Дело — оно молчаливо. Оно слов боится. А Отцы города только и умеют, что слова рожать. Кому они нужны будут — мертворожденные? — Вдруг застеснялся, добавил: — Вы извините за пафос, но уж тема больно...

Умолк.

И Умнов молчал, переваривал услышанное.

И молчали люди, пришедшие посмотреть на Умнова.

Только посмотреть? Тысяча, две тысячи, три — сколько их здесь? — ради одного Умнова?.. Выходит, что так, понял Умнов. Потому что в войне дорог каждый союзник.

Кстати, и Василь Денисыч от него союзничества требовал...

— Что же мне делать? — тоскливо спросил Умнов. — Сдаться властям? Перебраться в Краснокитежск? Подсидеть Качуринера?

— Помилуйте, Андрей Николаевич, вы же сами себе противоречите. Кто утверждал: нет никакого Краснокитежска? На карте не обозначен... Не обозначен, верно, карта не врет. Но ведь вы и другую карту видели — в кабинете Василь Денисыча. Не стало страшно, а?.. Вот что. Ноги в руки, садитесь в свой «жигуленок», газуйте отсюда. У вас свое место есть. Вот и работайте... Только помните: нас много. И будет больше. И когда вы через год, через пять лет, через десять проедете по нашей трассе и никакого неозначенного Краснокитежска не увидите, тогда знайте: мы победили. А значит, и вы... — Илья взял Умнова под руку. — Все, Андрей Николаевич. Пора.

— Как пора? Куда? — разволновался Умнов. — Лариса, а ты как же?

За нее опять ответил Илья:

— У Ларисы тоже свое дело...

Он потянул Умнова к выходу, молчаливый Ухов и тут в стороне не остался: топал сзади, поддерживал столичного нежного гостя.

И Лариса рядом была...

Прошли темный тамбур, выбрались на свежий воздух.

Прямо перед дверью стоял умновский родной «жигуль», ровно и тихо фурычил, прогревался перед дорогой.

На заднем сиденье — заметил Умнов — аккуратно покоилась адидасовская сумка.

Суетливо сажаясь в машину, Умнов вдруг вспомнил:

— Там же кольцо! Я не выеду...

— Теперь, — Илья выделил слово, — выедете.
А Лариса наклонилась к окну и нежно-нежно поцеловала Умнова в щеку. Как погладила.

Шепнула:

— Прощай, Андрюша...

Умнов медленно захлопнул дверцу, медленно, словно сомневаясь, выжал сцепление, включил передачу, медленно тронулся. Поругил между мертвыми складами. В свете фар возник кто-то, указал рукой: сюда, мол, направо. Свернул направо и сразу выбрался на известную улицу. Вон гастроном. Вон универмаг. Вон кафе «Дружба». Значит, прямо... И рванул прямо, выгнал стрелку спидометра на деление «сто двадцать» — быстрее, быстрее! Ни о чем не думал, не вспоминал, не анализировал, одно подгоняло: время уходит!

Пролетел мимо безглазых ночных усадеб, мимо плотного черного леса, взобрался на горку, еще прижал газ. Дорога впереди — дальняя!.. И вдруг что-то — что? — заставило его резко надавить на педаль тормоза. Колодки противно завизжали, заклинили колеса — машина встала. Умнов вышел на пустое шоссе и обернулся. В темноте чернел знакомый силуэт бетонной стены с гордым именем города. Она была позади!

Илья не соврал: Умнов все-таки выехал из Краснокитежска!..

Умнов стоял и смотрел на темный, без единого огонька город, лежащий внизу. И вдруг вязкую тишину рассек четкий, ритмичный рык. Он приближался, становился громче, нахальней, злей, и вот уж из-за поворота материализовался мотоцикл, осветил Умнова мощной фарой, лихо затормозил рядом. Партизанский капитан ГАИ, сто лет назад — не меньше! — встречавший Умнова у границы Краснокитежска, вежливо улыбался, блестя дорогими фиксами. А двигатель не глушил.

— Уезжаете, товарищ Умнов? — вкрадчиво спросил он. — Ну, с богом!.. — Протянул свернутый в тугую трубку бумажный лист, перехваченный аптечной резинкой. — Василь Денисыч просил передать...

Умнов содрал резинку, раскрутил бумагу. В ярком свете мотоциклетной фары узнал знакомую карту, верней, не ее — черно-белую ксерокопию, снятую с цветного единственного оригинала.

— Василь Денисыч сказал: пригодится. Верно?

Умнов аккуратно свернул карту, сказал:

— Пригодится.

Капитан отдал честь, рывкнул газом, крикнул на прощание:

— Что передать Василь Денисычу?

— Три слова! — крикнул в ответ Умнов. — Красные — это мы!

К 75-летию Сергея Владимировича МИХАЛКОВА



**Всесоюзный Михалков
Не стареет от годов.
Если крикнуть:
— Будь готов!
Он в ответ:
— Всегда готов!**

Дружеский шарж И. Оффенгендена.

Зеленый портрет



Арк. ХАЙТ РЫЦАРЬ ВЕСЕЛОГО ОБРАЗА

Не знаю почему, но на всех фотографиях у Андрея Миронова грустные глаза. Это удивительно, даже когда он улыбается, глаза все равно остаются печальными.

А ведь Андрей был самый веселый, самый остроумный человек из всех, кого я встречал в своей жизни. Признанные остряки, профессионалы-юмористы, беспощадные сатирики, попав с ним в одну компанию, сидели тихо, как мыши. Никто не рисковал открывать рот, когда говорил Миронов. Впрочем, нет, не говорил. Он бурлил, кипел, фонтанировал. Мы никогда не знали, что он скажет в следующую минуту, и, самое главное, он тоже этого не знал. Он не любил домашних заготовок и припасенных для случая анекдот

тов — всего этого юмора, взятого напрокат. Конечно, импровизация — дело рискованное, но он всегда шел на этот риск. А когда получалось «не очень» и мы, дождавшись наконец своего часа, начинали язвить и подтрунивать, он никогда не обижался, а, чуть прищурив глаз, произносил свою любимую фразу: «Обидеть художника может каждый, материально помочь — никто!»

Андрей вырос в семье эстрадных артистов. Миронова и Менакер — это целая эпоха в истории нашей эстрады. А если учесть, что в их доме в разное время бывали Утесов, Ласкин, Дыховичный, Дунаевский, то можно сказать, что Андрей окончил эстрадную академию на дому. И эстрада всегда оставалась его тайной любовью. Я сам проработал в этом жанре немало лет и могу смело сказать, что не встречал более яркого и разностороннего артиста, который бы так подходил на роль звезды мюзик-холла или варьете. Я не знаю никого, кто мог бы стать таким блестящим шоуменом, как Миронов. И где-то в глубине души Андрей сам это чувствовал. Даже работая над самыми серьезными ролями, порой сам себе не признаваясь, он все равно представлял, как выходит на ярко освещенную сцену вместе с прекрасным кордебалетом и в черном смокинге на фоне белого рояля танцует, поет и рассказывает зрителям что-то необыкновенно изящное и остроумное. Нет, конечно, он не собирался расставаться с театром, но его всегда тянуло к эстраде, к этому «лобному месту», где актер остается со зрителем один на один.

Телефон в его доме звонил с утра до вечера, и предложения сыпались одно за другим. Он редко отказывался от этих предложений, и мы всегда его за это упрекали, обвиняли в неразборчивости, торопливости, всеядности. Теперь я понимаю, что это была его натура, он не мог ни секунды находиться без работы. Кино, радио, телевидение, сольные концерты, озвучивание мультфильмов, записи на пластинки... То, что он успел сделать за свои 46 лет, другому хватило бы на все сто. А что касается успехов и неудач, то искусство, как известно, весьма капризно. Начиная работу, никогда не можешь быть уверенным в конечном результате. А уж в самой работе Андрей не халтурил никогда. Он любил повторять услышанную где-то фразу: «Надо стараться делать хорошо. Плохо — оно само получится».

Будучи популярнейшим артистом, всеобщим любимцем, Андрей всегда оставался необычайно деликатным и крайне щепетильным в отношениях с людьми. Среди его друзей были два писателя-юмориста: Гриша Горин и я. Казалось бы, с вопросами репертуара у него не должно было возникнуть никаких проблем. Но Андрей всегда стеснялся эксплуатировать дружеские отношения. Если что-то требовалось написать для него, он долго мялся, мямлил, ходил вокруг да около, прежде чем обращался с просьбой. Однако если

вы говорили «да», он не отступал и добивался своего, брал вас за горло, и эти руки уже не знали жалости.

Первый раз он обратился ко мне по поводу своего выступления на Дне радио в Колонном зале.

— Понимаешь, — сказал он, — мне предлагают спеть песенки из моих кинофильмов. Но я уже столько раз их пел. Ну, что я с этим опять вылезу?.. Вот если бы песенкам придумать какую-то форму.

И он тут же начал предлагать и сам же отвергать.

Я люблю сомневающихся артистов, для которых искусство прекрасно тем, что каждый раз начинаешь все сначала. Сам я по характеру человек, не очень уверенный в себе, постоянно сомневаюсь, не верю в придуманное, короче говоря, люблю заниматься самоедством. Но такого самоеда, как Андрей, надо было еще поискать. Каждую фразу, каждое слово он пробовал на язык, вертел, крутил, ставил на попа. Все придуманные шутки он в тот же день проверял на своих родных, близких, знакомых и малознакомых, а вечером звонил мне, чтобы сообщить:

— Аркадий, ты помнишь ту фразу, над которой мы дико веселились? Так вот, оказалось, что это бред си-вой кобылы.

И все начиналось снова. Когда мы отменили вариантов десять, он вдруг сказал:

— Слушай, а нельзя в этом номере с песнями как-то использовать письма?

— Какие письма?

— Ну, которые мне присылают.

И он достал из ящика кипу писем, которых бы вполне хватило для работы почтового отделения небольшого районного городка. Всем популярным артистам пишут поклонники. Естественно, ему писали тоже. Чего только не было в этих письмах! Объяснения в любви, просьбы дать взаймы, ходатайство о снижении срока заключения какого-то расхитителя социалистической собственности, просьбы почаще петь по радио, категорический приказ вообще не петь, а главное, не танцевать. Некоторые писали такую чушь, да еще в таких выражениях, что я, честно говоря, пожалел, что у нас в стране в свое время ликвидировали безграмотность.

Но эти письма натолкнули нас на номер. Мы решили, что Андрей будет читать письма со сцены, а ответами на них будут его песенки. Конечно, письма я «отредактировал», кое-что добавил, изменил, стараясь сохранить стиль оригинала. Не могу сказать, что как автор я придумал в этом номере что-то особенное, возможно, у другого артиста это бы и не очень прозвучало. Но ведь это был Андрияш Миронов! Простенький, незатейливый номер он исполнил с таким блеском, с таким изяществом, что потом этот номер неоднократно показывали по телевидению, передавали по радио, выпустили на пластинке «Кругозора» и даже издали в каком-то сборнике для художественной самодеятельности. Это уже было странно. Как могли другие ар-

тисты читать со сцены письма, адресованные Миронову?

После этого были еще два номера: «Беседа с режиссером» — на 20-лети «Кинопанорамы» и «Монолог у рояля», написанный мною вместе с Григорием Гориним. Оба эти номера показывались по телевидению, и нет нужды пересказывать их содержание. Мне хотелось бы рассказать о нашем последнем номере, который Андрей не успел выпустить.

Он приехал ко мне домой после дневной репетиции в театре и, попивая черный кофе с сахарином (Андрей ужасно боялся потолстеть), повел разговор о театральных новостях, об общих знакомых, о книжных новинках. Словом, начал потихоньку подбираться к делу. Потом вдруг сказал:

— Предлагают выступить на телевидении восьмого марта.

— Так что, — кисло спросил я, — номер должен быть посвящен женщинам?

— Ну, по крайней мере женская тема должна присутствовать. И надо торопиться, — добавил он. — Мне кажется, что эта тема нас с тобой с каждым годом будет волновать все меньше и меньше.

Я захохотал, и работа началась. Несколько встреч мы провели в бесплодных поисках, пытаясь сказать о женщинах что-то оригинальное, хотя по этой теме уже протоптали целые колонны писателей-юмористов.

— Слушай, — вдруг сказал он на четвертый день, — моей маме присылают из Риги газету «Ригас балс». Там печатают очень забавные брачные объявления. Мне кажется, тут что-то лежит.

Когда мы начали читать эти объявления, зачастую действительно забавные, нашему веселью и радости не было предела. И вот, нахохотавшись вдоволь, Андрей вдруг сказал:

— Знаешь, по-моему, это очень грустно. От этих объявлений веет таким одиночеством, такой неустрашенной судьбой. Над этим просто грех смеяться.

И тогда мы решили делать лирический номер. Веселый и немножечко грустный, как сама жизнь, где веселое и грустное всегда идут рядом. Многие объявления мне, конечно, пришлось изменить, некоторые отредактировать, кое-какие придумать заново, отталкиваясь от сухого газетного стиля. Потом мы вместе придумали, с чего начинать и чем завершать монолог. Я закончил работу к середине февраля и прочел номер Андрею. Ему понравилось.

— Все, — сказал он, — монолог есть. Можно записываться на мартовском «Огоньке».

— Прекрати! — заорал я. — Тут еще полно работы. Многого надо переделать мне, да и актерски номер не сделан, не проверен на зрителях. Вечно ты торопишься!

Он, действительно, всегда торопился, как будто чувствовал, что может не успеть. На 8 марта 1987 года Андрей этот номер не записал. А на 8 марта 1988 года он уже с этим номером не выступит. И я хочу, что-

бы вы сегодня прочли этот несыгранный монолог. Но не просто прочли, а представили себе, что вам его рассказывает Андрей Миронов; что вы находитесь в концертном зале, а он стоит перед вами на сцене, легкий, изящный, обаятельный и прелестный. Самый веселый человек с самыми грустными глазами.

И СМЕХ, И СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ...

(Строго и очень торжественно)
Вильям Шекспир, сонет номер девяносто.

Уж если ты разлюбишь, —
так теперь,
теперь, когда весь мир...

Послушайте, а что вы улыбаетесь?.. Я ведь, между прочим, серьезные стихи читаю. Не о чем-нибудь, о любви. Странно как-то... Где я остановился?.. Ладно, начну снова.

Уж если ты разлюбишь, —
так теперь,
теперь, когда весь мир
со мной в раздоре...

Девушка, а что вы на меня так смотрите? Представляете, если бы на Шекспира так смотрели, он бы в жизни этих стихов не написал... Нет, мне просто интересно, откуда у вас эта ирония? Уж не знаю почему, может, из-за моих ролей, но у некоторой части зрителей ко мне сложилось определенное отношение. Будто я человек несерьезный, легкомысленный, даже где-то ветреный. Но на самом деле все не так. Лично я отношусь к женщине, к браку абсолютно серьезно.

Любовь — это вообще серьезная вещь. Посудите сами — каждый человек вступает в брак всего один раз. Иногда два. Максимум три. Ну, в крайнем случае, четыре. И всё. А ведь кандидатур огромное количество. Как нам не ошибиться? Где найти того или ту, с кем будешь счастлив всю свою жизнь?.. Ну, в прежние времена была такая профессия — сваха. Милая, работающая женщина, которая за умеренное вознаграждение помогала людям найти друг друга. Сейчас этой профессии нет, она исчезла. А если б появилась, эту сваху на второй же день привлекли бы к ответственности за нетрудовые доходы.

Так где же сегодня людям находить друг друга, особенно если этим людям уже тридцать с хвостиком? И этот хвостик еще лет на пятнадцать. Где им знакомиться? Где?.. В общественном транспорте? Маловероятно. Вспомните, как мы там выглядим. Мятые, взъерошенные, сдавленные, стиснутые... Какое там может возникнуть желание? Только одно — выйти на своей остановке. И как можно скорее. Так где еще искать?.. На работе? Вряд ли... Там в основном все уже пристроены. И потом — сегодня сложилась такая ненормальная ситуация, что на работе надо работать, а не искать

себе пару. Будешь долго искать, кончится тем, что придется себе искать другую работу. Ну, где еще найти друг друга людям солидного возраста? В дискотеке, что ли? В полутьме, в мелькании красных огней, под грохот музыки... Да там легче потерять, чем найти.

Просто складывается безвыходное положение. Но уж, видно, так устроен человек, что для него безвыходных положений не бывает. И вот в некоторых областных газетах стали печататься брачные объявления. Вы, наверное, что-то слышали, да?.. Почему-то у нас многие люди относятся к этому с предубеждением:

— Фу, какой стыд! Это неприлично! Предлагать себя!..

Между прочим, когда нам в магазинах предлагают черт знает что, они молчат. А тут все сразу на защиту морали. По-моему, это самое обыкновенное ханжество. Что тут плохого, если человеку предлагают сразу квартиру, мебель, жену, иногда даже с двумя детьми. Буквально на всем готовеньком! И потом, не нравится — не бери. Можешь просто почтаться. Я вот специально захватил с собой газету с такими объявлениями. Тут всё — и человеческая комедия, и драма, и трагедия, и водевиль. А читается просто как детективный роман. Вот послушайте:

«Познакомлюсь с мужчиной, желающим создать прочную семью. Мне 39 лет, доктор наук, имею печатные труды, знаю три иностранных языка».

Представляете, какая женщина! Образованная, культурная, умница! А мужа нет. И знаете почему? Потому, что ни один мужчина не хочет иметь жену умнее себя. А, главное, боится. Представляете — приходит он домой поздно вечером, навеселе, и ему устраивают скандал сразу на трех языках, не считая нашего. Страшно! Страшно подумать... Вот еще одно объявление:

«Вдова 48 лет, проживающая в Костромской области. Есть дом, две коровы, свиньи, гуси и куры. Нужен муж, желательно ветеринар, который возьмет на себя заботу о всей нашей семье».

Товарищи, ветеринаров в зале нет?.. Нет? Может, хоть зоотехник найдется?.. Тоже нет? Жалко. Могли бы помочь Нечерноземью увеличить поголовье крупного рогатого скота. Ну, нет так нет, пойдем дальше.

«Буду рада взять на себя заботу о настоящем мужчине, который умеет готовить, стирать, мыть посуду и убирать квартиру. Возраст и внешность значения не имеют».

Ну, это объявление явно попало сюда по ошибке. Этой женщине нужен не муж, а домработница. При чем такая, которая будет ей отдавать всю свою зарплату. На сегодняшний день нереально. И на завтрашний тоже... Вот еще одно любопытное объявление:

«Женщина 33 лет, не красавица, со сложным характером. Имею взрослую дочь, тоже со сложным характером, и маму, тоже не красавицу. Согласно выйти за некрасивого мужчину

с хорошим характером или красивого с плохим. Возможны варианты».

Мне нравится, что больше всего подобным объявлениям радуются мужчины. Как будто они не дают объявлений. Дают, и еще какие! Вот послушайте:

«Одинокий мужчина приятной наружности ищет подругу, имеющую хорошие жилищные условия для совместной жизни. Желательны столицы союзных республик и крупные промышленные города. Первый и последний этаж не предлагать».

Коротко и ясно. А главное, открыто. Человек как считает: если живешь на первом этаже — не лезь в жены. Ищи себе жениха в полуподвале... А вот трогательное объявление:

«Бодрый пенсионер 79 лет ищет спутницу жизни. Имею двух детей, 56 и 58 лет. Крепкая, сильная, работающая женщина, любящая взрослых детей, найдет в нашем доме свое счастье».

Предложение заманчивое. И, главное, у женщины большой выбор — не подойдет папа, может пригодиться кто-то из детей. Им уже тоже до пенсии рукой подать. А в общем, поэт был прав: действительно, любви все возрасты покорны. Вот, например:

«Мужчина 35 лет, без вредных привычек, высокий, светловолосый. Увлечен собиранием марок. Мечтает встретить женщину приятной внешности, у которой есть почтовые блоки за 78-й год в хорошем состоянии».

И так далее. Видите, сколько этих объявлений? А ведь есть еще многие, которые объявлений не дают. То ли не знают, то ли стесняются. Я уж не говорю про тех, у которых вроде бы все в порядке. Много лет состоят в законном браке, всем довольны, но тайком, по ночам тоже мечтают дать такие объявления. И не только в газете, но и расклеить на всех столбах. Примерно такого содержания:

«Мужчина 48 лет, скромный, тихий, забытый. Нахожусь в браке 15 лет. Это максимальный срок, предусмотренный Уголовным кодексом. Детей у меня нет, своего угла нет, жизни нет. Для того чтобы вы поняли всю бедственность моего положения, высылаю вам фотографию своей жены в фас и профиль. Убедительно прошу — обратно фотографию не возвращать».

Или другое объявление, написанное женской рукой:

«Измученная женщина 35 лет, в прошлом высокая блондинка приятной наружности, состоит десять лет в законном браке. Мой муж высокий и красивый, много получает и мало отдает. Не имеет вредных привычек: не пьет, когда курит, и не курит, когда пьет. Любит животных. Каждый вечер гуляет с собакой. При чем собака возвращается сразу, а он — на следующий день. Готова послать не только его фотографию, но и его самого в любой момент и по любому адресу».

Смеетесь?.. Я понимаю, все это действительно выглядит забавно. Я тоже сначала веселился, когда

читал эти объявления. И чем больше читал, тем мне становилось грустнее. Ведь пусть порой объявления неуклюже написаны, неумело составлены, но за каждым из них стоит человек со своей несложившейся судьбой, своим одиночеством и тоской по настоящей любви. Конечно, я не волшебник и мало что могу, но в этот весенний мартовский день я хочу пожелать всем людям, чтобы на их объявления откликнулись. И каждый из них нашел своего единственного и неповторимого, свою единственную и желанную.

(Строго и торжественно). Вильям Шекспир, сонет номер девяносто.

Уж если ты разлюбишь,— так теперь, теперь, когда весь мир со мной в раздоре... Будь самой горькой из моих потерь, Но только не последней каплей горя!..

Оставь меня, но не в последний миг, Когда от мелких бед я ослабею. Оставь сейчас, чтоб сразу я постиг, Что это горе всех невзгод больнее. Что нет невзгод, а есть одна беда — Твоей любви лишиться навсегда.

Мне очень хотелось, чтобы мои сбивчивые воспоминания и этот несыгранный монолог были напечатаны именно в мартовском номере журнала. И не только для того, чтобы еще раз поздравить наших женщин, а прежде всего потому, что 8 марта — день рождения Андрея, которому могло бы исполниться 47 лет.

Есть что-то глубоко символичное, что Андрей ушел из жизни в тот день, когда играл на сцене Фигаро — самого близкого и самого похожего на него из всех сыгранных им героев. Такого же озорного, искрометного, никогда не впадающего в уныние, склонного к розыгрышам и мистификациям, язвительно-насмешливого к сильному миру сего и трогательно-нежного в отношениях с друзьями.

Я никогда не думал, что на похороны Андрея придет столько народа. Почти столько же, сколько в свое время пришло проститься с Владимиром Высоцким. Конечно, этих двух людей никак нельзя сравнивать. Ведь в прощании с Высоцким каждый, помимо дани уважения к замечательному артисту, нес еще свой социальный протест и поддержку позиции поэта и гражданина. В прощании с Андреем было нечто иное. В тот день Москва в последний раз пришла на встречу со своим любимцем.

Проходят дни, и острое чувство потери сменяется тупой болью, постоянно ноющей где-то возле сердца. Время идет, приходят новые актеры, может быть, более талантливые и более глубокие. Но никогда у нас не будет Андрея Миронова, человека, который так любил жизнь и умел это делать как никто другой.

В номере:

Проза

Иван ТВАРДОВСКИЙ. Страницы пережитого. Документальная повесть (10). Послесловие Ю. Буртина (30). Сергей АБРАМОВ. Неформашки. Фантасмагория. Окончание (94).

Наследие

Александр КУПРИН. Шестое чувство. Рассказ (36). Послесловие О. Михайлова (45).

Поэзия

Дмитро ПАВЛЫЧКО (33), Инна ЛИСНЯНСКАЯ (33), Анастасия ХАРИТОНОВА (34), Евгений ЧЕПУРНЫХ (35), Мария СТЕПАНОВА (47), Александр ЛАВРИН (48), Илья ФОНЯКОВ (49), Рита ЗАСЛАВСКИЙ (49), Вадим ШУЛЯКОВСКИЙ (61), Лев БЕРИНСКИЙ (62).

Публицистика

«20-я комната». Заседание тринадцатое (3). Владимир АМЛИНСКИЙ. «На заброшенных гробницах...» (50). Гелий РЯБОВ. Сколько лиц у милиции? (68).

Юность — СПТУ. Сергей БУРКИН. Равные условия — сегодня! (73).

Критика

Александр ИВАНОВ. Несколько слов в защиту культуры (74).

Наши публикации

...Просто он так жил. К 80-летию Б. Н. Полевого (63).

Культура и искусство

Н. БАСОВСКАЯ. Скажи мне, брат... (78).

Спорт

Аркадий АРКАНОВ, Юрий ЗЕРЧАНИНОВ. Сюжет с нелепым прогнозом. Глава четвертая (80).

Зеленый портфель

Аркадий ХАЙТ. Рыцарь веселого образа (94).

Оформление обложки Г. Мурьшикина
Главный художник О. Кокин
Художник Ю. Цишевский
Технический редактор О. Трепенюк

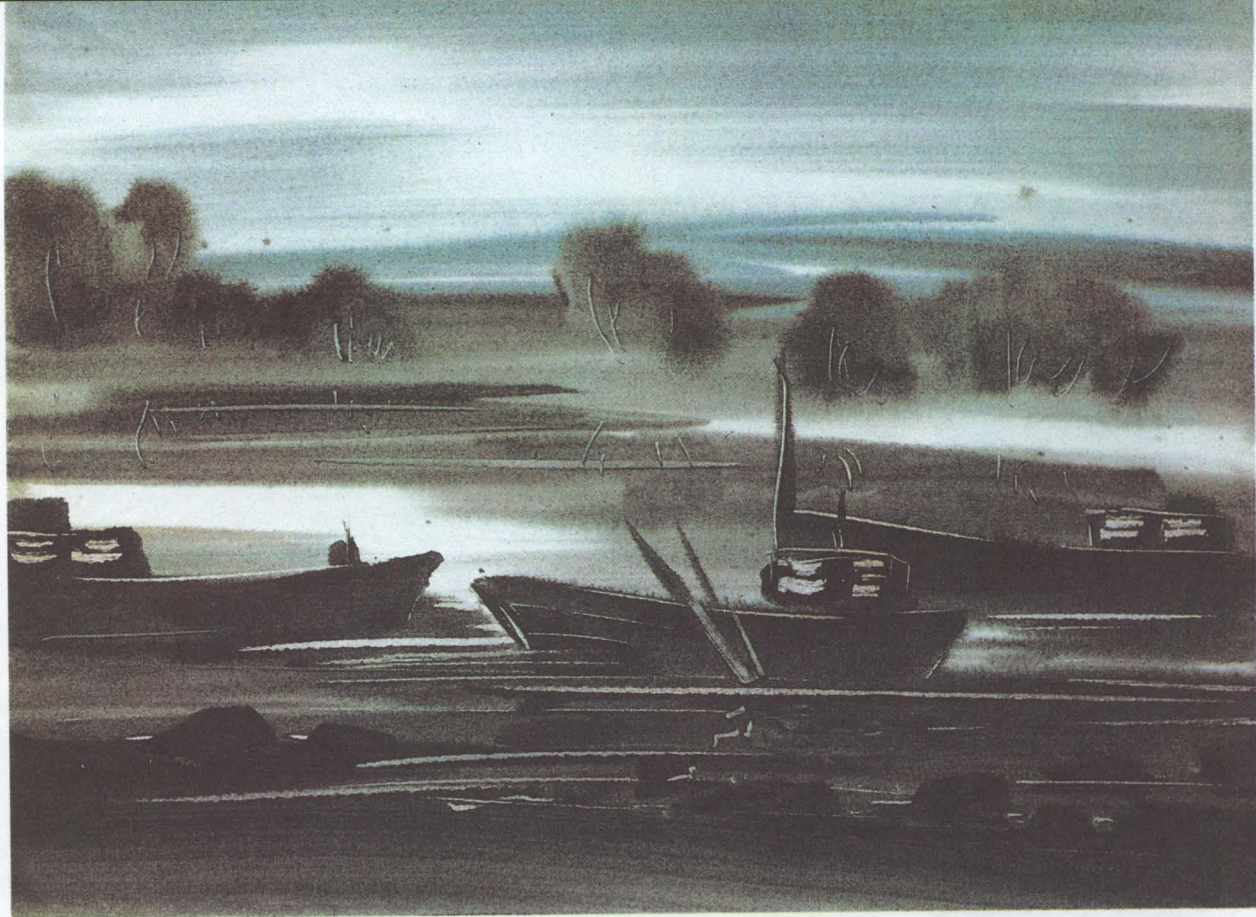
Адрес редакции: 101524, ГСП, Москва, К-6, ул. Горького, д. 32/1

Телефон для справок — 251-31-22

Сдано в набор 07.01.88.
Подп. к печ. 01.02.88. А 01925. Формат 84×60%.
Офсетная печать. Усл. печ. л. 11,68.
Усл. кр.-отт. 19,53. Уч.-изд. л. 17,75. Тираж 3 100 000 экз.
Заказ № 1879.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
типография имени В. И. Ленина
издательства ЦК КПСС «Правда».
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. Правды, 24

© Издательство ЦК КПСС «Правда»,
«Юность», 1988 г.



ЛОДКИ ПЕТРА ОВЧЕНКОВА.

Ничего романтического в истории нашего знакомства не было. Нынешним летом я увидел несколько акварелей в Доме творчества писателей в Дубултах — на персональной выставке Петра Овченкова. В местном музее сказали: «Живет на улице Блаумена. Спросите там художника, молодого, с черной такой бородой...»

...Мы сидели с Петром в маленькой его комнатухе и говорили о море. А когда разговор смолкал, было слышно, как шумит оно вечным своим прибором. Этим же удивительным звуком были полны и акварельные листы, разбросанные по комнате. Чистые, нежные, прозрачные. Закаты, рассветы. Штили, приливы. И лодки... Странно, почему этот человек, родившийся на сухопутном Урале, полюбил эти утлые суденышки, смело спорящие с могучей стихией. Окончив на Урале математическую школу, махнул в Ригу, в институт инженеров гражданской авиации. Но после армии в институт уже не вернулся. Два года постигал искусство, заполнившее теперь всю его жизнь.

На счету Петра Овченкова ныне около двух десятков персональных выставок. Пусть небольших и не в самых престижных залах, но зато там, где всегдалюдно, где твои работы видят те, ради кого ты творишь. Впрочем, «творишь» — это мое слово. Петр говорит работаю...

Алексей ПЬЯНОВ



